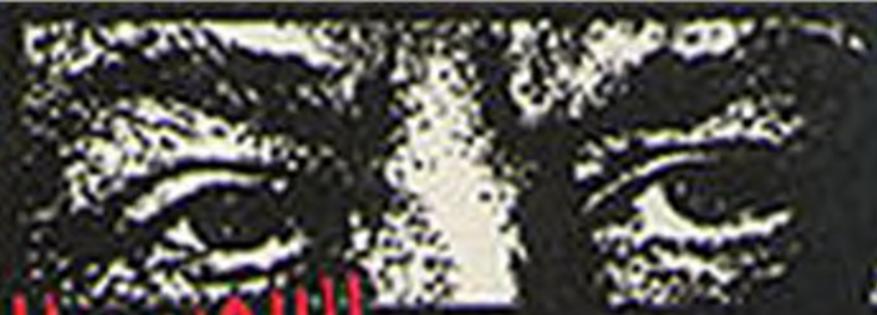


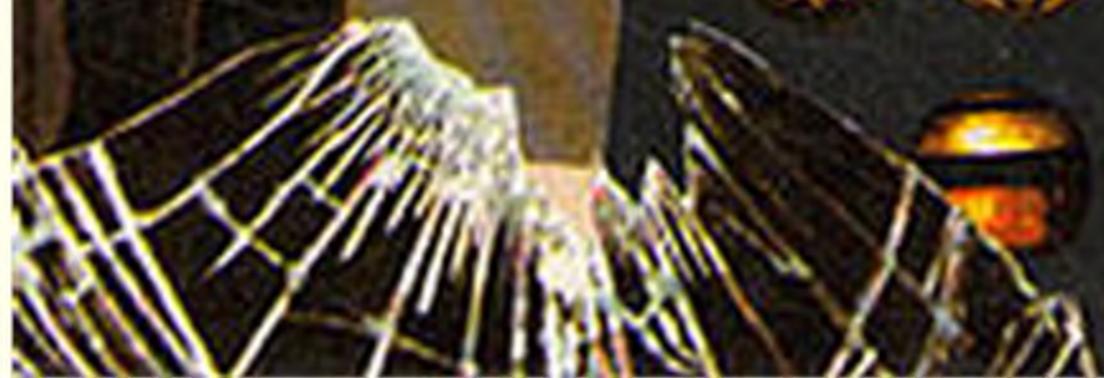
XX

В Е К
ГЛАЗАМИ
ОЧЕВИДЕЦ



Олег Калугин

**ПРОЩАЙ,
ЛУБЯНКА!**



Калугин О. Д.

Прощай, Лубянка! (XX век глазами очевидцев)

Предисловие от автора



Олег Калугин

Нет ничего дороже дружеской руки, протянутой в годину тяжких испытаний, поддерживающей веру в человека, дарящей надежду.

Так случилось, что в июле 1990 года, когда руководство бывшего СССР, без следствия и суда, лишило меня не только генеральского звания и государственных наград, но и средств к существованию, независимое издательство «ПИК» предложило мне написать мемуары и без промедления выплатить аванс в счет будущей книги, позволивший безболезненно преодолеть неожиданно образовавшийся черный провал в семейном бюджете.

Дело, разумеется, не в тысячах рублей, отданных под расписку «коту в мешке», — еще не состоявшемуся автору. Гораздо важнее то, что с первых дней своего официального изгнания из номенклатурной рати, в

обстановке публичных поношений и угрозы судебного преследования, я ощутил громадную моральную поддержку, исходившую от самых различных кругов общественности. Пионерами в этом деле оказались журналисты «Комсомолки» и «Московских новостей» и группа писателей, объединившиеся под демократическими знаменами и создавшие собственное издательство «ПИК». Им в первую очередь я и приношу свою глубокую благодарность.

Рукопись книги была готова летом 1991 года, но, по условиям контракта с западными издателями, она могла появиться в России либо одновременно с публикацией ее за границей, либо позже. Впоследствии удалось скорректировать сроки и варианты разрешения этой проблемы: в России книга выйдет в оригинальном исполнении, на Западе — адаптированная для местных читательских вкусов, но сохраняющая основную канву повествования.

По просьбе «ПИКа» автор вставил в русское издание беглые зарисовки августовских событий 1991 года, круто изменивших ход развития нашего общества, но оставивших открытым вопрос о будущем России.

О. Д. Калугин

Прощай, Лубянка!

*Посвящается всем,
кто ищет дорогу к Храму
Большая дорога — это есть
нечто длинное,*

*длинное, чему не видно конца
— точно*

*жизнь человеческая, точно
мечта человеческая.*

*В большой дороге заключается
идея,*

а в подорожной какая идея?

В подорожной конец идеи...

Ф. Достоевский. Бесы

Ночь выдалась холодная и безлунная. Подмораживало, но снегу не было, и земля казалась бесконечным черным пространством. Безмолвие нарушал лишь слабый шелест высохших прошлогодних листьев на невидимых деревьях и кустарниках.

Напряженно вглядываясь в тишину, стараясь не ломать попадавшие под ноги сучья, мы медленно продвигались к границе. Позади остались колючая проволока и сторожевые вышки чехословацких зеленофуражечников. Впереди, в полутора-двух километрах, — шоссе. Там посередине дороги можно обнаружить бегущую вдаль жирную белую ленту и маленькие столбики, указывающие, что за ними лежит территория Австрийской республики.

Впереди мелькнули фары быстро идущей по шоссе машины. Мы повеселели — стало ясно, что идти совсем немного. Решили поискать укрытие у обочины дороги, затаиться и ждать.

Близился назначенный час. Сидя в кустах на краю канавы, одетые в пятнистые комбинезоны и куртки военного образца, мы были похожи со стороны на

охотников, готовящихся к утренней зорьке. Но охотились мы не за кабаном или медведем, а за человеком.

Он должен подъехать с минуты на минуту, не один — в сопровождении троих. Эти трое потом вынутся в Вену, а он — в Москву. Там его ждут с 1959 года, почти 16 лет, с тех пор, как быстроходный катер доставил его с любимой подругой к шведским берегам.

Наконец из темноты вырвался луч света, послышался гул мотора, и через минуту машина замерла в десятке метров от нас. Мы не шевелились до тех пор, пока не хлопнули дверцы и возбужденный шепот, прерываемый матерными выражениями, не подтвердил, что прибыли наши.

Когда мы подскочили к машине, его грузное тело уже выволакивали из салона. Он тяжело дышал, хрипел, издавая надсадные бессвязные звуки. «Носилки! — торопливо бросил кто-то. — Этого борова на руках не унести». К счастью, мы запаслись брезентовой плащ-палаткой. Оттащив свою добычу в сторону от дороги, мы остановились, чтобы передохнуть и посмотреть, куда двигаться дальше. Заодно решили проверить, как себя чувствует наш пленник... Лучи фонарика осветили бездыханное тело. Не помогли ни массаж в области сердца, ни стакан коньяка, влитый через стиснутые зубы.

Перед нами лежал, раскинув руки, успокоенный, как будто простивший всех за совершенное зло и причиненную боль тот, кого несколько мгновений назад звали Николай Федорович Артамонов. Бывший командир эсминца Балтийского флота, бежавший на Запад и проживавший там как Николай Шадрин, он теперь никогда не расскажет, каково было вести двойную жизнь

агента ЦРУ и КГБ, и уйдет в неизвестность, похороненный на московском кладбище под еще одной чужой фамилией.

Но об этом и другом позже, а пока...

Глава I

Было время, я была невинна.

*Я народ людской смотрела
сверху вниз.*

*Я не знала, что такое половина,
и не знала слова «компромисс».*

**Б. Брехт. Матушка Кураж и
ее дети**

Мне кажется, я помню этот декабрьский день, по-питерски тусклый и унылый. Огромная скорбная толпа у Таврического дворца, звуки траурной музыки. Я вижу черную массу людей сверху, отец несет меня на руках. Мне всего три месяца, но родители взяли меня на похороны Кирова. Убитый злодейской рукой террориста Николаева, вождь ленинградских большевиков покоится на высоком постаменте, украшенном цветами. Отец мой, охранник местного НКВД, смог подойти к гробу почти вплотную.

Потом образ Кирова не раз появится на моем пути: «Мальчик из Уржума» — восторженная повесть о юном ленинце Сереже Кострикове, фильм «Великий гражданин», воспроизводящий героические страницы его биографии, музей в особняке Кшесинской, где я мог лицезреть экспонаты, связанные с жизнью убиенного. В середине сороковых годов отец, работавший тогда в охране Смольного, завел меня в кабинет, когда-то

принадлежавший Кирову, а потом рассказал, что в 1935 году мой дед по матери был приговорен к расстрелу за участие в заговоре против Кирова. Через месяц он был освобожден, так как соседка по коммунальной квартире созналась, что написала в НКВД донос на деда по причине ссоры из-за кошки.

В 1959 году в Нью-Йорке, на Бродвее, я случайно познакомился с редактором «Социалистического вестника», известным меньшевиком Борисом Николаевским, и от него вновь услышал, что нестигаемый большевик был убит по приказу Сталина; в 1961 году в резидентуру КГБ в Нью-Йорке поступило указание разыскать в местных библиотеках или архивах любые сведения о Кирове, свидетельствующие о его смерти от рук кремлевского диктатора. Снова в Ленинграде в 1980 году начальник подведомственного мне Выборгского отдела КГБ рассказал, ссылаясь на коллег, работавших в архивах ленинградского НКВД, что Николаев убил Кирова из ревности к своей жене, служившей в смольнинском буфете. Ранее Николаев предупреждал Кирова, пользовавшегося успехом у женщин, чтобы тот отстал от его жены, но Киров предупреждения игнорировал.

В один прекрасный день я взял стенографический отчет XVII съезда ВКП(б), открыл страницу 259 и прочитал: «...десять лет тому назад устами лучшего продолжателя дела Ленина, лучшего кормчего нашей великой социалистической стройки, нашей миллионной партии, нашего миллионного рабочего класса, устами этого лучшего мы дали священную клятву выполнить великие заветы Ленина. Мы, товарищи, с гордостью перед памятью Ленина можем сказать: мы эту клятву выполняем, мы эту клятву и впредь будем выполнять,

потому что клятву эту дал великий стратег освобождения трудящихся нашей страны и всего мира — товарищ Сталин». Эти слова принадлежали С. М. Кирову.

Я закрыл толстый фолиант. С Кировым для меня все стало ясно. Его героический образ рассеялся как мираж.

Но это было потом, потом...

* * *

Отец мой родился на Орловщине в многодетной крестьянской семье. Из разоренных гражданской войной краев ушел на заработки в Поволжье, грузил арбузы. Потом попал в армию, а отслужив, подался в Ленинград и здесь поступил на работу в охрану НКВД, женился, но неудачно: не прожил с молодой женой и двух лет. С моей матерью, работницей прядильно-ткацкой фабрики, повстречался в 1932 году. Урожденная петербуржка, она гордилась тем, что ее род еще в начале прошлого века переселился в имперскую столицу, а все ее предки были потомственными ткачами. Франтоватый военный с черными как смоль, гладко зачесанными волосами произвел на нее неизгладимое впечатление. Так на свет появился я. Пока молодые родители трудились на благо атеистического государства, бабушка принесла меня в церковь, где и свершился обряд крещения. Отец, тогда еще беспартийный, учинил из-за этого матери скандал. Идеологически невыдержанный поступок моей бабки мог повлечь для него неприятные последствия.

Устроившись в Ленинграде, отец послал вызов в деревню своим двум сестрам. Обеих привел в Большой дом — громадное серое здание, выстроенное специально для НКВД в 1933 году. Одна из них стала официанткой в столовой, а другая — надзирателем во внутренней

тюрьме. Сам отец некоторое время охранял эту тюрьму. Вспоминал потом о долгих беседах с академиком Тарле, попавшим в заключение в 1930 году, о криках и столах, доносившихся из тюремных камер.

В конце 1939 года отца командировали в действующую армию на советско-финский фронт. О характере своей деятельности там он не рассказывал, как не делился и воспоминаниями о танковом броске в Латвию в 1940 году, где он со спецчастями НКВД помогал «восстанавливать» советскую власть в республике.

Всю Отечественную войну отец провел в Ленинграде. Меня же с первыми эшелонами эвакуированных вывезли на Восток. Помню знойный июнь 41-го года под Лугой, где размещался летний детсад ленинградского управления НКВД. С какой-то милой девочкой я ловил майских жуков и вдруг услышал мощный взрыв на противоположном берегу озера. Забегали няньки, нас всех загнали в помещение. Через неделю мы выехали в Ярославскую область. А через месяц на теплоходе «Киров» прибыли в Горьковский порт. Здесь наше судно, как и другие суда с эвакуированными, попало под бомбежку. Прижавшись к матери, со страхом следил я через иллюминатор за скользящими по темному небу лучами прожекторов, прислушиваясь к разрывам авиабомб. Затем что-то вспыхнуло совсем рядом, раздался протяжный гудок, и наш теплоход рванул на выход из порта. Говорили, в тот вечер прямым попаданием фугаски было затоплено судно с сотнями беженцев, в основном детьми.

В Казани всех нас пересадили в поезд. Через несколько суток мы оказались в селе Готопутово Сорокинского района Омской области.

Надо сказать, что в эвакуации мы жили довольно безбедно. Мать устроилась кастеляншей в наш детский сад, завела поросенка. В отличие от многих моих сверстников, намыкавшихся в сибирских и уральских краях, я пошел в нормальную школу. Читать и считать начал в пять лет, и школа для меня была забавой. Любимым занятием было после уроков зацепиться крючком за борт грузовика и лихо на коньках пронестись через всю деревню или съехать на лыжах с горы в овраг. Весной — катание на льдине по реке Ишим, летом — прогулки в лес за грибами и ягодами, рыбалка.

Весной 1944 года блокада Ленинграда была снята, и отец телеграммой вызвал нас к себе. К тому времени из переписки отца с матерью мне было известно, что дом на Таврической, где мы жили до войны, разрушила бомба; комната на улице Войкова, которую отец получил взамен, тоже выгорела от попадания зажигательной бомбы, и теперь нас ждало новое пристанище — огромная, почти сорок квадратных метров, комната в доме на Потемкинской, рядом с Таврическим садом. Из писем отца мать знала о голодной смерти в 42-м году в Ленинграде своих близких — матери, отца и младшего брата, о гибели на фронтах других трех братьев. Из большой рабочей семьи — все они трудились до войны на одной фабрике, дед же мой еще подрабатывал ремонтом баянов и гармоней, сам неплохо играл — осталась в живых только мамина сестра, выжившая в блокаду, несмотря на дистрофию.

Ранним апрельским утром мы с матерью прибыли в Омск и почти весь день просидели на вокзале. Мимо неслись составы с военной техникой, сновали тысячи людей. После деревенской глуши гул и суета большого города ошеломили меня. С трудом уговорили проводника

посадить нас в поезд, мест не было, но он милостиво разрешил разместиться в переходе между вагонами. Всю ночь мы, прижавшись друг к другу, провели на сумках и рюкзаках. Внизу блестела стальная лента пути, лязгали буфера, гремели колеса — поезд мчал нас в Москву. На следующий день мать сунула проводнику сто рублей, и перед нами открылась плацкартная благодать. Почти десять суток с многочисленными остановками мы добирались до столицы. В поезде, перезнакомившись со всеми военными, я поражал их знанием географии, особенно их умиляло бойкое перечисление всех морей Средиземноморского бассейна: в то время западные союзники разворачивали боевые операции в Южной Европе.

В Москве мы прошли санобработку, после чего получили билеты на Ленинград. Движение по Октябрьской железной дороге, разрушенной на ряде участков, только-только возобновилось, и поэтому наше путешествие до Питера продолжалось двое суток.

И вот наконец я в родном городе, почти безлюдном, с зияющими провалами незастекленных окон, выщербленными мостовыми, следами разрушений и пожарищ. После толкотни Омска Ленинград выглядел чуть ли не захолустной провинцией. Из городского транспорта функционировал только трамвай. Когда через год-полтора пустили троллейбус, я был одним из его первых пассажиров, проехав «зайцем» от Смольного до площади Труда.

Дом, где отец получил комнату, до революции принадлежал роду Оболенских. Широкая мраморная лестница с могучими атлантами по краям вела мимо огромного, в золоченой раме зеркала на третий этаж.

Здесь из двух залов, когда-то, видно, предназначенных для приема именитых гостей, в советское время сделали коммунальную квартиру, где проживало шесть семей. Наше жилище украшали лепные потолки, раскрашенные под дуб с зелеными листьями посередине, малиновые туго натянутые шелковые обои с плетеной шнуровкой, дубовые панели и изразцовый камин. Вторая часть комнаты, отгороженная некапитальной стеной, с таким же интерьером, но без камина и меньшего размера, принадлежала соседям. Они были моложе отца с матерью и поддерживали с нами добрые отношения. Глава семьи служил на Северном флоте, дома бывал нечасто, но, когда появлялся, звуки гитары и сочный баритон слышались за стеной допоздна.

Другие соседи особенно ничем не выделялись. Одна соседка работала в рыбной гастрономии и часто потчевала нас столь редкостными сегодня деликатесами, другая, пережившая блокаду, вела замкнутый образ жизни. Третья семья отличалась подозрительностью ко всему и вся и нередко заводила склочную перебранку в просторной коммунальной кухне, заставленной шестью столами. Самым грамотным был сосед из маленькой комнаты, ранее, очевидно, служившей сервировочной. Инвалид войны, заимевший маленького ребенка в весьма солидном возрасте, он души не чаял в своем дитяте. Но тот рос своенравным, хулиганистым, и его отец часть своего внимания переносил на меня.

К тому времени я увлекся чтением. Военную тематику сменили «Животные — герои», «Аэлита», «Пылающий остров», «Земля Санникова», «Человек-амфибия», «Последний из могикан», «Всадник без головы», романы Жюль Верна, Вальтера Скотта и пр. Сосед, видя это, стал подбирать нечто для меня

необычное и даже экзотическое, и к двенадцати годам я прочитал не только книги о различных физических аномалиях и уродствах (с иллюстрациями), но и скабрёзные поэмы И. Баркова, изданные в годы первой мировой войны какой-то подпольной варшавской типографией. Я поделился своими открытиями со школьным приятелем, сыном военного коменданта Ленинграда, проживавшим в соседнем подъезде в просторной трехкомнатной квартире. Он мне в свою очередь показал учебник по гинекологии. За рассматриванием картинок нас застала мать приятеля. Произошел небольшой скандал. Я понял, что попал в запретную зону, куда мальчикам вход был еще закрыт.

Между тем школьные мои дела продвигались неплохо. Я преуспевал в литературе, истории, географии, английском языке. Математика и физика меня не увлекали, да и способностей к ним у меня не выявилось. По привычке регулярно слушал радио. Мне начала нравиться музыка. Я мог насвистеть что-нибудь из «Мартина Рудокопа» Целлера и «Графа Люксембурга» Легара. Мелодии Штрауса, Кальмана, Зуппе, Оффенбаха, Фримля, Миллекера стали моими постоянными спутниками. В 1948 году отец купил радиоприемник «Нева» с 19-метровым растянутым диапазоном. С тех пор я сделался заядлым слушателем русских передач Би-би-си, а когда их начали глушить, перешел на прием английских программ, чем существенно улучшил знание языка. К классической оперетте прибавились новые ритмы, заимствованные из радиоконцертов западной популярной и джазовой музыки. В это же время я захлеб читал газету «Британский союзник», черпая оттуда занимательную информацию о жизни на британских островах.

Мое поколение, по крайней мере та его часть, которая жила в больших городах, испытало на себе воздействие западного кино, заполнившего советский кинорынок в конце сороковых годов. Из лент, увиденных до войны, у меня в памяти сохранился только «Большой вальс» с несравненной Милицей Корьюз. По возвращении в Ленинград походы в кино стали моим новым увлечением. По несколько раз я смотрел «Джунгли», «Багдадского вора», «Джорджа из Динки-джаза», «Сестру его дворецкого», «Серенаду солнечной долины». Я был тайно влюблен в Дину Дурбин, затем ее сменила Джанетта Макдональд. Ее нежный голос, особенно в паре с Эдди Нельсоном, был неотразим. Фильм по повести Гайдара «Тимур и его команда» подтолкнул меня на мысль создать аналогичную команду у себя во дворе. С десятком мальчиков и девочек мы обсудили в подъезде дома предложенный мной план оказания помощи старикам и инвалидам. Меня тут же избрали Тимуром, и на следующий день команда взялась за работу: складывать в сарай дрова, привезенные накануне для одного из немощных блокадников. Владелец дров сначала с большим подозрением взирал на группу ребятишек, бескорыстно помогавших ему, затем прослезился, махнул рукой и ушел, успокоенный, в свою квартиру. Через неделю мы решили навести порядок на просторном чердаке, захламленном домашней утварью жильцов дома. Не всем жильцам эта затея пришлась по вкусу, вызвала подозрения. Кончилось же все тем, что я в чердачной темноте наткнулся на металлический чан и упал лицом на его край. Рентген показал перелом кости в верхней лицевой части. На несколько недель я выбыл из строя.

А затем наступило лето, и я уехал в пионерский лагерь МГБ в Кивиниеми, местечке под Кексгольмом (ныне Приозерск), еще недавно принадлежавшем Финляндии. До сих пор помню, как мы лазали по заброшенным бывшими хозяевами домам: ветер гулял по опустевшим комнатам, шуршал обрывками обоев и валявшихся на полу финских газет. Наша пионерия искала что-нибудь более ценное, но, кроме поржавевшего оружия, ничего не находила. Потом мы бродили вдоль берега лесного озера, и я, взобравшись на серые валуны, долго всматривался в его изумрудно-прозрачную бездонную глубину, любовался золотом мачтовых сосен, бледным голубым небом. Гораздо позже, в зрелые годы, я слушал «Туонельского лебедя» Сибелиуса и перед глазами вставали сумрачные скалы Карелии, незамутненные воды озер и рек. Магия воды, как стихии холодной, кристально чистой, стала неотъемлемой частью моей духовной жизни.

Второй мой заезд в пионерлагерь состоялся на следующий год. Поселок Сиверская километрах в шестидесяти от Ленинграда всегда был излюбленным местом отдыха горожан. Там располагались и детские учреждения местного МГБ. Самым примечательным эпизодом того сезона была встреча с курсантами школы МГБ. Они играли на аккордеоне и банджо, пели американские и английские песни. Мне сразу же захотелось стать таким же, как эти веселые, уверенные в себе молодые люди. Может быть, впервые я задумался о будущем. Кем быть, какую дорогу выбрать в жизни?

Привлекала астрономия, звездные миры, неразгаданные тайны планет. Но здесь нужна математика, а это не моя стихия. Нет, лучше быть диктором радиовещания, рассказывать о событиях в

стране и мире, призывать народы к скорейшему освобождению от нищеты и капиталистической эксплуатации. Пожалуй, еще интереснее стать военным атташе или дипломатом...

На лето 1948 года отец предложил нам с матерью поехать в Литву. В Игналине, живописном городке в сотне километров от Вильнюса, по его словам, можно было прожить три месяца без особых затрат.

Действительно, Игналина оказалась чрезвычайно привлекательным местом для недоедавших ленинградцев. Помимо превосходных природных условий, она располагала богатым и дешевым рынком, где торговали еще свободные тогда крестьяне окрестных хуторов. Мы поселились в частном доме, мать тут же обзавелась бараном и двумя десятками кур. Целыми днями носился я с литовскими мальчишками по окрестным лесам, собирая орехи, ловя раков в озерных протоках и совершенствуя свои навыки рыбака. Однажды мать предупредила: не разрешайте сыну уходить далеко в лес: там в бункерах живут «зеленые братья» — бандиты, ненавидящие русских. На меня уговоры матери не подействовали. Но случилось так, что в Игналине был застрелен местный активист, и через день в поселок прибыл «студебекер» с автоматчиками. А еще через сутки всех жителей пригласили прийти к сельсовету. Там у стены лежали два окровавленных трупа, выставленные напоказ, чтобы другим было неповадно. Это были «зеленые братья», уничтоженные в ходе карательной операции.

Мертвецов видел я и раньше. Однажды мы, школьники, обнаружили труп в заполненной до краев водой яме в Александро-Невской лавре. Мы ткнули

покойника палкой, и костюм на нем тотчас же рассыпался. Из кармана самый смелый из нас вытащил бумажник с продуктовыми карточками, военный билет. Все эти трофеи мы отнесли в ближайшее отделение милиции. Стражи порядка встретили нас грозным вопросом: где деньги? Долго пришлось объяснять, что денег не было, что покойник, видимо, жертва нападения и что милиции надо поспешить на место обнаружения трупа.

В Игналине я увидел изрешеченные пулями одежды, запекшуюся на лицах кровь, спутанные клочьями волосы. Это было лицо смерти. Еще вчера эти парни о чем-то думали, мечтали, за что-то боролись. Мне стало тоскливо.

К мысли о жизни и смерти меня вернули события июня 1950 года, когда разразилась корейская война. Вскоре после начала конфликта я поспорил с отцом моего школьного приятеля. Я считал, что уход нашего представителя из Совета Безопасности позволил беспрепятственно принять решение об использовании против Северной Кореи вооруженных сил под флагом ООН. Отец приятеля, еврей и правоверный коммунист, с пеной у рта доказывал мудрость советской внешней политики. Я позволил себе с горячностью сказать что-то неуважительное. «И тебе жалко этих корейцев и китайцев! Да их там миллионы, сотни миллионов, они все равно победят!» — взорвался оппонент. И в тот момент я впервые подумал, насколько отвратительно построен наш мир.

Жизнь каждого человека и моя тоже — скоротечна. Что бы мы ни делали, всему есть конец. Сотни миллионов — это же люди, живые существа. У каждого свое лицо,

своя жизнь, семья, дети, собственное представление о счастье, естественное стремление к благополучию. Почему они должны умирать? И разве все они не так же, как и я, чувствуют горе, радость, обиду, боль? Все они — корейцы и китайцы, немцы и русские, американцы и вьетнамцы, евреи и арабы, англичане и ирландцы? Нет, война чудовищна, насилие бессмысленно, человеческая жизнь бесценна.

Еще один случай заставил меня снова задуматься о людских судьбах, о милосердии и прощении. В знойный день возле ленинградского Дома писателей я увидел заросшего щетиной, в лохмотьях, мужчину, жадно пьющего из лужи. Изумленный, я подошел к незнакомцу и спросил, не могу ли быть чем-нибудь полезным. Он поднял голову, и из глаз его брызнули слезы. На ломаном русском он объяснил, что возвращается из плена, пробирается в Германию. Я протянул ему яблоко — все, чем был богат в тот момент, и пожелал поскорее увидеть своих близких.

Со смущенным сердцем возвращался я домой. Нас учили в школе ненавидеть врагов. «Папа, убей немца» — такие или подобные плакаты наводняли русские города и села во время войны. Почти все мои родственники погибли на фронте, либо умерли от голода в Ленинграде. Но эта встреча вызвала горечь, чувство сострадания. Так жизнь учила присматриваться к людям, мне открылось существование других миров, непохожих на мой собственный.

Возможно, размышления об абстрактных материях стимулировали общественную деятельность. На уроках истории и географии я выступал с пространными, выходящими за пределы темы ответами, язвил, иногда

даже паясничал, чувствуя слабость позиций преподавателя. Критические увлечения свойственны переходному возрасту, и мои классные наставники были снисходительны ко мне.

Вообще среди учащихся в нашей школе большинство составляли выходцы из семей старой петербургской интеллигенции. Прогулов практически не было, до выпивок и курения не дошло даже в выпускном классе. По-видимому, с этим был связан и уровень преподавательских кадров. В те годы началась борьба с «безродными космополитами», а в нашей школе их было немало. Одна из них, учительница истории, питала ко мне явную симпатию: она не раз с моей помощью демонстрировала различным комиссиям высокую эффективность преподавания общественных дисциплин. Для поддержания своих знаний я много читал дополнительной литературы по истории, а потом просто увлекся средневековьем. Кажется, в 16 лет я был лучше осведомлен о папских энцикликах, походах Кромвеля и хрониках французских королей, чем о многих эпизодах русской истории.

Но особенно любил я Аиду Львовну Голденштейн, преподавательницу русской литературы, заслуженную учительницу республики, награжденную еще в те времена орденом Ленина. Тучная, страдавшая грудной жабой, пожилая женщина, она преображалась, когда начинала разбор «Войны и мира» или тургеневских романов. По ее инициативе в школе ставились инсценировки классики. Я играл обманутого мужа Анны Карениной в спектакле по одноименному роману, затем белого офицера в «Незабываемом 1919-м» Вс. Вишневского. Пришлось исполнить роль и в маленьком скетче по мотивам исторических хроник В. Скотта. Но

здесь застрельщиком оказалась наша «англичанка», тоже увлеченная, любившая свою профессию дама.

Втянувшись во все эти школьные дела, я неизбежно оказался на виду у своих однокашников и преподавателей. В конце концов меня избрали комсоргом.

Вплоть до окончания школы я вместе с матерью продолжал выезжать на каникулы в разные места. В Доме отдыха МГБ в Териоки (ныне Зеленогорск), куда мать устроилась на работу, я занимался тем, что целыми днями с такими же подростками методично обследовал места боев, где сохранились искалеченные остовы танков и самоходок. Находили и взрывали в лесу мины, собирали патроны из подсумков покоившихся в болотах скелетов, из рогаток били стекла в заброшенных финских домах. Впервые побывали на линии Маннергейма, лазали по дотам, восхищаясь добротностью и неприступностью этих сооружений.

Побывали мы и на Череменецком озере. Там разрушенную войной усадьбу Ропти Ленинградское управление МГБ использовало совместно с совхозом имени Дзержинского как подсобное хозяйство. Мать, как обычно, трудилась. Меня же обучал игре в покер инструктор горкома партии.

События внутренней жизни, казалось, проходили мимо нас. Между тем в Ленинграде уже разгромили «оппозицию» во главе с Кузнецовым, Попковым, Бадаевым и др. Отец рассказывал о многочисленных арестах в городе. К тому времени он работал в охране ленинградского партийного руководства. Служба в защищенных от бомбовых ударов казематах Смольного не прошла незамеченной. В 1945 году отец получил

звание младшего лейтенанта, в тот же год выехал в составе советской контрольной комиссии, возглавлявшейся А. Ждановым, в Хельсинки. По возвращении был зачислен в охрану смольнинских вождей. Из них только А. Кузнецова, первого секретаря обкома, а позже секретаря ЦК, расстрелянного по так называемому ленинградскому делу, вспоминал добрым словом.

Летом 50-го года я вновь оказался в Игналине. От старого рынка осталось жалкое подобие, в лесах было тихо. Жизнь как будто замерла. Коллективизация и жесткая хватка МГБ сделали свое дело.

В истоме теплых, благоухающих вечеров, часто засыпая на сеновале хозяйского дома, я испытывал первое, еще слабо осознанное, инстинктивное влечение к противоположному полу. Я уже прочитал Куприна и Бунина, Мопассана и Золя. Последний притягивал и отталкивал одновременно натуралистическим описанием любовных сцен. Я сравнивал книжных героинь с реальными персонажами в жизни: вот маленькая, изящная литовка Изольда. Зеленоватые смешливые глаза, мальчишечий овал лица, короткая стрижка, формы неразвиты, грудь едва просматривается, смотреть приятно, но искры не высекает. А вот Люба — крупная, с выпуклостями с обеих сторон, старше меня на два-три года. Она обнимает меня, не стесняясь, в присутствии матери. Мне не понятны ее намерения. Может быть, просто манера поведения — есть такие падкие на поцелуи особы. Мне не нравятся ее приставания. В них есть что-то вульгарное.

Через несколько лет я столкнулся с ней в Таврическом саду, она сидела на скамейке и читала

«Яму». Для меня это был пройденный этап. Я уже осваивал на английском «Любовника леди Чаттерлей».

По окончании девятого класса я в последний раз выехал вместе с матерью на летние каникулы, теперь уже на Украину, где жили под Винницей какие-то старые знакомые, обещавшие изобилие дешевых овощей и фруктов.

Образ жизни местных определяла сахарная свекла и маленький завод, где многие из них работали. Наши гостеприимные хозяева оказались заядлыми самогонщиками. По вечерам в хате они засыпали украденный на заводе сахар в огромные чаны и варили свое зелье. Я наблюдал, как начинал капать первач, и однажды меня угостили этой отравой. Раньше мне не приходилось пробовать спиртного. Отец не проявлял к нему никакого интереса, мать — тем более. Отец, кстати, и не курил. Незадолго до отъезда на юг, уже почти взрослый, я купил пачку папирос и, стоя возле унаследованного от петербургской бабушки старинного трюмо, закурил. Не успел я оценить эффект, который смогу произвести на своих приятелей с папироской в зубах, как сзади скрипнула дверь. Моментально я выбросил окурок в приоткрытое окно. Вошедший в комнату отец, потянув носом воздух, спросил, кто здесь курил. Я пожал плечами, заметив, что, возможно, запах идет с улицы. Не говоря ни слова, отец вышел из комнаты, спустился по лестнице вниз, подобрал на улице еще не угасшую папиросу и вернулся в дом. Также не говоря ни слова, он закатил мне мощную оплеуху. С тех пор у меня не возникало желания курить.

Винницкое лето запомнилось и еще одним эпизодом. Общаясь с деревенскими, я услышал, что местный врач

пользует пациентов не бесплатно, как положено при социализме, а за деньги или что-нибудь съестное. Возмущенный, я двинулся к усадьбе врача и стал трясти растущую там грушу. Реакция последовала незамедлительно. С криком и бранью какая-то толстушка бросилась ко мне, пытаясь схватить за шиворот. Не зная еще, что она и есть искомый злодей, я бросился наутек. На следующее утро, выяснив, что единственной владелицей усадьбы является врач, я, преисполненный чувством благородного гнева, вновь появился у злополучной груши. На этот раз я застал хозяйку врасплох и отчитал ее со всей пышностью и красноречием, на которые способен комсомольский вожак, всерьез относящийся к своим обязанностям. Удивительно, но она, сначала встретив мои упреки в штыки, потом начала оправдываться, ссылаясь на низкую зарплату и деревенские традиции.

На берегу Южного Буга я млел от зноя и безделья. Читать было нечего. О телевидении тогда еще почти никто не слышал. На танцы под духовой оркестр я не ходил, так как танцевать меня никто не научил. В мужских школах при системе отдельного обучения навыки обхождения со слабым полом приобретались методом проб и ошибок. Я остро чувствовал необходимость самосовершенствования. Но где, как?

А пока я лежал на пляже и рассматривал деревенских красавиц. Некоторые из них проявляли внимание к юному ленинградцу. Одна заботливо приносила фрукты, другая — найденные где-то старинные монеты. Я тогда уже расстался с коллекционированием марок — эта страсть длилась всего два-три года. Увлечение нумизматикой тоже прошло через несколько лет, но я сумел скопить за бесценок

приличное число монет, в том числе времен Римской империи. Одну из них подарила мне винницкая девчонка.

Осенью я пошел в последний, выпускной класс. Я начал ухаживать за девчонками из соседних школ. Это были неуклюжие попытки привлечь к себе внимание, но не за счет внешних данных — тут я не питал особых иллюзий, а скорее путем использования знаний в различных областях и умения их преподносить. К тому времени у меня появилась личная библиотека, и отец, сам едва закончивший семилетку, но поощрявший мое увлечение книгами, купил для меня большой книжный шкаф. Читал я много и беспорядочно. С русской литературой управлялся по ходу школьной программы, отдавая предпочтение Тургеневу. Из немцев выделял Фейхтвангера и С.Цвейга. Очень равнодушен был к Ибсену и Гамсуну. В Гюго был просто влюблен, а роман Дж. Лондона «Мартин Иден» перечитал трижды (один раз на английском) — так нравился мне главный герой и его яркая, но печальная судьба. К поэзии отношение было сдержанное: я не шел за пределы рекомендованного чтения до тех пор, пока не произошло нечто, выбившее меня из колеи: на пороге своего семнадцатилетия я влюбился.

Эту девушку со спортивной фигурой, золотистыми с рыжинкой волосами и миловидным круглым русским лицом я заметил уже давно. Любитель велосипедной езды, я часто встречал ее в седле велосипеда, пронесившегося мимо меня по той же улице.

Иванова Людмила Викторовна была на год моложе меня, училась в соседней школе. Ее отец, полковник, служил начальником ленинградского филиала Военно-политической академии, мать преподавала

математику в школе. С младшими сестрой и братом Людмила занимала маленькую квартиру на первом этаже школы, в которой их отец до войны был директором.

С 51-го года я повадился навещать эту квартиру, она же и стала отправной точкой для моей будущей семейной жизни.

Отношение к предмету моего обожания было трепетным, я стеснялся проявлять свои чувства и больше разглагольствовал о прочитанных книгах и увиденных фильмах. Ранее я изредка бывал в театре, сначала это были «Сильва» и «Марица» в оперетте, а затем «Цыганский барон», «Риголетто» и «Травиата» в Малом Оперном. Теперь я стал регулярно посещать театры со своей избранницей. Летний сад с его нарядной публикой и стриженными газонами, скульптурами, украшавшими тенистые аллеи, вытеснил захудалый, плебейский Таврический. В сезон мы совершали и более дальние прогулки: в Лесное, Озерки, Невский лесопарк— милые ленинградцам места, где в начале пятидесятых годов еще не было уродливых пятиэтажек, где звенел в воздухе тугой, наполненный сосновой смолой аромат и птицы как будто радовались вместе с нами в предвкушении счастья.

В Невском лесопарке, куда мы добрались однажды на речном катере, я обнаружил, что моя любовь обладает не только приятной во всех отношениях внешностью, некоторой начитанностью и безупречным благонравием. Сидя на траве под кроной огромного дерева, я узрел дырочку в ее платье, плотно облежавшем фигуру. Бесстыдный солнечный зайчик бродил на ветру по ногам возлюбленной и непременно останавливался на

этой небольшой прорези, обнажая капроновый чулок где-то гораздо выше колена.

Я, как замороженный, следовал взглядом за движением зайчика и неизменно задерживал его именно там. До встречи с Людмилой я не имел близких отношений с женщиной. Да, и в те дни умопомрачительной влюбленности я даже не помышлял о чем-то подобном. Так мы и продолжали встречаться, обмениваясь почти детскими поцелуями, но чувствуя, что все это всерьез и надолго.

Тут-то у меня и проснулся интерес к поэзии.

Как ни странно, не наши классики, не Пушкин и не Лермонтов привили мне любовь к поэтическому слогу, к ярким одухотворенным образам, загадочным узорам слов и игре мысли. Первые, кто сразил меня наповал, были Брюсов и Бальмонт. Последнего в разрозненных страничках издания времен гражданской войны я заимствовал у своего приятеля Левы Бронштейна, да так и «зачитал». Сегодня этот томик Бальмонта в роскошном переплете стоит в моей библиотеке.

От двух Б я перешел к третьему — Блоку. Затем пошло все подряд, но в первую очередь русские и западные символисты: Мережковский, Гумилев, Бодлер, Малларме, Аполлинер...

На книжных развалах, тогда еще существовавших в Ленинграде в районе Думы, я купил несколько томов дореволюционного издания Д'Аннунцио, чья проза показалась мне на уровне классной поэзии. Года через два я познакомился и с английской поэзией, а пока довольствовался тем, что мог достать у приятелей,

букинистов, в библиотеке Дома писателей, куда меня пристроила мать однокашника.

Близилась выпускные экзамены. Однажды взбудораженный весной класс решил дружно прогулять несколько уроков. Молодая кровь бурлила, и послушание не считалось большим достоинством. Я отказался присоединиться к этой выходке и, оставшись в гордом одиночестве, встретил учительницу в классе словами о весне-чародейке, способной увлечь любого, что и ей должно быть знакомо. Скандала не произошло.

На следующий день все шло в обычном ритме. Опасение, что меня осудят, оказалось напрасным. Веселая незлобивая компания юнцов отнеслась снисходительно к своему комсомольскому вожаку. Это было чудное время, тот самый разгар молодости, когда, по словам А. Моруа, «чувства пылают, а сердце наполнено чистотой, когда гений вот-вот вырвется наружу, но никто еще не постиг его, когда человек чувствует себя сильнее всего мира, но он еще не может сам доказать свою силу, это время, когда сердце человека поет в груди, когда он так нетерпелив и то впадает в отчаяние, то преисполнен надежд».

Шел 1952 год.

Куда и с кем пойдет молодой комсомольский активист, дитя времени, единственный сын, выпестованный заботливыми родителями, уверовавший с малых лет в незыблемость основ, правоверный до мозга костей, невинный в физическом и нравственном смысле? Он будет с теми, кто поведет его в город Солнца, в коммунистическое завтра, где нет частной собственности, нет праздных негодяев и тунеядцев; где все трудятся, всесторонне развиты, каждый получает по

потребностям, народ избирает правителей государства и добровольно проходит военное обучение для защиты страны от внешних врагов.

Для этого можно бы поехать в Москву, поступить в Институт международных отношений, а оттуда путь открыт для блестящей карьеры. Но в профессии дипломата есть что-то сугубо гражданское, а отечеству нужны мужественные защитники, способные постоять и за себя, и за родной дом. Итак, комсомольский вожак пойдет на службу в овеянные славой органы госбезопасности.

Отец выступил против моего решения. Он убеждал меня, что это собачья, неблагодарная работа, что мне лучше пойти в гражданский институт. Но я был упрям и непреклонен. Зная, что в Ленинграде есть высшее учебное заведение, готовившее кадры для МГБ, я упросил отца выяснить условия набора и сроки подачи документов. Моя настойчивость возымела действие.

Через неделю я заполнил многостраничную анкету и отдал ее отцу. Еще через две недели отцу сообщили, что в этом году набора не будет. Я приуныл, но от мысли стать чекистом не отказался. Я был готов ехать куда угодно, лишь бы достичь своей цели. Я направил документы в высшее пограничное морское училище, но не прошел туда по зрению. Тогда, в отчаянии, я направил запрос в Сортавалу, где дислоцировалось училище МГБ. Там мой интерес к учебе в богом забытом крае вызвал фурор. Руководство училища телеграфировало согласие и просило прибыть в училище поскорее.

Случайный телефонный разговор с моей знакомой из соседней школы спутал все карты. Ее отец работал в

МГБ; поинтересовавшись, куда я собираюсь поступать учиться, она мне сказала, что в городе есть интересное учебное заведение, где стоит попытаться счастья. Но следует поторопиться, ибо прием заканчивается через несколько дней.

Я встрепнулся. Речь шла о том самом институте, куда я первоначально подавал документы. Теперь же они отосланы в Сортавалу. Что делать?

Если бы не отец, может быть, все пошло бы иначе. Он взял отгул и на следующий день на локомотиве в кабине машиниста добрался до Карелии. Через два дня документы были доставлены в Ленинград. Еще через два дня я сдал подряд четыре экзамена и, получив по всем предметам «отлично», стал слушателем Института иностранных языков МГБ СССР.

Глава II

*Юноше, обдумывающему
жизнь,
решающему, сделать бы жизнь
с кого,
скажу, не задумываясь: делай
ее*

— товарища Дзержинского.

В. Маяковский

Прежде чем я надел офицерскую форму слушателя Института — привилегия, которой пользовалось единственное в Ленинграде, да, наверное, и в стране, высшее военное учебное заведение, я выступил на выпускном вечере в своей школе и в присутствии торжественно настроенной, нарядной публики

громогласно заявил с трибуны, что намерен учиться, а затем служить в органах МГБ. «Я убежден, что на мою жизнь хватит нужной нашему обществу работы по выгребанию нечисти, отравляющей существование первого в мире социалистического государства. Возможно, я буду «последним из могикан» и аппарат подавления к тому времени отомрет вместе с другими структурами государственной власти за ненадобностью, но я полон решимости, встав на этот путь, идти по нему до конца». Мои слова были встречены аплодисментами, некоторые в толпе недоуменно переглядывались. Я поймал на себе встревоженный взгляд отца. Как сотрудник негласной службы МГБ, а он в те годы уже выступал в роли «топтуна» Седьмого отдела Ленинградского управления, отец не любил, когда вслух и тем более в привязке к нему упоминалась госбезопасность.

Через неделю я побывал на выпускном балу в соседней мужской школе. Пришли девушки, которых наиболее смелые молодые люди пригласили танцевать. Неожиданно включили мелодию танго, и радостно возбужденные пары бросились исполнять находившийся под запретом танец. Счастье длилось недолго — в зал ворвалась заведующая учебной частью и потребовала прекратить безобразие. Никто ее, однако, не слушал: получившая аттестаты молодежь уже не боялась своих бывших наставников. Завуч все больше свирепела, угрожая вызвать милицию. Я подошел к ней и разъяснил, что танго является народным испанским танцем, он не может подпадать под категорию буржуазных, разложенческих и иных неподобающих для исполнения в советской школе. Мое вмешательство окончательно вывело ее из себя, и она ринулась вниз по лестнице с

криком: «Хулиганы! Вас всех в каталажку надо запереть!» Минут через пятнадцать один из «хулиганов» заметил через окно приближающуюся милицейскую машину. Танцующие оставили своих дам и спешно начали сооружать баррикаду из скамеек перед входом в зал. Пока милицейский наряд рвал двери, кавалеры нашли черный ход, по нему спустились во двор и затем врассыпную бросились по домам, оставив лучшую половину человечества объясняться с милицией относительно происхождения танго и причин, побудивших ее разлагаться с хулиганьем из неизвестно какой школы.

На этой звонкой струне оборвалась моя гражданская жизнь. Я открывал новый для себя мир, казавшийся со стороны таинственным и недоступным.

Здание Института, в котором мне предстояло провести четыре года, до революции занимали юнкера. Длинное, казарменного типа строение окнами выходило на трамвайные рельсы, рядом размещались военно-топографическое училище и Военно-воздушная академия имени Можайского. Внутренний двор, ограниченный с одной стороны высоким глухим забором, а с трех других — стенами, полностью изолировал нас от внешнего мира. Нижние окна с матовыми стеклами были укреплены толстыми металлическими решетками. Правда, первый этаж использовался главным образом как кухня, столовая и спортивный зал, поэтому претензий по поводу неудобств никто не высказывал.

Впервые попав в непривычные, казенные условия, я затосковал. Мои отношения с Людмилой еще не настолько устоялись, чтобы я чувствовал себя спокойно, сидя за решеткой, тогда как она подвергалась

постоянным соблазнам вольной жизни. Выходить в город разрешалось лишь раз в неделю, телефонная связь ограничивалась, и у меня появилось ощущение, что я в западне.

Первые знакомства с сокурсниками тоже настраивали не на оптимистичный лад. Народ под этой крышей собрался весьма разношерстный. Я был, пожалуй, единственным попавшим в Институт прямо со школьной скамьи. Подавляющее большинство представляло периферию — от Сибири до Белоруссии, многие отслужили в армии, работали на заводах, в шахтах и колхозах. Наиболее близкой мне по духу и по возрасту оказалась группа выпускников Ленинградского суворовского училища МГБ СССР. (Было и такое учебное заведение среди многочисленных военных школ, разбросанных по стране.) Суворовцы в какой-то мере задавали тон; их подтянутость, выучка, грамотность контрастировали с провинциальными манерами и невысоким уровнем общей культуры остальной массы.

На нашем курсе было меньше ста человек, и вскоре мы хорошо узнали друг друга, тем более что первый год с понедельника до субботы включительно мы жили в казарме.

Спали мы в огромных комнатах, до двадцати коек в каждой. Подъем в семь утра, зарядка во дворе с пятнадцатиминутной пробежкой по улице в нижней рубашке или без нее, в зависимости от погоды. Завтрак в просторной столовой, добротный, но без излишеств. Мяса в достатке, масло и сахар всегда. Макароны по-флотски и разнообразные каши доминировали в меню, но, получая стипендию 600 рублей в месяц —

сумма по тем временам для студентов сказочная, мы позволяли себе и шоколад, и икру, и другие лакомства.

Завтраку предшествовало построение. Начальнику курса докладывали о состоянии здоровья личного состава и происшествиях, после чего он обходил сдвоенные ряды, внимательно изучая подбородки своих подопечных на предмет выявления несбритых волосинок, придирчиво осматривал латунные пуговицы и пряжки ремней, состояние обуви, иногда отворачивал воротнички гимнастерок. Почерневшая пуговица или несвежий воротничок могли послужить причиной для замечаний и даже неувольнения в выходной день, если порядок нарушался систематически. Наш первый начальник курса, старший лейтенант Созинов, внешне походил на учителя сельской школы. Блондин, лет около сорока, с жидкими прядями волос, сухощавый, без военной выправки и офицерской заносчивости, он обладал добрым нравом, и бледно-голубые глаза его всегда излучали ровный теплый свет. Его отношение к молодежи было скорее отеческим, чем командирским. Ему не хватало грамотности, и это, очевидно, тормозило его служебный рост. Он стеснялся спорить с подчиненными и редко прибегал к дисциплинарным наказаниям. Меня тронула просьба, с которой он обратился однажды поздно вечером, заманив меня к себе в кабинет.

«Слушай, ты лучше меня знаешь грамоту, посмотри, все ли у меня здесь верно и без ошибок написано», — сказал Созинов, сунув мне в руки какой-то документ. Я с удовольствием помог подправить его рапорт вышестоящему начальству, и мое уважение к старлею от этого только возросло.

Занятия в Институте начинались в девять и заканчивались около трех пополудни. Дисциплины преподавались те же, что и в гражданском вузе языкового профиля, по крайней мере до второго курса. После обеда можно было с часок поспать, либо посидеть в библиотеке. Затем под контролем командира группы шла самоподготовка, подразумевавшая выполнение заданных уроков и самообразование. Вечером, после ужина, получасовая прогулка строем по Большому проспекту Петроградской стороны, иногда с песнями, если находился запевала, завершалась отбоем в 11 часов.

Английское отделение, в которое я попал по собственному желанию и по причине некоторого знания языка, состояло из двадцати человек, разделенных на две равные подгруппы. Самым крупным считалось германское отделение — почти все его выпускники предназначались для работы в ГДР и потребность в специалистах по Германии с каждым годом возрастала. По десять-пятнадцать человек изучали французский, японский, китайский и персидский языки.

Первое время запас знаний, полученный в школе, давал возможность не особенно утруждать себя уроками. Зато я открыл в Институте превосходную библиотеку, фондов которой не коснулась рука цензора. Там я и просиживал часами, когда позволяла обстановка.

Постепенно осваивался я и в новом коллективе. Самой привлекательной фигурой для меня оказался Юра Гулин. Этот коренастый уралец, с пышной, артистично уложенной шевелюрой и живыми зеленоватыми глазами, горделивой посадкой головы, интересно рассказывал мне о своем отце, который в довоенные годы ушел в

нелегальную разведку НКВД и пропал без вести. Юра обладал отличным музыкальным слухом и, по его словам, имел дома коллекцию граммофонных пластинок, начиная с дореволюционных записей Карузо и Баттистини и кончая парижским шаляпинским исполнением литургии Гречанинова. Мы вместе слушали радиоконцерты классической музыки, ходили в филармонию.

Юра выделялся своими независимыми суждениями. Отношение к нему сразу сложилось неровное. До прихода в Институт он около года работал в «органах» и, в частности, исполнял роль подсадной утки у арестованных по политическим статьям. Вскоре вокруг нас образовался небольшой коллектив сочувствующих, главным образом из числа суворовцев, или, как их называли, «кадетов». Тянулись к нам и выходцы из медвежьих углов: Володя Коровин — курчавый, смуглолицый моряк с Тихого океана, прошедший огонь и воду за пять лет службы на Дальнем Востоке, Борис Чечель — степенный парень из западных областей Украины, обладавший сметливым умом и крепкой крестьянской хваткой, Виктор Черкашин — сын железнодорожника из Пинска, высокий, располагающий к себе женщин щеголь с провинциальными замашками, сообразительный и практичный во всем, что пахло выгодой. Были и фигуры менее симпатичные.

В то время я вел дневниковые записи, в которых почти ежедневно фиксировал наиболее интересные события и собственные размышления по самым разнообразным вопросам. У меня сохранилась характеристика Коли Чаплыгина, в прошлом шахтера из Кузбасса, взятого в органы по разнарядке в качестве представителя рабочего класса. Достаточно хорошо узнав Чаплыгина за полгода совместной учебы, я с

юношеской непосредственностью писал о нем: *«Бывают же ослы на свете! Коля — типичный пример. Туп во всех отношениях, совершенно неразвит, груб, неотесан. Вся фигура его как бы подтверждает мое впечатление: большая голова с тяжелой квадратной челюстью, плоским обезьяньим носом, широко раскрытыми глазами кретина, в которых мерцает какой-то коровий огонек; волосы жесткие, как грива у лошади; крайне неуклюж — крупный таз, походка не прямая, а слегка наклоненная вперед. Первобытный человек на заре своей трудовой деятельности. За все время не дочитал даже одной книги — Р. Роуана «Очерки секретной службы». Угрюм, как баран. Его девица, впрочем, такая же корова, как и он сам. Но этот «добрый молодец» пытается задавать тон, уверовав в свою пролетарскую непогрешимость. Он и про оперу что-то скажет, и по сексуальным проблемам специалист, обсуждает, вызывая у всех смех, чего он понять не может. Диву даешься, откуда такие люди берутся? Пригласили его в драмкружок. Играет он там доносчиков и предателей».*

Не знал я тогда, что и в реальной жизни Чаплыгин сыграет роль доносчика, причем я же и стану жертвой его доноса.

Март 53-го года. Голова наполнена светом и звуками весны. Небо голубое-голубое. Смотришь — и нет конца. Голубизна переходит в синеву где-то высоко, высоко. И на земле все кажется таким мелким по сравнению с огромным синим океаном...

Я только что просмотрел свежий номер «Правды» и спешу поделиться сам с собой мыслями о прочитанном: *«В фельетоне «Бурьян» рассказывается о детях одной матери, которые после смерти отца разделили все*

имущество и разъехались, оставив старушку без кола и двора. Из четырех детей никто не оказался Человеком. Все оказались свиньями. Никто не взял мать к себе в дом, все отказались от нее. Отправили в больницу. Кто эти люди? Преподаватель одного из московских институтов, работник прокуратуры на Украине и т. д. Наверное, все коммунисты! Сволочи! К сожалению, их можно только выгнать из партии...»

Следующая запись сделана только 10 марта: «Умер Сталин! Жутко! С 2 марта был парализован и 5 марта в 9 ч. 50 мин. вечера скончался. Очень трудно поверить! Каждый день, начиная со второго марта, мы ожидали бюллетеней о ходе болезни. Радио не выключалось на ночь. Утром 6 марта Левитан зачитал сообщение правительства. Еще не проснувшись как следует, я уже понял, так же как и все, трагичность этого сообщения. Слезы душили, еще нераскрывшиеся глаза наполнились ими, и, уткнувшись в подушку и закрывшись одеялом, я не спал до подъема.

Утром, угрюмые, мы бродили по коридору. Распорядок дня был нарушен. Все сидели и слушали радио, забыли о зарядке, построении, завтраке. На 5 часов было назначено траурное заседание. Настроение у всех подавленное. Только идиот Володя Бескрайний рассказывал похабные анекдоты и смеялся как ни в чем не бывало.

Позвонил домой. Мать говорит: «Умер твой батька» — и плачет. В пятницу, по дороге в фотографию, наблюдал за поведением людей на улице. Мне показалось, что все довольно равнодушно. Придя к своим, долго возмущался тем, что не заметно нигде, что умер человек, величие которого даже трудно

охарактеризовать обычными словами. Траурная музыка все время вызывает слезы. Глаза становятся влажными, блестящими, но внешне ничего не заметно.

С подарком для матери пришел домой 8 марта. Она сильно плакала. Говорит, что умер не только Отец, но и Бог, у которого мы жили за пазухой. На Маленкова смотрит с недоверием, говорит, что молод слишком. Отец сказал, что у него на работе все сотрудники плакали. А у нас на траурном митинге только Артур Кудрявцев рыдал и несколько преподавателей. Не поняли еще многие глубины несчастья.

Слушал Лондон в новостях. Говорили о том, что толпы людей идут проститься с Великим Отцом, о предстоящей церемонии похорон. Совершенно объективно. Потом наткнулся на передачу «Голоса Америки». Слова «кончилась кровавая власть Сталина» возмутили до глубины души. Правительство США прислало соболезнование, подчеркнув, что это лишь долг вежливости, а не искреннее сочувствие. Однако даже долг вежливости можно исполнить иначе, не подчеркивая формальность этого акта. Мы не можем быть уверенными в искренности посланий де Голля, Ориоля, Эйнауди и других. Но они почтили память величайшего после Ленина человека на земле, отдали ему должное, как это подобает цивилизованным людям. Только дикие янки, не имеющие ни малейшего представления о такте и вежливости, могут продолжать свою гнусную кампанию по радио и в печати. Такое омерзительное впечатление остается после всех передач «Голоса Америки» в то время, как все человечество во всех уголках мира трауром отмечает этот день. Когда я в понедельник утром пришел в Институт, ребята, естественно, спрашивали о реакции на Западе. Я

информировал их, снабдив комментариями, изложенными выше. Лева Белоглазкин добавил ко всему сообщение «Голоса» по поводу реорганизации правительства, которую они называли «министерской чехардой, не несущей облегчения народам России». Вечером того же дня командир подозвал меня и предупредил, чтобы я не распространял передачи «Голоса Америки» во избежание неприятностей. То же сказал мне и Коровин вчера в бане. Надо заткнуться. Надеюсь, что собравшиеся в связи с этим тучи разойдутся.

В понедельник в Москве состоялись похороны. Народу было очень много. Из Ленинграда ехали в столицу целыми коллективами, а некоторые сбегали с занятий и со службы, чтобы попасть вовремя в Москву. В 12 часов дня остановили повсеместно работу, произвели салют гудками и артиллерийскими залпами. Мы все собрались у радиоприемников и слушали выступление Маленкова. Твердым голосом он произнес речь, в которой подчеркнул, что священной обязанностью партии и правительства является укрепление партийных рядов, единства, повышение материального и культурного уровня жизни народов СССР, укрепление мира во всем мире. Затем выступил наш новый министр Л. П. Берия. Обстановка в зале была напряженной, она разрядилась слезами только при выступлении Молотова. Дрожащим голосом он произнес первые слова, и весь наш женский персонал застонал от горя. На мужской половине происходило почти то же самое. Когда под звуки траурного марша гроб с телом Сталина понесли в мавзолей, плакали почти все. Это была демонстрация не только горя, но и любви к нашему родному Сталину. Горе, конечно, велико, но иногда кажется, что это

ерунда: ведь Сталин не умер, он не может умереть, его смерть — лишь формальность, необходимая, но не такая, которая лишает людей уверенности в будущем. То, что Сталин жив, будет доказываться каждым новым успехом нашей страны как во внешней, так и во внутренней политике. По-моему, любое хорошее начинание в стране будет называться сталинским. С его именем будут жить все поколения, которые родились в эпоху его деятельности. И только поколение 20, 30 — 40-х годов будет помнить его лишь по книгам и сказаниям. В Москве будет сооружен Пантеон для Ленина и Сталина, других деятелей нашего государства. Поступили первые сообщения из-за границы: Катовицы переименован в Сталинград, дворец науки в Варшаве будет носить имя Сталина. В Праге на Вацлавской площади огромная масса народа без шапок слушала траурную передачу из Москвы... В Италии на 20 минут прекратили работу предприятия...

Дни, подобные 6–9 марта, заставляют каждого человека еще раз критически подойти к оценке своей деятельности.

В частности, мне надо усилить работу на всех направлениях, не терять зря время в бессмысленной болтовне или ничегонеделании. Необходим жесткий распорядок самоподготовки. Нужно точно распределить время на каждый предмет изучения. Изучение английской, потом американской, а позже европейской литературы, западной музыки (позже русской и советской), истории Англии, затем Америки и Европы, истории дипломатии, архитектуры, живописи, позже римской и греческой культуры, латинского языка не должно мешать изучению английского и немецкого языков. Нельзя, конечно, обходиться без чтения

художественной литературы других стран. Уплотнение дня предстоит весьма серьезное. На следующей неделе необходимо отпечатать ряд фотокарточек. У нас прекрасно оборудованный кабинет для этих целей. Надо, чтобы на Доске почета висела моя хорошая фотография.

Еще не решил точно, но ясно вижу пользу и имею желание начать приобретение грамзаписей крупнейших музыкальных произведений. На эту мысль меня натолкнуло не только желание изучать и знать музыку вообще, но и траурные дни, когда по радио звучали дивные мелодии.

Если я буду создавать фонотеку, то не такую, как Юра Гулин, который собирает все, что под руку попадет, кроме русских народных песен. У него в коллекции рядом с Чайковским, Верди и Шопеном стоят Утесов, Шульженко, Козин и Лещенко, бродвейский джаз и одесские блатные песни. Конечно, хорошо иметь все, но без последнего можно обойтись. Утесова и джаз можно слушать по радио. Я буду отбирать только европейских и русских классиков, а также легкую музыку из лучших оперетт, неаполитанские и венгерские песни и танцы».

Прошла неделя после траурных церемоний в Москве. Жизнь возвращалась на круги своя. Неожиданно меня вызвал к себе Созинов. Разговор он начал в своей обычной простецкой манере, но меня сразу насторожил вопрос о том, как я провожу время, когда бываю дома. Мелькнула мысль: кто-то стукнул о моих увлечениях радиопередачами из-за кордона. Чтобы отвести удар, я сразу «признался», что систематически слушаю радио для шлифовки произношения и пополнения словарного запаса. «Что еще, кроме английских передач?» — спросил Созинов, пристально глядя мне в глаза. «Еще

музыку». — «Какую музыку?» — настаивал Созинов, и лицо его приобрело жесткое выражение. «Западную». — «Какую западную?» — уже зло спросил он. «Джазовую, иногда классическую». — «Что читаете?» — «Книги и справочную литературу, энциклопедии». — «Какие книги?» Это уже походило на допрос. «Западную художественную и по разведывательной тематике», — ответил я. «Почему интересуешься только Западом?» — Созинов перешел на «ты», что могло предвещать либо грубый окрик, либо отеческий совет — он был способен и на то, и на другое при неизменном тоне и внешней невозмутимости. «Потому, что предполагаю, что буду работать в разведке на Западе, а чекисту необходимо знать все о будущем театре военных действий». «Старлей» усмехнулся: «Если ты попадешь в число счастливчиков, то окажешься в разведке. А если тебя отправят на Курильские острова? Вы с Гулиным ведете себя очень независимо. Что он из себя представляет? Никак его не пойму». Вероятно, Созинов уже имел с кем-то беседу о Гулине, ибо проявил осведомленность о его наклонностях и отдельных высказываниях. Я не стал скрывать, что Гулин мне симпатичен, более того, он ухаживает за сестрой моей любимой девушки и, кто знает, может быть, мы породнимся. Удовлетворенный моей откровенностью, Созинов отпустил меня без дополнительных назиданий. Я же намотал на ус: впредь следует быть осторожнее. Чтобы оказаться среди «счастливчиков», надо продержаться на Доске почета до конца учебы.

4 апреля я записал в дневнике: *«Беспрецедентный в истории наших органов случай, который кладет темное пятно не только на госбезопасность, но и на правительство, на всю страну. Еврейская шапка в Кремле*

реабилитирована. По радио передали сообщение о том, что МГБ, применяя на следствии недопустимые методы, вынудило невинных людей сознаться в отравлениях, убийствах, шпионаже и подрывной деятельности. Вовси, Коган, Майоров и другие освобождены из-под стражи.

Приходится серьезно задумываться над происходящим в стране. Несомненно, грядет хаос. Никто не знает теперь, чему и кому верить. Вчера «Правда» и правительство обвиняли органы в ротозействе и благодушии; сегодня они разносят органы за экстремизм и «непозволительные методы». Такие заявления дискредитируют и морально подавляют работников МГБ. Вместе с тем они дают повод и основательную почву для враждебной пропаганды с Запада. Публичное признание того, что органы применяют насилие в ходе следствия, подтверждает сообщение «Голоса Америки» о том, что при нашей системе можно заставить человека признаться в чем угодно. Такие ошибки дорого будут стоить государству и МГБ. Больше всего, конечно, пострадает наш престиж. Растерянность царит не только у работников органов, но и у всего народа. Кампания бдительности оказалась фарсом. МГБ потерпело громадный урон. Даже я, казалось бы, так преданный органам, начинаю поддаваться общим настроениям. Уважение к нашим руководителям явно идет на убыль. Все-таки заметно, что Сталин умер. Может быть, все происходящее сейчас и не является изменением политического курса, но повод для размышлений дает. Мне уже даже не нравится, что я служу в такой неавторитетной организации. Конечно, учебу надо продолжать здесь, но потом, возможно, лучше работать в КПСС или МИД».

Быстрое развитие событий, связанных с «делом врачей», побуждает меня сделать еще одну запись в тетради несколько дней спустя: *«Арестованы руководящие деятели госбезопасности. Замминистра, начальник следственного отдела Рюмин, стал символом авантюризма и карьеризма. По его адресу сыпятся эпитеты, которыми ранее награждали врагов. Обвиняют Рюмина не только в клевете, обмане правительства, но и в разжигании национальной розни. Получается, что кампания антисемитизма зародилась в органах, а затем была распространена повсеместно. До сих пор не могу прийти в себя из-за этих разоблачений. Адский позор. Интересно, что изменился мой тон в общении с начальством: вместо уважительного почитания — развязность и даже грубость. Вероятно, от того, что поколебался авторитет руководителей. Впервые в жизни в мое сознание внесен разлад, разрушено некогда существовавшее единство личного и общего. Это ведет к упадническому настроению, повышенной чувствительности и раздражительности».*

По-видимому, критическая волна, неожиданно захватившая меня и моих сверстников, обнажила закрытые ранее темы и невыговоренные мысли. Володя Коровин вдруг решил поделиться воспоминаниями о службе на Дальнем Востоке. Он и раньше рассказывал о дивной красоте Камчатки, о нравах северных народов. А тут его как будто прорвало: «Все, что пишут сегодня в газетах, — трепотня, — запелляционно заявил Коровин. — На Камчатке до сих пор царит жуткая нищета. Туземцы живут в развалинах, которые трудно назвать жилищами. Входишь в «дом» — стоит стол, табуретка и печь. В крыше дыра. Мать сидит с ребенком, другой ребенок лежит в люльке. Холодный дождь льет

через щели прямо в люльку ребенка. Мать безучастно смотрит на происходящее, но что она может сделать? Стройматериалов нет, пища — рыба и хлеб, вокруг ужасная грязь. В руководящих кругах взяточничество, казнокрадство, моральное разложение. Директор судоремонтного завода в Петропавловске — диктатор, его прихотям подчиняется весь округ. Он может не выдавать рабочим зарплату по три месяца, выгонять без предупреждения неугодных ему, вести себя как рабовладелец по отношению к своим служащим».

Я слушал Коровина с замороженным вниманием, и в голову лезли «неразрешенные» мысли: Сталин умер, но ведь при нем люди жили как скоты, не сегодня появилось то, о чем поведал бывалый тихоокеанский матрос. Возникали какие-то несвязные параллели, очевидно навеянные чтением отрывков из «Mein Kampf». Почему Гитлер называл Францию негроизированной нацией, государством мулатов? Как случилось, что немцы восприняли книжку Гитлера всерьез, сделали ее идеологическим путеводителем? Фюрер здорово надул немцев. Вообще, надо уметь одурачить всю нацию.

Пока юноши, решившие делать жизнь с Дзержинского, жарко обсуждали зигзаги во внутренней политике страны, чекистское ведомство возглавил Лаврентий Берия. Его назначение было воспринято безропотно, как само собой разумеющееся. Где-то в верхах шла борьба за власть, но до нас доходили лишь ее отголоски из отрывочных сообщений западного радио. Предстоящие экзамены вскоре оттеснили эту проблему на задний план. Первый курс я закончил успешно, но завалил зачет по политэкономии. Впервые я испытал чувство стыда за пустяковый, казалось бы, инцидент. Преподаватель политэкономии, отличавшийся эрудицией

и неортодоксальным подходом к изучаемому предмету, долго допытывался о причинах моего провала. Пришли к обоюдному согласию, что багажа знаний, приобретенного в школе, уже недостаточно для того, чтобы преодолеть с налету премудрости академической дисциплины. Помнится, этот преподаватель в лекции об экономических проблемах социализма высказал крамольную для 1953 года мысль о том, что представление о социализме никак не вяжется с нищетой и социальной несправедливостью, царящей в нашей стране. Можно говорить лишь о том, что в СССР заложен фундамент будущего социалистического переустройства, утверждал он. Не знаю, как сложилась потом судьба этого человека, но его высказывания не прошли бесследно.

Лето нагрянуло для нас неожиданно. Оно уже давно буйствовало изумрудом зелени за оградой нашей обители, но мы его ощутили, лишь когда выехали в Лемболово — маленький поселок на Карельском перешейке, где дислоцировалась дивизия МВД. Там нам предстояло пройти воинскую выучку, получить навыки владения оружием, закалиться физически. Мы жили в палатках в сосновом лесу, вставали в шесть утра, занимались на спортивных снарядах, преодолевали всевозможные препятствия, ползая по-пластунски под колючей проволокой и перепрыгивая искусственные рвы. По вечерам округа оглашалась громкими солдатскими песнями, исполнявшимися на чекистский манер. В июне запеваля вдруг затянул на известный мотив неизвестные доселе слова: «Ведет нас партия, ведет нас Берия...» Мы лихо маршировали под бравурную музыку, чувствуя, что назревает новый поворот в нашей жизни.

И он действительно состоялся, этот поворот, но оценить его в полную меру тогда мы не смогли. Да и кто мог вообразить, что верный соратник Сталина, Лаврентий Павлович, долгие годы, как утверждала официальная пропаганда, состоял на службе у империалистических разведок и вся его деятельность была направлена против завоеваний Октября? Кто мог предположить, что с уходом Берия с политической арены в обществе начнется долгий, мучительный процесс переоценки опыта строительства социализма, да и сама концепция социализма будет поставлена под сомнение?

Арест Берия вызвал смятение в рядах будущих чекистов, но панические настроения быстро улеглись, когда стало очевидным, что Институту и его слушателям это ничем не грозит. Правда, внезапно исчезли два грузина, как утверждали, сыновья родственников Берия, выделявшиеся на курсе своим высокомерно-пренебрежительным отношением к окружающим. Но об этом никто не сожалел.

В августе, на каникулах, я впервые отправился на Черное море со своим школьным приятелем Игорем Рольником. Он, как и многие десятиклассники того времени, пошел учиться в военное учебное заведение — Академию связи. Отец его был знаменитый в Ленинграде профессор-венеролог, а нас свела вместе не столько школьная скамья, сколько любовь к Фейхтвангеру и музыке.

Путешествовали мы «дикарями». Добрались до Анапы, где лакомились виноградом с плантацией Абрау-Дюрсо. Потом вздумали забраться в гору. До сих пор я испытываю щемящее чувство, когда вспоминаю, как, взобравшись по вертикальной каменной стене на

высоту пятидесяти метров, я обнаружил, что дальнейшее движение вверх невозможно, а назад путь отрезан, так как известняковые опоры, по которым я карабкался, обвалились. Игорь стоял на коленях на твердой поверхности надо мной и пытался сунуть мне палку, но дотянуться до нее я не мог. Пальцы мои онемели, еще немного, и мне грозила верная смерть. Я на секунду закрыл глаза, пытаюсь сбросить охватившее меня оцепенение, потом сделал последний отчаянный рывок и поймал рукой конец палки. Уже в безопасности, на пологом склоне, я ощутил невероятную усталость, как будто поднял на гору гигантский груз.

Мы продолжили путешествие, останавливая попутные грузовые машины, которые с бешеной скоростью уносили нас в неизведанные места. В Туапсе ночевали на скамейке в парке, потом шуршание гадов в кустах заставило нас перебраться на открытую платформу товарного состава, стоявшего в тупике. Рано утром нас разбудил мощный удар булыжника о борт вагона: проходившие мимо железнодорожные рабочие, приняв нас за бродяг, демонстрировали свое отношение к нетрудовому люду.

До Сочи мы добирались поездом Ростов — Тбилиси. На одном полустанке у кромки моря, искупались. Вернувшись в вагон, я обнаружил, что мои сандалии украдены. Ничего другого у меня с собой не было, а в Сочи мы прибыли в понедельник, когда все магазины были закрыты. Страшно хотелось есть и пришлось рискнуть: я спустил брюки до самых пят, прикрыв босоту ног, и смело вошел с Игорем в курортный ресторан. Мы превосходно поужинали, и только на выходе я поднял

брюки до привычного уровня, приведя в ужас администратора.

Осень ознаменовалась знакомством с долгожданными чекистскими науками. Начинали, как положено, с истории ВЧК — МГБ — славного прошлого, еще не замаранного разоблачениями и хулой последующих лет. «Буржуазия, помещики и все богатые классы напрягают отчаянные усилия для подрыва революции, которая должна обеспечить интересы рабочих, трудящихся и эксплуатируемых масс. Буржуазия идет на злейшие преступления, подкупая отбросы общества и опустившиеся элементы... Необходимы экстренные меры борьбы с контрреволюционерами и саботажниками». Так писал Ленин в 1917-м, вскоре после Октябрьского переворота. Ему вторил его мудрый ученик Сталин: «ЧК есть карательный орган Советской власти... Он карает главным образом шпионов, заговорщиков, террористов, бандитов, спекулянтов, фальшивомонетчиков. Он представляет нечто вроде военно-политического трибунала, созданного для ограждения интересов революции от покушения со стороны контрреволюционных буржуа и их агентов».

Мы заглатывали постулаты вождей как непогрешимые истины. Лекторы, вещавшие с кафедры, носили военную форму и не скрывали своей принадлежности к Ленинградскому управлению МГБ. Наверняка они представляли тот отряд чекистов, который в конце 30-х годов отправил на расстрел и в концлагеря миллионы невинных людей, но теперь они теоретизировали перед неискушенными юнцами, вливая отраву в их души, восхваляя внесудебные расправы и массовые репрессии как проявление партийной

непримиримости и революционной бдительности. Но тогда мы верили каждому их слову.

Экскурс в историю плавно перешел в изучение основ агентурно-оперативной деятельности. Немолодой майор Лаптев стал нашим постоянным наставником. Он читал лекции, вел семинарские занятия, разрабатывал оперативные задачи, рассчитанные на выявление смекалки слушателей, привитие им практических навыков. От него мы впервые узнали, что агент — советский или иностранный гражданин, согласившийся добровольно или под давлением оказывать негласную помощь МГБ, — является главной фигурой в работе органов госбезопасности. Приобретение агентов, их воспитание и целеустремленное использование составляет содержание деятельности офицеров МГБ. Все остальные средства — слежка, подслушивание, негласные обыски и задержания, перлюстрация корреспонденции, секретное фотографирование и т. п. носят вспомогательный характер.

Готовясь к семинарским занятиям, я взял рекомендованную майором инструкцию по организации и ведению агентурного наблюдения и прочитал в ней:

«На обязанности лица, ведающего политическим сыском, лежит прежде всего приобретение и сбережение внутренней секретной агентуры — единственного вполне надежного средства, обеспечивающего осведомленность. Наружное наблюдение является лишь вспомогательным и притом весьма дорогим средством для разработки агентурных сведений и прикрытия конспиративности агентурного источника.

Лица, заведующие агентурой, должны руководить ими, а не следовать слепо указанию последних. Нельзя

никогда открывать своих карт перед секретными сотрудниками, надо давать им только ту часть поручений, которые они в состоянии выполнить.

Необходимо твердо помнить, что сотрудничество отделяется от провокаторства весьма тонкой чертой, которую очень легко перейти. В умении не переходить эту черту и состоит искусство ведения успешного политического сыска. Достигается это только безусловно честным отношением к делу и пониманием целей сыска, а не погоней за открытием и арестом отдельных типографий, складов оружия и т. п. Лучшим показателем успешной и плодотворной работы является такое положение, при котором на вверенном сотруднику участке совсем не будет ни типографии, ни бомб, ни складов оружия, ни агитации, ни пропаганды».

Я перевернул последнюю страницу инструкции и обнаружил, что она была введена в действие еще в конце прошлого столетия, когда в Департаменте полиции видную роль играл начальник так называемой «заграничной агентуры», он же шеф русской политической разведки П. Рачковский.

Удивительно, как близки оказались формулировки и основные положения инструкции тому, что преподавал нам майор Лаптев.

Я вновь углубился в изучение текста: «Секретные помощники приобретаются различными способами — недостаточная идейная убежденность, слабохарактерность, обида на руководителей, склонность к легкой наживе. Среди арестованных надо обращать внимание на лиц, дающих чистосердечные показания, причем необходимо принять меры, чтобы показания эти не оглашались.

Вновь завербованного помощника всегда следует незаметно для него основательно проверить с помощью наблюдения и через другую агентуру. Фамилию агента знает только сотрудник, ведающий сыском, остальные чины учреждения, имеющие дело со сведениями агента, могут в необходимых случаях знать только его псевдоним или номер. Чины наружного наблюдения и канцелярии не должны знать агента и по псевдониму. Сведения, передаваемые агентурой, должны храниться с соблюдением особой осторожности и в строгой тайне. Они обязательно проверяются.

Сотрудник, ведающий агентами, в общении с ними должен исключать всякую официальность и сухость, имея в виду, что роль агента нравственно очень тяжела и что свидания с сотрудником часто бывают в жизни агента единственными моментами, когда он может отвести душу и не чувствовать угрызения совести. Только при соблюдении этого условия можно рассчитывать иметь преданных людей.

Вознаграждение агента находится в прямой зависимости от ценности передаваемых им сведений и занимаемого положения в обществе. При скудном заработке агента надлежит обращать самое серьезное внимание на то, чтобы он не давал повода заметить другим, что живет выше своих средств.

Свидания с агентом должны происходить на особых (конспиративных) квартирах. Можно встречаться также в номере гостиницы или же в ресторане. Конспиративная квартира не должна находиться в местах, где удобно установить за ней наблюдение. Таких квартир нужно иметь по возможности больше, и свидания на них с агентами проводить в разные дни и часы. Самые

ничтожные сведения или подозрения о «провале» консквартиры должны служить основанием для ее немедленной замены.

На каждого секретного помощника заводится особая тетрадь, куда заносятся все передаваемые им сведения. В алфавитном порядке заносятся также все имена, упомянутые помощником, с ссылкой на страницу тетради, где имеются о них сведения».

Итак, сорок параграфов инструкции определяли суть агентурной работы царской охранки. Я снова сопоставлял их с лекциями майора Лаптева. Чем отличаются они от приемов и методов работы чекистов? Что изменилось за прошедшие полвека?

Я ощутил эту разницу еще тогда, но интерпретировал ее по-своему. Охранка вербовала агентуру в революционном движении, она проникала во враждебную среду с целью ее разложения и обеспечения безопасности режима. В социалистическом государстве нет устойчивой, и тем более организованной, политической оппозиции, поэтому агентура приобретает, как правило, среди единомышленников для выявления затесавшихся в дружественную среду антисоветских элементов. Работа эта более сложная, ибо враг умеет маскироваться. Для того, чтобы найти скрытого противника, агент должен жить как бы в двух измерениях. В глубине души он — надежный коммунист, но внешне изображает из себя такого неустойчивого, ищущего субъекта, на которого может клюнуть затаившийся враг.

Майор Лаптев одобрительно кивал головой, когда я высказывал эти мысли на семинаре. Он же добавлял, что арсенал средств для вербовки агентуры в последние

годы существенно возрос. Скажем, использование компрометирующих человека материалов для принуждения его к сотрудничеству. В дореволюционные времена возможности для этого были ограничены. Не существовало радиоэлектронных устройств для подслушивания чужих разговоров по телефону, дома или в служебном помещении; миниатюрных камер для фотографирования интимных сторон жизни; современных способов фальсификации документов. И хотя письма, как и в начале века, вскрываются с помощью пара, их копирование во много раз ускорилось. Короче, заключал Лаптев, документирование деятельности интересующего МГБ объекта является обязательной составной частью работы чекиста.

Надо отдать должное майору Лаптеву: в основе всех его рассуждений лежало как незыблемое правило уважительное отношение к личности привлекаемого к сотрудничеству человека. В этом была своя извращенная логика. Пренебрежение к личности, ставшее нормой для первого в мире социалистического государства, уступало место целесообразности, предусматривавшей трогательную заботу о человеке, когда речь заходила о его участии в защите этого государства и его интересов.

Премудрости новых для меня наук раскрывали глаза на окружающую действительность. Раньше люди воспринимались обыденно, как они есть: добрые или злые, привлекательные или отталкивающие. Теперь я знал, что за личиной балагура и добряка может скрываться игра — не простая житейская хитрость, но роль, разыгрываемая по воле и указанию органов госбезопасности; что вопрос, задаваемый с невинным

видом, может таить в себе подвох или попытку выудить нужную МГБ информацию.

Не могу сказать, что я огорчился из-за своих открытий. Жизнь продолжалась, и ничто не омрачало ее ровного, неторопливого ритма. Такой она виделась нам в 1954 году из-за забора оторванного от внешнего мира специализированного учебного заведения. Мы не знали, что общество, еще не оттаявшее от жестоких морозов прошлых десятилетий, уже накапливало потенциал для будущих перемен.

В то время мое внимание сосредоточилось на белокурой Людмиле. В зимние каникулы я предпринял смелую вылазку, предложив ей, студентке первого курса физико-математического факультета Педагогического института имени Герцена, выехать в маленький живописный городок Териоки на Карельском перешейке. Там я снял комнату в частном доме, и Людмила несколько дней провела со мной, катаясь на лыжах и финских санях. Мы по-прежнему ограничивались объятиями и поцелуями.

События приняли ускоренный оборот в мае, когда первая зелень покрыла Марсово поле и на нем буйно зацвела сирень. Здесь, у Летнего сада, Михайловского замка, вдоль набережной Невы мы часами гуляли в выходные дни. Близилась кульминация в наших отношениях — это было очевидно. Однажды мои родители уехали за город к блокадной родственнице, но, как назло, мне дали увольнительную только на субботний вечер. Нагулявшись вволю, мы по длинному темному коридору прокрались в мою комнату. Время было позднее. Страсти разгулялись не на шутку... Моя любовь долго всхлипывала, не отпускала от себя, но я должен

был уходить. Увольнительная истекала в полночь. Я запер Людмилу в комнате, пообещав вернуться к утру. Юра Гулин в то воскресенье тоже сидел без права выхода в город за какую-то провинность. Он сразу оценил сложность обстановки и положение, в котором я очутился. Решили поспать немного, а рано утром через окно пустой аудитории бежать на волю. Подделка пропуска на выход была исключена — слишком большим казался риск разоблачения и его последствия.

Где-то около пяти, когда белая ночь была на исходе, но первые лучи солнца еще не успели пронизать предутреннюю дымку, мы нашли открытую классную комнату на четвертом этаже, выходившую окнами на военно-топографическое училище. Юра обвязал меня вокруг пояса веревкой, другой конец ее прикрепил к ножке стола. В спортивной одежде я вылез на подоконник и медленно начал спуск по стене дома, в то время как Юра ослаблял постепенно веревку, соизмеряя свои действия с моим движением вниз. Где-то между первым и вторым этажом я застрял. Веревка натянулась под тяжестью тела, и Юра не мог развязать узел. Я висел между небом и землей, не зная, что делать. В кармане у меня лежал на всякий случай нож, но я забыл о его существовании, когда увидел вышедшего из помещения соседнего училища дежурного офицера. Он стоял в дверях проходной и внимательно наблюдал за происходящим. «Занимаемся альпинизмом — это входит в программу», — криво улыбаясь, бросил я, болтая в воздухе ногами и лихорадочно пытаюсь развязать узел у себя на поясе. Офицер задумчиво смотрел на меня, не произнося ни слова. Наконец я вспомнил о ноже, сделал небольшой надрез и через секунду плюхнулся на тротуар. Обошлось без травм. Для видимости я спокойно

направился в сторону проходной Института, чтобы не усиливать подозрения у дежурного. Как только он скрылся из виду, я бросился бежать к ближайшей остановке трамвая. Через час Людмила крепко держала меня в объятиях. Я выполнил данное ей обещание.

Возвращение состоялось утром в понедельник, когда поток слушателей хлынул с улицы в проходную. Поскольку на мне была спортивная форма, я решил пристроиться к тем, кто шел с физзарядки. В проходной дежурный мельком взглянул на мой старый, недействительный пропуск, и я уже успокоенно шагал по коридору, как сзади меня окликнули и попросили вернуться. Входя в комнату дежурного офицера, я боковым взглядом заметил поодаль ухмыляющуюся рожу Коли Чаплыгина. Допрос был недолгим. Я сразу признался, что вышел без разрешения на улицу, чтобы подышать свежим воздухом, воспользовавшись старой увольнительной. Мне предложили написать объяснительную, что я и сделал, придерживаясь той же версии.

Через сутки меня вызвал начальник Института полковник Попович. «Вы совершили грубое нарушение воинской дисциплины, — сурово сказал он. — За это мы могли бы вас отчислить, но, учитывая, что вы отличник, относитесь к делу вдумчиво и серьезно, о вашем поступке доложено начальнику Ленинградского управления госбезопасности Н.Миронову на его усмотрение. Он намерен пригласить на беседу вашего отца и высказать ему свою оценку вашего поведения. Если вы дадите слово, что таких фокусов больше не будет, мы предоставим вам возможность продолжить

учебу и позорный эпизод в вашей биографии отражения не найдет».

Я тоскливо смотрел на блестящую лысину Поповича и думал о том, что самое неприятное в этой истории — беседа с отцом. Я не верил, что меня могут выгнать за единственное нарушение распорядка дня, тем более что Попович так и не докопался до существа дела. Но что я скажу отцу?

Обещание быть примерным в учебе и дисциплине я все же дал. И я его сдержал.

Сокурсники сочувственно отнеслись к моим злоключениям. Злорадствовал только Чаплыгин. Он и не скрывал, что «заложил» меня начальству, обнаружив мое отсутствие в казарме в ночь с воскресенья на понедельник. Из Коли получился бы верный чекист, не отдай он Богу душу вскоре после окончания Института.

Отец тяжело воспринял беседу с Мироновым. Полуграмотный, в пятьдесят лет вынужденный сдавать зачеты по марксизму-ленинизму в вечерней школе, он страстно хотел, чтобы его дитя «вышло в люди». Вместе с тем он с пониманием воспринял случившееся, просил лишь не спешить обзаводиться семьей.

Но удержать меня было невозможно. Летом я уехал с Людмилой в Киев, где нашел пристанище в доме своего сокурсника. Мои родители знали об этой поездке, она своим говорила, что поедет с подругой на Кавказ. 25 сентября я сочетался с Людмилой браком.

Свадьбу справляли в нашей громадной комнате. Из сорока пяти присутствовавших почти половина были мои институтские и школьные друзья. Впервые в жизни я

напился, честно осушая предлагавшиеся тосты и не осознавая еще, чем это может кончиться.

В том году нам присвоили первое офицерское звание, и казарменная жизнь для тех, кто мог жить в городе, закончилась. Ощутимо прибавилась к стипендии оплата за звездочку младшего лейтенанта. Теперь я был в состоянии содержать жену и не пользоваться родительской помощью.

В мае следующего года родилась дочь Светлана. У нее были большие красивые глаза, и весила она пять килограммов. Жить мы устроились в той же комнате моих родителей, отгороженные от их кровати платяным шкафом. У родителей жены в крохотной трехкомнатной квартире оставалось еще четверо, так что выбора у нас не было. Летом мы переехали на дачу в Кавголово, и я, как примерный отец, ежедневно ездил на электричке в город за молоком, стирал в озере пеленки, приспособливая их заодно для ловли мелкой рыбешки.

В 1955 году слушателей Института направили на практику. Вся германская группа уехала в ГДР. Остальные — кто куда. Я попал в Ленинградское управление. Около двух недель сидел я в транспортном отделе, изучая дела на Балтийское морское пароходство, вникая в безобразия, царившие в ведомственной больнице, где врачи зашили инструменты в живот оперированного. Вредительством не пахло, хотя послеоперационная смертность в больнице была высока.

Потом меня командировали в Интернациональный клуб моряков, где я впервые столкнулся с иностранцами и живыми агентами КГБ. Мой наставник по практике капитан А.Борисенко кивнул в сторону хорошенькой блондинки, сновавшей в зале: «Эта — наша». Пошли в

буфет, взяли по коктейлю. Буфетчик подобострастно раскланялся. «Этот тоже наш». Наконец, освоившись с обстановкой, я подвалил к импозантно выглядевшему джентльмену и вступил с ним в разговор на английском. Беседа завязалась быстро. Я сказал, что прохожу стажировку по линии Интуриста, мой собеседник сообщил, что он капитан судна. Слово за слово, и я почувствовал, что передо мной человек, явно симпатизирующий Советскому Союзу. Меня бросило в жар. Какая удача! Да, он явная мишень для дальнейшей обработки. Надо срочно навести на него сотрудников морского отдела. Я предложил капитану еще раз встретиться в клубе через день. Он согласился и протянул свою визитную карточку. О боже!

Оказалось, что капитан приписан к порту Гдыня и его симпатии к социализму, по-видимому, определялись членством в Польской объединенной рабочей партии. В КГБ уже имелось указание ЦК КПСС, запрещавшее вербовку членов иностранных коммунистических партий. Мои усилия пропали даром, но научили одному: впредь, чтобы не тратить время попусту, узнавать сначала, с кем имеешь дело.

Моряки-чекисты приобщили меня и к вербовочной работе. Перед личным знакомством с одним кандидатом на вербовку — инженером морского порта — я изучил подборку документов, в которой были собраны первичные материалы проверки кандидата, его анкета, отзывы сослуживцев, официальные характеристики. Из них было видно, что кандидат обладает необходимыми для агента качествами: предан партии и социалистическому отечеству, активно участвует в общественной жизни, целеустремлен, принципиален,

имеет рационализаторские предложения, морально устойчив, член баскетбольной команды.

Однажды вечером, когда объект нашей заинтересованности дежурил во вторую смену, мы подъехали в порт и по договоренности с кадровиком пригласили его в диспетчерскую, где провели душевную беседу. В сущности, беседу вел мой наставник, а я сидел сбоку и внимал происходящему. В течение получаса от имени КГБ кандидата опрашивали об обстановке в порту, о настроениях рабочих и служащих, о неполадках в работе, о фактах злоупотреблений со стороны руководства, о других проблемах, которыми могли воспользоваться недруги советской власти, иностранные моряки или уголовные элементы для нанесения ущерба нашей стране. Беседу мой старший коллега закончил предложением выполнить патриотический долг и негласно информировать КГБ по всем затронутым в ходе разговора вопросам. Кандидат без колебаний дал согласие, но просил учесть сменность его работы и то, что его жена очень ревниво относится к задержкам. Пожелание было воспринято с пониманием. Назначили наиболее удобные часы и места встречи с таким расчетом, чтобы избежать случайного столкновения с сослуживцами. Первое задание новоиспеченному агенту, типовое для большинства случаев, — представить список личных связей с краткими характеристиками на них.

В другой раз, с другим оперативным работником я поехал на встречу с агентом-женщиной, сотрудничавшей с органами много лет. На явочной квартире, принадлежавшей, в отличие от конспиративной, частному лицу и сдававшейся в аренду КГБ за двадцать рублей в месяц, хозяйка, бывшая служащая отдела

наружного наблюдения, накрыла стол на троих, а сама незаметно удалилась. По нынешним временам закуска было отменной. Пол-литра водки и бутылка вина завершали парад тарелок, на которых лоснились семга, красная икра, копчености всякого рода. После первой рюмки немолодая, но еще привлекательная агентесса, заведовавшая канцелярией управления порта, подробно рассказала о продолжающихся распрях в руководстве, дала нелестные характеристики новым членам парткома, долго описывала взаимоотношения одного из ее знакомых из торговли с портовым начальством. Из направленных вопросов моего наставника я понял, что идет сбор материала для обкома партии с целью устранения одного из высокопоставленных чиновников морской администрации от должности.

Потом я неделю провел в следственном отделе, принимал участие в допросах, очных ставках, опознании. К тому времени мы завершили в Институте программу изучения юридических дисциплин, и мое знакомство с практикой следственного аппарата было небесполезным. Никаких отклонений от процессуальных норм в работе следователей я, разумеется, не фиксировал. До XX съезда и разоблачения преступлений Сталина оставалось несколько месяцев, но в органах госбезопасности уже полным ходом шла перестройка. Сокращались штаты, упразднялись лишние звенья, менялось отношение оперсостава к людям, в том числе подследственным. Урок расправы с Берия, Рюминым и другими не прошел даром.

Для нас, молодых людей, самые памятные впечатления в ту пору оставило знакомство с архивами Ленинградского НКВД. В следственном отделе я получил несколько десятков дел на осужденных за враждебную

антисоветскую деятельность в тридцатых годах. Задача заключалась в том, чтобы, ознакомившись с делами, сделать вывод о наличии ошибок в ходе ведения следствия и законности приговоров. С чувством страха я взял в руки пожелтевшие от времени тоненькие обложки. Справлюсь ли я со столь ответственным заданием? Ведь составленные мною заключения будут служить официальным основанием для пересмотра дел и, возможно, реабилитации осужденных лиц.

Напрасны были мои опасения. Под обложками находилось всего лишь три-четыре документа: обвинение, подписанное «тройкой» — секретарем обкома, начальником НКВД и прокурором; протокол допроса, в котором обвиняемый признавался в совершении инкриминируемого ему преступления, и приговор, как правило расстрел. Ни свидетельских показаний, ни очных ставок, ни перекрестных допросов, ни улики или других вещественных доказательств. Это была юридическая абракадабра, издевательство над законом, здравым смыслом, совестью. Это был произвол высшей марки, прикрытый фиговым листком под названием «дело».

Два таких «дела» память сохранила на всю жизнь.

В те годы местные органы НКВД соревновались друг с другом в достижении отличных показателей по ликвидации классового врага. Из столицы «спускали» планы отстрела, провинция засылала наверх встречные планы. Ленинградское управление, крупнейшее в стране, со специально выстроенным помещением для исполнения смертных приговоров, использовалось другими областными НКВД как приемник, куда направлялись смертники.

В одном из «дел» я обнаружил приговор о расстреле и никаких других документов. Однако, перевернув страницу, увидел на обороте исполненную рукой, мелким почерком, запись: «Личность приговоренного к расстрелу установлена неточно. После задержания на улице и доставки во внутреннюю тюрьму, где он был подвергнут физической обработке, выяснилось, что задержанный гражданин арестован по ошибке. По указанию руководства включен в общий плановый список проходивших по высшей мере».

Другое «дело» было связано с вредительством. До войны советские внешнеторговые организации закупили в Германии крупную партию породистых свиней. Часть их предназначалась для Ленинградской области. Когда несколько сотен иностранных хрюшек прибыло в один из колхозов, местные власти не позаботились об их своевременной разгрузке и кормежке. В результате имел место массовый падеж свиней. По «делу» прошло около десятка руководителей районного и колхозного масштабов. Их действия были квалифицированы как вредительство, и всех приговорили к расстрелу.

За практику я получил благожелательную аттестацию от Ленинградского УКГБ. Теперь нужно было готовиться к финалу. Шел последний год учебы.

Позади остались курсы бальных танцев, которые мы разучивали под аккордеон, и спецдисциплины, включавшие, наряду с основами агентурно-оперативной деятельности, лекции и семинары о враждебной деятельности западных спецслужб и состоящих у них на содержании подрывных антисоветских, националистических и клерикальных центров. Мы обрели некоторые познания о структуре и методах работы

американской, английской, западногерманской, французской, турецкой, иранской и японской разведок и контрразведок, немало времени уделив при этом органам безопасности нацистской Германии; изучили организацию и наиболее характерные повадки русской эмиграции, окопавшихся на Западе украинских и прибалтийских националистов, дашнаков и других зарубежных национальных формирований. Несколько часов мы посвятили деятельности православной церкви и ее многочисленным сектам, а также исламу, иудаизму, католицизму и протестантству.

Весь последний курс ушел на шлифовку английского и подготовку к государственным экзаменам. Языковая кафедра в Институте была весьма сильной, и язык в разных формах занимал до восьмидесяти процентов учебного времени. Магнитофонные записи тогда даже слушателям Института КГБ не были доступны. Поэтому пользовались грампластинками, привезенными из Англии и Германии, ежедневно читали вырезки из лондонского «Таймс» и «Манчестер гардиан», «Теглише рундшау». В хоре под руководством лучшего специалиста по переводу Нины Славиной мы разучивали популярные английские и американские песни. До сих пор помню строчки из «Долгой дороги до Типперери», «Всегда», «Мальчик, что ты плачешь» и «Иди ко мне, моя грустная крошка».

Мои музыкальные увлечения не ограничивались эстрадными шлягерами. К тому времени я приобрел электрофон, десятки дисков с записями классической музыки, а однажды осмелился выступить с лекцией о современных английских композиторах, которую сопровождал проигрыванием фрагментов из некоторых произведений.

Свое сообщение, сделанное на английском, я начал с краткого экскурса в историю, удивив слушателей заявлением, что в XV–XVIII веках Великобритания занимала ведущее место в Европе по популярности своей музыки, и такие композиторы, как Данстейбл, Берд и особенно Перселл, оставили яркий след в развитии музыкальной культуры на континенте.

Основная часть рассказа была посвящена Эльгару, Уильямсу, Холсту, Делиусу, Блиссу, Уолтону и Бриттону. Для иллюстрации я использовал только две вещи, имевшиеся в моей маленькой коллекции: «Кокейн» Эльгара и «Осы» Уильямса. На удивление, моя аудитория оказалась отзывчивой и внимательной, несмотря на относительно непростую музыку и тот факт, что она никогда ранее не слышала ее, как, впрочем, не слышала и имен упомянутых композиторов.

Памятуя об обещании, данном Поповичу, я проявлял рвение во всем, что касалось учебных занятий и общественной работы. К сожалению, сменился начальник курса — Созинова избрали секретарем парткома Института, а его место занял армейский капитан, подтянутый, пунктуальный солдафон Артамонов, попортивший немало крови многим ребятам. Я с трудом сдерживался, чтобы не дать отпор его бесцеремонной, неуважительной манере обращения с людьми, постоянному стремлению осадить и унижить людей. Юра Гулин и некоторые «кадеты» не желали, однако, мириться с «артамоновщиной». В ответ последовали жесткие дисциплинарные меры: выговоры сыпались один за другим, в характеристики записывали все, что могло повлиять на распределение и дальнейшую судьбу выпускников. Меня, к счастью, Артамонов не трогал.

Весной 56-го года я завоевал первое место на институтском конкурсе переводов и получил в качестве награды сочинения Ч. Диккенса 1874 года издания и Дж. Голсуорси.

В ту весну, после XX съезда партии, я подал заявление о приеме в члены КПСС. Затаив дыхание, я, как и тысячи моих соотечественников, слушал изложение доклада Хрущева о беззакониях сталинской эпохи. В Институт доклад поступил почти сразу после его произнесения на съезде, и его оживленно обсуждали как студенты, так и преподаватели. Почти никто не высказывал огорчения по поводу случившегося. Несколько лет, проведенных в стенах учебного заведения госбезопасности, вкупе с небольшим практическим опытом, почерпнутым во время стажировки в аппаратах внутренних органов КГБ, разрушили многие иллюзии. Но они не разрушили главного — веры в возможность самообновления системы, ее совершенствования. Да, допущены чудовищные преступления и перекосы, но это произошло потому, что во главе отсталой страны оказались авантюристы вроде Берия и маньяк Сталин. Будь жив Ленин, ничего подобного бы не случилось. Очищение партии от проходимцев и прилипал должно быть поставлено во главу угла всей внутривнутрипартийной работы. Как верный солдат партии, я буду неустанно бороться за воплощение в жизнь ее светлых идеалов.

Институт я закончил с отличием и сразу же поступил в распоряжение Управления кадров КГБ СССР. Из нашего выпуска в Москву взяли не более десяти человек. Половина из них пошла на работу во Второе главное управление — внутреннюю контрразведку, другая половина, я в том числе, — учиться в Высшую разведывательную школу № 101 КГБ СССР. Мой друг

Юра Гулин за строптивость получил назначение в порт Игарку на Крайнем Севере, остальные — кто куда: в Киев, Ростов, Ленинград, Архангельск, Мурманск, Хабаровск, Клайпеду, Львов. «Немцы» почти в полном составе уехали в ГДР.

Дома мой перевод в столицу встретили со смешанными чувствами. Отец радовался; Людмила, остававшаяся в Ленинграде с дочерью, печалилась. Для отца моя предстоящая работа в разведке означала своеобразную моральную компенсацию за позорную пенсию в 78 рублей, которую ему назначили после четверти века службы в органах. Он клял «усатого цыгана» Сталина и «деревенского грамотея» Хрущева за свою нищенскую старость. По мнению отца, Сталин опозорил органы, а Хрущев решил отыгаться на них, прекратив выплату надбавки за офицерское звание. Это и привело к существенной разнице в пенсиях между теми, кто ушел в отставку до 1954 года, и после. С помощью бывших коллег отец вскоре устроился на работу в кемпинг для иностранных туристов, где за выполнение разовых поручений получал ежемесячно от КГБ по сто рублей.

Близился отъезд из родного города. Я как будто перерезал своими руками пуповину, физически и духовно скреплявшую все мое существо с красотой и гармонией, воплощенной в камне и воде. Я верил, что еще не раз вернусь к домашнему очагу у Таврического сада. Но жизнь распорядилась по-своему, и в Ленинград мне пришлось прибыть, хотя и нескоро, уже в ином качестве.

Знакомство со столицей, вопреки ожиданиям, оказалось весьма кратким. Как вчера, помню тот день,

когда я, едва успев привести себя в порядок после ночного поезда, прибыл к месту сбора.

Солнечное августовское утро. Большая группа молодых офицеров в штатском толпится во дворе Высшей школы КГБ в Кисельном переулке. Ровный гул голосов часто прерывается радостными восклицаниями, смехом. Вот и я увидел своих старых знакомых, с которыми расстался полтора месяца назад. Мы шумно приветствуем друг друга. В этой незнакомой обстановке лица бывших сокурсников кажутся почти родными.

Через полчаса вас сажают в автобусы, и вот уже мы мчимся по улицам столицы. Мелькают непривычные для глаза ленинградца высотные новостройки, башенные краны на развороченных площадках, дымящиеся трубы, фермы мостов. Вскоре городской пейзаж меняется — слева по ходу движения виднеется огромный лесопарк — это Измайлово, далее мы выходим на открытое шоссе и километров через двадцать, миновав Балашиху, сворачиваем в густой хвойный лес. Открываются глухие зеленые ворота, и мы оказываемся в благодатной тиши. Деревянные, аккуратно покрашенные двухэтажные дома, асфальтированные дорожки, ухоженные тропы, мерно качающиеся над головой верхушки елей и сосен, насыщенный запахом смолы прозрачный воздух — все это действует благотворно, вызывает чувство безмятежного покоя. В помещениях чисто и уютно, комнаты на двоих с маленькими ковриками и настенными светильниками. Аудитории просторны и солнечны. Прекрасная библиотека с подшивками иностранных газет на разных языках.

Мы быстро размещаемся в отведенных нам спальнях и идем на обед. В просторном зале с пальмами

официантки в белых передниках нам подают меню с богатым выбором блюд. Из положенной стипендии в 150 рублей можно приплачивать в месяц десять-пятнадцать рублей за улучшенный ассортимент. Основная часть средств на питание идет из государственной казны.

Отобедав, направляемся в большой, обшитый деревянными панелями зал, где начальник школы, уже немолодой генерал-майор Гриднев приветствует новое пополнение отряда чекистов-разведчиков. Он же представляет командира курса капитана первого ранга Визгина. Седовласый, с обветренным лицом морского волка, Визгин в общих чертах рассказывает о программе обучения двух лет, о режиме дня, учебы и отдыха. Затем он предлагает каждому из нас зайти в его кабинет для индивидуальной беседы.

Моя очередь на прием подходит быстро. Отныне я буду Олег Кедров. Никто не должен знать моей настоящей фамилии. Хотя я изучал в Институте в качестве второго немецкий язык и сдал его на отлично за четыре семестра, мне предлагается арабский с перспективой осилить шесть семестров за два года. Неожиданное переключение из англосаксонского мира в мусульманский меня смущает. Визгин, однако, заверяет, что английским я буду заниматься факультативно и он от меня никуда не уйдет.

На ужин мы идем, как будто нас подменили. Беседы с Визгиным, очевидно, не прошли бесследно. В глазах у многих появилась с трудом скрываемая тайна. Еще бы! Мы приобрели другую личину, из нас будут готовить разведчиков, по слухам, может быть, нелегалов. После трапезы курс разбивается на группы по три-четыре человека. Я нахожу своих «арабов». Двое из них —

выпускники Института внешней торговли, другой из МГИМО — все гражданские лица. Я для них живой чекист, и они внутренне соглашались с моим лидерством.

В начале сентября мы приступили к занятиям. Марксистские науки подавались под определенным углом — «критика современных буржуазных философских и социологических учений». Нам рассказывали о неогегельянстве, позитивизме, неокантианстве, экзистенциализме, персонализме и, конечно, прагматизме — реакционной буржуазной философии эпохи империализма. Нас пугали теориями социальной стратификации, мобильности и средних классов, неомальтузианством и социальным дарвинизмом. Когда дошли до фрейдизма, я воспроизвел на семинаре несколько тезисов Фрейда и Юнга, заимствованных из первого издания Советской Энциклопедии, а также понятие либидо, неведомое нашему лектору. Привыкшая мыслить и отвечать псевдонаучными категориями, оторванными от первоисточников, наша студенческая аудитория разволновалась. Оказывается, фрейдизм гораздо интереснее, чем просто «антинаучная» концепция, в основе которой лежит субъективный идеализм. Позже, когда я познакомился с работами Кьеркегора, Сартра и Камю, я понял, что экзистенциализм — это тоже не упадочническая философия идеалистического толка, а бьющее пульсом жизни духовное начало всякой человеческой мысли.

Больше всего мне нравилось работать в библиотеке. Если в Институте я нажимал на художественную литературу, то здесь, обнаружив нетронутые залежи книг по истории и международным отношениям, я с удовольствием читал и конспектировал многие незнакомые до этого вещи: трехтомную «Историю

дипломатии» под редакцией В. Потемкина, «Наполеона» и «Талейрана» Е. Тарле, «Вторую мировую войну» У.Черчилля, «Создателей современного мира» Л.Унтермайера. Последняя, содержащая почти сто биографий выдающихся деятелей общественно-политической и культурной жизни мира от Пруста и Сталина до Пикассо и Гершвина, произвела на меня большое впечатление необычно яркой и лаконичной формой подачи материала.

Учитывая, что шесть дней в неделю мы не выезжали за пределы территории школы, можно представить, какими возможностями располагал каждый для самообразования и совершенствования своих знаний.

Первоначально казавшаяся нереальной нагрузка, предусматривавшая овладение новым языком за два года, оказалась по плечу почти всем.

Языковая кафедра в школе была оснащена намного лучше, чем в Ленинграде. Имелся лингафонный кабинет, в каждой аудитории стоял коротковолновый радиоприемник, библиотека изобиловала свежей художественной и специальной литературой, минимум раз в неделю показывали недублированные фильмы. Помимо основных европейских, в школе преподавали хинди, урду, японский, турецкий и персидский языки. Английский я посещал раз в неделю, с удовольствием общаясь с преподавателем, много лет прожившим в Лондоне. Для того, чтобы сделать наши встречи интересными, он периодически преподносил лингвистические сюрпризы на кокни и шотландском диалекте.

Арабский язык, поначалу отпугивавший внешней сложностью, оказался на деле вполне доступным для усвоения.

Наш единственный и бессменный арабист Виктор Ушаков с энтузиазмом вел занятия, и вскоре мы начали лопотать на необычном гортанном наречии, писать замысловатой вязью грамматические упражнения и даже коротенькие сочинения. В кинозале постоянно крутили египетские фильмы, и некоторые диалоги из них мы заучивали наизусть. Много лет спустя, когда я заехал на неделю в Бейрут, молодая красивая беженка из Каира, обслуживавшая в баре гостиницы иностранных туристов, была поражена и растрогана, услышав от меня хорошо отработанную по фонограмме тираду о любви. Она сразу же назначила плату в десять долларов, если я приглашу ее в номер, и очень разочаровалась, не получив утвердительного «айва».

Спецдисциплины во многом повторяли то, что я уже познал в Ленинграде, хотя были свои особенности. Ни слова не говорилось о деятельности внутренних органов КГБ. Зато прославлялась деятельность внешней разведки и ее героические свершения в Отечественной войне и в первые послевоенные годы. Из лекций, читавшихся опытными сотрудниками ПГУ, складывалось впечатление, что разведка имела тысячи агентов и сочувствующих за рубежом, готовых грудью встать на защиту социалистических завоеваний в СССР. Я сравнивал хвастливые заявления товарищей с Лубянки с вычитанными из истории русской политической разведки данными: накануне Февральской революции 1917 года весь ее загранаппарат составлял 32 секретных

сотрудника, из них 15 работали во Франции. Да, далеко ушла советская разведка от своей предшественницы!

Имелись существенные особенности и в подходе к вербовочной работе. Они обуславливались специфическим характером контингента, с которым имела дело разведка. База для привлечения к сотрудничеству оставалась принципиально неизменной: идеологическая близость, корысть, компрометирующие материалы. Добавились, однако, нюансы, которые в работе с советскими гражданами не играли роли. Например, человеческий фактор: недовольство руководством в связи с длительной задержкой продвижения по службе, желание увидеться с родственниками в СССР или установить с ними переписку, ущемление национального и человеческого достоинства, зависть, желание отомстить за мнимые или настоящие обиды, авантюрные наклонности, честолюбие и тщеславие, одиночество, неспособность завести семью или круг близких друзей, наличие одержимости или хобби. Идейные мотивы также трактовались довольно широко: борьба за мир, против расизма, помощь национально-освободительному движению, поддержка социальных реформ и всякого рода кампаний, начиная от феминисток и кончая хиппи. В свою очередь, и материальный аспект расшифровывался неоднозначно. Это мог быть дополнительный заработок, коммерция, оказание разовой услуги для приобретения дома, яхты, автомашины; оплата медицинских расходов, связанных с тяжелой болезнью; бесплатный вояж по первому классу в СССР или любую другую страну; финансирование предпринимательской деятельности; издание газеты или журнала. Грубо совать деньги человеку, даже если он сильно нуждался, не рекомендовалось. В искусственно

созданной фабуле каждый молодой разведчик должен был творчески осмыслить обстановку и предложить свой вариант ее использования, имея в виду как конечную цель привлечение попавшего в беду объекта к тайному сотрудничеству.

Появилось новое для меня понятие — вербовка под «чужим флагом» от имени подлинной или вымышленной организации с целью скрыть истинную национальную принадлежность вербовщика. Такой организацией могли быть ЦРУ, Моссад, несуществующая подпольная нацистская партия и т. п.

Наряду со спецдисциплинами чекистского профиля, заезжие лекторы из МИД, Госплана, Совмина и ЦК КПСС читали лекции о дипломатическом протоколе, этикете, состоянии экономики капиталистического мира, планах ускоренного перехода к коммунистическому обществу, международном рабочем движении и его особенностях после XX съезда КПСС. Венгерские события осени 1956 года дали богатую пищу для работы партийных пропагандистов. Будапештское восстание преподносилось как яркий пример непримиримой борьбы между старым и новым, типичное проявление сопротивления свергнутой буржуазии происходящим в мире переменам. Нам показывали фотографии и западную кинохронику, свидетельствовавшие о жестокой расправе контрреволюционеров с сотрудниками венгерской тайной полиции при обороне ими будапештского горкома партии. Встревоженные вначале неясностью оценок происходящего и замешательством среди старых чекистских кадров, мы в конце концов безоговорочно проглотили партийную версию.

В конце первого года обучения мы приобрели некоторые навыки работы с радиопередатчиками, подслушивающими устройствами и методами защиты от них. Много часов провели в фотолаборатории, изготавливая микроточки и мягкую пленку, легко маскируемые в почтовых отправлениях и бытовых предметах. Нас обучили основам шифровального дела и тайнописи. Весной в лесном массиве и за его пределами специальные инструкторы проводили занятия по ориентировке на местности, а затем опытные сыщики из Седьмого управления ходили за нами по городу и мы должны были конспиративно выявлять слежку и письменно отчитываться о каждом попавшем в поле зрения филере. Следующим этапом стало подыскание мест для тайников и подбор контейнеров для малогабаритных закладок, обычно рулона фотопленки. Руководство кафедры спецдисциплины объявило конкурс на лучшую маскировку шпионского донесения. Для этого в наше распоряжение передали инструменты и различные материалы. На выставке экспонировались десятки образцов контейнеров, от искусно изготовленного булыжника до запаянной консервной банки от шпрот. Я представил простой, но удобный вариант — 10-сантиметровый отрезок ветки толщиной около сантиметра. Один конец ее имел естественный вид с почкой, другой прожигался паяльником внутри и, прикрытый пробкой, содержал тайное вложение. Ветка легко надевалась и снималась с другой ветки чуть меньшего диаметра.

На практическом занятии я опробовал этот камуфляж в действии. Наблюдение велось за мной в лужниковском парке, аллеи были пустынные, и «наружка» подтянулась довольно близко, чтобы проследить за

моими манипуляциями. Я шел спокойно по асфальтированной дорожке, затем сделал резкий поворот направо и тут же в двух метрах от угла правой рукой снял с ветки куста контейнер, теоретически заложенный агентом в только нам известном месте. Хотя в реальной жизни не разрешается проводить каких-либо операций под наблюдением, на тренировках допускались исключения. Четыре сотрудника НК не зафиксировали никаких подозрительных действий с моей стороны.

Осенью мы возобновили занятия в городе, выявляя пешее и автомобильное наблюдение, одновременно отрабатывая приемы ухода от слежки, проведение моментальных передач и, наконец, личных встреч с «агентами». В качестве последних выступали бывалые сотрудники разведки. Они играли роль инструкторов, отмечали недостатки в подборе мест (например, наличие рядом отделения милиции или большое скопление приезжих, среди которых часто орудуют уголовники), неумение содержательно вести беседу или ставить вопросы, невнимание к личной жизни «агента» и т. п. Это были настоящие игры с контрнаблюдением, подстраховкой и десятью рублями в придачу на угощение «агента» в ресторане.

К тому времени меня избрали секретарем партийной ячейки в группе, состоявшей из двадцати человек, в основном комсомольцев. Я стал членом редколлегии школьной газеты. Как-то в городе я повстречал своего институтского однокашника В.Черкашина, работавшего во Втором главном управлении. Он пригласил меня в общежитие, где на радостях, под настойчивые понукания собравшихся, я впервые опрокинул граненый стакан водки и заел пельменями. Все захлопали и объявили, что отныне я могу называть себя настоящим чекистом, а не

белоручкой из Первого главного управления. Виктор рассказал, что продолжает ухаживать за сестрой моей Людмилы, часто ездит к ней в Ленинград, но, кажется, Юра Гулин имеет больше шансов на успех. Действительно, хотя Гулин работал в Игарке, он сумел завоевать сердце моей новой родственницы и вскоре женился на ней.

Близился конец учебы. С начала пятидесят восьмого года нас поодиночке начали вызывать к Визгину. С ним обычно сидел представитель кадров из Москвы и вел предметный разговор о будущем назначении. Пошел слух, что кому-то предложили дальнейшую учебу и подготовку для последующей заброски нелегалом. Многие заволновались. Я тоже. Со стороны это выглядело чертовски заманчиво: уехать с чужим паспортом на оседание в неведомую страну, потом переместиться из нее в другую и уже там, проникнув к государственным секретам, начать настоящую, достойную мужчины работу. Но как же быть с семьей, Людмилой и Светланой? Им же нельзя туда ехать. Значит, разлука на многие годы? Было от чего волноваться! Но мысль о грядущих героических свершениях в качестве нелегала вскоре пришлось отставить. Мне предложили Восьмой (восточный) отдел с перспективой скорой командировки в Каир.

Три госэкзамена я сдал без напряжения, получив диплом с отличием. Одновременно закончил обязательные курсы автовождения. Перед выпускным вечером меня неожиданно вновь пригласил Визгин. «Есть предложение сменить географическое направление, — сказал он с улыбкой. — Тебя заметили люди из

американского отдела. Сейчас подбирают молодежь для направления на учебу в США. Как ты смотришь на это?»

У меня екнуло сердце в груди. Вот это да! «Конечно, согласен», — выпалил я.

Итак, впереди США. Думал ли я в Ленинграде, что такое возможно? Как ни странно, не только думал, но даже грезил наяву. Мне виделись громады небоскребов Нью-Йорка и Чикаго, отважные ковбои на быстроногих мустангах и тысячи сверкающих автомашин. Я напевал мелодии Фримля из «Роз Мари», и, хотя сценически дело происходило в Канаде, она как бы олицетворяла собой «цветок душистых прерий» Североамериканского континента.

Однако нужно было думать о легенде. Шесть лет учебы в системе госбезопасности должны быть забыты. Я посоветовался со специалистами из Первого (американского) отдела, и мы остановили выбор на Ленинградском университете. Я срочно выехал в Ленинград, встретился со Славиной, давно связанной с филологическим факультетом ЛГУ, побродил по университетским коридорам, отобрал из перечня дипломных работ приемлемую для меня тему и через месяц держал в руках диплом с отличием № 981064 за подписью ректора ЛГУ им. Жданова членкора Академии наук СССР профессора Александрова.

Глава III

*Разведка — та же добыча
радия. В
грамм добычи, в год труды.
Изводишь*

*единого агента ради тысячи
тонн
человечьей руды.*

***По мотивам стихотворения
В. Маяковского «Разговор с
фининспектором о поэзии»***

В Первый отдел я пришел в августе 1958 года. С этого времени начался отсчет моей рабочей биографии.

В звании старшего лейтенанта я был назначен на должность оперуполномоченного с окладом 170 рублей в месяц. Вместе с доплатами за «звездочки», выслугу лет (учеба включалась в общий стаж службы) и знание языка мой заработок составлял около 300 рублей. Всему офицерскому составу ежегодно выдавали компенсацию за обмундирование, составлявшую от 100 до 500 рублей. На отпуск полагалось около 100 рублей плюс бесплатный проезд до места отдыха и обратно. Этим и ограничивалось материальное довольствие оперативного состава КГБ. Разведка никаких преимуществ в то время не имела, за исключением поездок за рубеж — привилегии, компенсировавшей серые будни и затыкавшей дыры в семейном бюджете. Спецмагазинов и распределителей тогда не существовало, по крайней мере для младшего и среднего звена. Гастрономы в Москве ломались от всевозможных яств, промтовары с точки зрения внешнего оформления оставляли желать лучшего, но были довольно доброкачественны и долговечны.

После налета на органы госбезопасности, учиненного Хрущевым, уровень жизни сотрудников заметно снизился. Отменили некоторые надбавки, например за секретность, отобрали многочисленные

санатории и дома отдыха, перестали строить жилье, потеснили в служебных помещениях, передав ряд зданий другим ведомствам. Сохранились, однако, неплохая поликлиника, мастерские по пошиву одежды и обуви.

Самой сложной проблемой для значительной части чекистов была жилищная. С первого дня работы в ПГУ я поселился в гостинице «Пекин», половина которой принадлежала Хозяйственному управлению КГБ. Счет за двухместный номер частично оплачивался из государственного кармана, и, поскольку я готовился к скорому отъезду, меня этот вопрос не беспокоил.

В сумрачном кабинете с высоким потолком на восьмом этаже меня посадили со старшим оперуполномоченным Вадимом Косолаповым. Он только что вернулся из Нью-Йорка и излучал уверенность молодого человека, безнаказанно вкусившего запретный плод. Маленького роста, блондин, с приятными манерами и внешностью, Вадим выступал в роли гида на не изведанных мною тропах. Его доброжелательное внимание помогло мне быстро войти в коллектив и, несмотря на ограниченность времени, поднять из архива дело бывшего агента НКВД — журналиста, выдворенного из СССР в июне 1941 года за публикацию «провокационного сообщения о якобы готовящемся нападении Гитлера на Советский Союз».

Изучив материалы дела и узнав, что агент жив и находится в США, я предложил при случае извиниться перед ним и попытаться восстановить рабочий контакт. Такая рекомендация была направлена в Нью-Йорк. Но «желтый газетчик» к тому времени стал маститым обозревателем и интереса к возобновлению связи не проявил.

Поездка в США, намеченная на середину сентября, по неизвестным причинам откладывалась, и я все больше втягивался в повседневную чиновничью суету. Помимо беготни по архивам и чтения различных справок об оперативной обстановке в Нью-Йорке, я раз в неделю вместе с отделом выезжал на спортивные занятия на стадион «Динамо». Излюбленным видом спорта был волейбол, и весь отдел вместе с начальником А. Феклисовым резвился около сетки. Как-то во время игры я с подачи сильно ударил через сетку и залепил мячом прямо в физиономию зазевавшегося начальника. Конечно, в спортивном азарте чего не бывает, но из-за разбитой губы Феклисова чувствовал я себя неловко.

Наконец нашу группу «студентов» из ПГУ вызвали в ЦК ВЛКСМ, где мы познакомились с остальными участниками советско-американской программы студенческого обмена. Были здесь гражданские лица, представители военной разведки и, конечно, партийного аппарата в лице аспиранта Академии общественных наук при ЦК КПСС Александра Яковлева. Принимал нас Сергей Романовский — холеный, самоуверенный комсомольский чиновник из хрущевской плеяды выдвиженцев, впоследствии переведенный на работу в МИД. Мы сидели в его просторном кабинете и слушали со скучающим видом его длинные сентенции о пользе международных контактов. Всем нам было известно, что мы первые советские студенты, выезжающие в Америку после войны, и что нам надо высоко нести знамя первопроходцев разрядки. Когда Романовский кончил, никто не проронил ни слова. Озадаченный вожак молодежи, привыкший, видимо, к аплодисментам, спросил, все ли ясно. В ответ — невнятное бормотание. «А как вы знаете английский язык?» — встrepенулcя

вдруг Романовский. Воцарилось молчание. Никто не хотел похвалиться своими знаниями. Потом чей-то голос произнес с насмешкой: «Да пару слов связать сумеем». Романовский среагировал бурно: «Что значит пару слов? Вы разве не изучали язык, не проходили специальные курсы в Минвузе? Я вижу, ваша группа просто не готова к ответственному политическому мероприятию. Я доложу в ЦК, чтобы вас задержали». Все подавленно молчали.

В течение недели в воздухе витала неопределенность. Затем механизм оформления выездов за границу вновь лихорадочно заработал. Как выяснилось, А. Яковлев сообщил в партийные органы, что Романовский перестарался в своем усердии, что люди подготовлены и дальнейшие проволочки бессмысленны.

Накануне отлета в Москву приехала Людмила. Ночевали как иногородние в общежитии МГУ на Ленинских горах.

На следующий день самолетом Ту-104 мы вылетели в Копенгаген. Я впервые пользовался услугами гражданской авиации, притом не обычной, а турбореактивной. На европейских трассах тогда только Аэрофлот применял самолеты этого класса. В датской столице предстояло пересесть на винтовую машину американского производства.

Ни с чем не сравнимо ощущение первого полета, когда, бешено набирая скорость, грохоча и вздрагивая, переоборудованный из бомбардировщика пассажирский Ту-104 разрывает толщу облаков и затем парит в голубом, залитом солнцем бесконечном просторе.

Но что это? Почему солнце, находившееся слева, неожиданно перемещается в противоположную сторону?

Такое впечатление, что мы возвращаемся в Москву. Действительно, стюардесса объявляет, что из-за непогоды над Данией самолет вынужден будет приземлиться в Шереметьево.

В Москве нас никто не ждал, и мы разыгрывали знакомых и родственников по телефону, сообщая, что звоним из автомата около Королевского дворца в Копенгагене. Потом поехали кто куда. Меня пригласил к себе домой молодой архитектор Соколов, входивший в состав нашей группы и впоследствии ставший ректором Архитектурного института. Ему предстоял дальний маршрут в Калифорнию. А пока просторная квартира на «Соколе» служила моим ночлегом перед очередной вылазкой в аэропорт.

И вновь мы в аэропорту, вновь угрюмо шелестят паспортами пограничники, роются в багаже таможенники. Пройдя все кордоны, мы наконец возобновляем полет. Над Копенгагеном уже сгустились сумерки, когда наш самолет, прорвав пелену седой облачности, пошел на снижение. С высоты нескольких сотен метров открывался унылый плоский ландшафт, мало чем отличавшийся от средней России. Только в аэропорту мы ощутили, что попали в иной мир: стерильная чистота помещений, броские витрины, море разноцветных огней. Поездка в город с гидом подкрепила первые впечатления — повсюду аккуратно постриженные газоны, опрятные фасады домов, неторопливый ритм движения транспорта и пешеходов.

Несколько часов пребывания в уютной европейской столице, и мы снова в воздухе. Впереди четырнадцать часов полета через Атлантику. Милые стюардессы САС никак не могли взять в толк, отчего большая группа

пассажиры не отрывается от иллюминаторов, тогда как большинство уже давно посапывает после сытного ужина. Для нас же это был первый «выход в свет». Еще не улеглись разговоры после посещения достопримечательностей Копенгагена, кто-то утверждал, видя мириады огоньков внизу, что мы уже летим над Ирландией, затем наступила крошечная тьма, и мы поняли, что, наверное, внизу океан.

Америка вынырнула из-под крыла неожиданно. Утренняя мгла быстро рассеивалась, и перед взором пассажиров понеслись тысячи крошечных нарядных домиков, ленты автострад, цветные караваны автомашин. Потом самолет пошел вдоль кромки воды и, наконец, покатился по бетонной дорожке.

«Добро пожаловать в Соединенные Штаты», — любезно приветствовал нас сотрудник иммиграционной службы — первый американский чиновник, которого мы увидели не в кино. Процедура оформления въезда заняла около минуты, таможня вообще почему-то не поинтересовалась содержимым наших чемоданов. В зале нашу группу уже ждали представители Межуниверситетского комитета, взявшего на себя ответственность за программу учебы и пребывание советской группы в США. От Колумбийского университета к нам прикрепили Стива Видермана, который и вел в последующем четверку советских студентов, состоявшую из двух сотрудников КГБ, одного — ГРУ и одного от ЦК КПСС. Замечу, что Нью-Йорк и Бостон были избраны главными пунктами пребывания офицеров разведки. В Калифорнии и Чикаго стажировались в лучшем случае агенты КГБ и ГРУ.

Нас разместили на 12-м этаже Джон Джей Холла — одного из нескольких общежитий на территории университета. Каждому выделили отдельную комнату с умывальником, положили на душу стипендию в 250 долларов. За обучение и общежитие платила американская сторона.

Первые дни пребывания в Америке были заполнены встречами и знакомствами как официальными, так и частного порядка. На факультете журналистики меня представили декану, профессору Эдварду Баррету, во время второй мировой войны возглавлявшему службу новостей Управления стратегических служб, а позже работавшему помощником госсекретаря США по вопросам связи с общественностью. Доброжелательно корректный Баррет после краткой беседы передал меня на попечение Луиса Старра, под началом которого мне и пришлось состоять весь учебный год. Старр вел класс, в котором наряду с американцами занимались и иностранцы. Я был единственным за всю историю современной американской журналистики советским гражданином, допущенным к занятиям в престижном, высоко котирующемся среди профессионалов учебном заведении.

Не могу пожаловаться на учителей, выпустивших меня в жизнь. О многих из них сохранилась добрая память, с некоторыми поддерживаю контакт до сих пор. Но мой новый американский наставник оказался совсем непохожим на своих собратьев по другую сторону Атлантики. Он лично работал с каждым из 80 с лишним студентов. Не просто вел класс, семинары, читал лекции по истории. Он вникал в учебный процесс с неподдельным энтузиазмом, сохраняя при этом внешнее спокойствие, степенность и добрую заинтересованную

улыбку. Его отношение ко мне было почти отеческим. Попыхивая трубкой, он склонялся над пишущей машинкой, которой я, к стыду своему, не владел, но над которой пытался двумя пальцами изобразить желаемый текст, и одобрительно кивал головой, не раздражаясь и не покрикивая, как это принято у нас.

Однажды всем нам было дано задание в течение часа с четвертью подготовить на свое усмотрение портрет выдающегося политического или общественного деятеля. Я выбрал Илью Эренбурга, чья «Оттепель» создала ему репутацию одного из лидеров начавшегося в стране процесса демократизации. Я не успел уложиться в отведенное время, оборвав текст на высказывании Эренбурга о том, что о цивилизации нельзя судить по числу холодильников и блеску автомобильных бамперов.

Несмотря на незавершенность «портрета», Старр написал на моем сочинении: «Ваша работа — пример подлинной предприимчивости. Хотя Вам не удалось ее закончить, важно то, что она сделана хорошо. В такого рода очерках необходимо показывать *личность*. Чем этот человек отличается от большинства из нас? Не только интеллектуально, но и в других отношениях. Рослый он или мелкий, худой или упитанный, дурной или трезвый ум, болтун или молчун, короче, как он выглядит и что за пружина позволила ему выделиться из общей среды и достичь чего-то выдающегося в жизни? В целом, с учетом этого совета на будущее, Ваш очерк весьма обнадеживает».

В 1960 году, когда я был в Москве и готовился к отъезду в Нью-Йорк в качестве корреспондента Московского радио, Старр прислал мне письмо, в котором, в частности, писал: «Как часто я вспоминал Вас

после отъезда. И другие на факультете тоже спрашивали о Вас. Прошел еще один учебный год, и появилась небольшая передышка. Вот я и пишу, просто чтобы узнать, как Вы поживаете, где работаете, какие планы на будущее». Я был тронут теплыми словами, но ответить не мог ни ему, ни другим, кто пытался со мной связаться по почте: сотрудникам КГБ в Москве не рекомендовалось поддерживать личную переписку с заграницей, если в этом не усматривалось оперативной необходимости.

Я с интересом прослушал серию лекций, входивших в обязательную программу факультета журналистики. Читали их видные специалисты в области права и международных отношений, такие, как профессора Ф. Джессеп («Национальное государство и международное сообщество»), Г.Векслер («Конституция и суды»), Р.Макивер («Свобода и безопасность») и другие.

Из книжных «открытий» Америки, существенно расширивших мое представление о стране, стал объемистый труд Макса Лернера «Америка как цивилизация».

Но главные открытия принесло, конечно, общение с живыми людьми. В общезнании нам не давали покоя. Незнакомые молодые люди бесцеремонно стучали в дверь и, едва представившись, засыпали вопросами о жизни в Советском Союзе. Тогда всех волновала судьба Бориса Пастернака. Почему его сравнивают с Иудой, обзывают свиньей? Неужели публикация «Доктора Живаго» и присуждение Нобелевской премии могут служить поводом для кампании шельмования автора всей мощью государства?

Мы не успевали высказаться в ответ, как шел поток новых вопросов: почему в России все подвергается

цензуре? Почему русские художники не могут писать картины, как им нравится? Вопросы, связанные с художественным творчеством и его ограничениями, нередко ставили нас в тупик. Я, правда, не склонен был повторять зады официальной пропаганды, чувствуя ее слабость и неубедительность. По поводу Пастернака я отработал свою версию, опубликованную в 1959 году в школьном журнале «Нейрад», издававшемся в Дариене (штат Коннектикут): «...в «Докторе Живаго» Пастернак выразил точку зрения тех, кто остался в России в то время, как другие из нее уехали... Критика направлена не столько против автора, сколько против взглядов, неприемлемых для режима. Когда Пастернаку дали возможность свободного выезда из страны для получения премии с последующим осуждением, он имел выбор. Приняв решение остаться, он доказал, что предан своей Родине».

За пределами университетского городка вопросы были иного свойства. «Почему вы хотите похоронить Америку? По какому праву вы закабалили Восточную Европу? Почему у вас в стране только одна партия?» Все чаще в разговорах возникал вопрос и о возможной войне между СССР и Китаем, отвергавшийся нами как смехотворный. В собственной стране мы не знали тогда, что между двумя странами назревает серьезный конфликт.

Учеба в университете предоставила уникальную возможность для вживания в американскую действительность, познания изнутри ее особенностей, достоинств и недостатков. Именно это и входило в мою задачу как молодого офицера разведки. К тому же она совпадала с официальной установкой руководства факультета журналистики: «первая задача репортера —

ознакомиться с городом, его географией и районами, с населяющими его людьми, их образом жизни, с местной администрацией и источниками новостей. Ходите по городу пешком».

И я не преминул воспользоваться советом. В свободные дни я часами один или с коллегой, редко вчетвером, на метро или автобусе, но чаще на своих двоих гулял по Нью-Йорку. Посетил почти все музеи и картинные галереи, муниципалитет и городской суд, «Метрополитен-опера» и статую Свободы, вокзалы и автобусные станции, стадионы и парки, пивные бары и кинотеатры. В последних я провел немало часов, просмотрев за год более ста фильмов. Начинал с ковбойских и детективных, а потом, почуяв, что все они похожи друг на друга, переключился на более серьезную тематику, предпочитая кинематографическую классику, демонстрировавшуюся тогда регулярно в кинотеатре «Талия».

Не принимая слишком всерьез предупреждения о нежелательности посещения некоторых районов города, я ехал в черный Гарлем и спокойно прогуливался по Сто двадцать пятой улице, в Бауэри, где на тротуарах лежали бездомные и алкоголики, в Бруклин, где проживало в основном цветное и еврейское население, в Гринвич-Виллидж, где я впервые попал на стриптиз и, не зная правил игры, за шампанское с танцовщицей заплатил сорок долларов.

Я видел воочию богатство и нищету Америки, поражался величию разума и рук человеческих, сотворивших из стекла и бетона громады небоскребов, восхищался многообразием и многоликостью страны, всего лишь двести с небольшим лет как

присоединившейся к маршу истории цивилизованных народов.

Но я приехал в Америку не как зевака и праздный турист. Я должен был обзаводиться полезными и перспективными связями. К счастью, район Колумбийского университета изобиловал учреждениями, представлявшими интерес для разведки. Это Русский институт, готовивший кадры для госдепартамента и разведывательных служб, Институт изучения проблем войны и мира, Институты Восточной Европы, Азии и другие близкие по профилю научно-исследовательские центры. Вообще проблем с заведением полезных контактов не было. Американские студенты нас не чурались. Иногда до двух-трех утра мы сидели с ними в пивном баре по соседству, горячо обсуждая волновавшие их вопросы. Некоторые молодые люди отличались навязчивостью, и мы относили их к агентам ФБР, приставленным к нам с целью изучения и наблюдения. О таких субъектах мы докладывали в представительство СССР при ООН своему куратору из резидентуры КГБ Федору Кудашкину. Он представлял контрразведывательную линию и опекал нас главным образом в плане ограждения от возможных провокаций. Никаких специфических заданий или просьб от него не поступало.

Хотя нас, советских, в университете было всего четверо, каждый из нас жил своей жизнью и своими проблемами. Встречались мы почти ежедневно, обменивались впечатлениями, иногда спорили. Александр Яковлев, старший из нас по возрасту, пользовался авторитетом как ветеран войны и работник ЦК КПСС, но не более. Его взгляды на американскую действительность отражали официальную, жесткую точку

зрения, и они, кажется, совпадали с его личным негативным мнением об американском образе жизни. Мы тоже не были либералами, но проявляли гораздо большую гибкость в суждениях, не желая с ходу отталкивать собеседников своей кондовостью.

Ежедневно посещая занятия, выступая в качестве репортера в паре с кем-либо из американцев с выездами «на практику», включавшую авиакатастрофу, городские происшествия, я вписался в студенческий коллектив, что привело к избранию меня в студенческий совет — событие неординарное для университетской корпорации.

Весной 1959 года в Нью-Йорк прибыла балетная труппа Большого театра СССР, и мне поручили написать репортаж по этому поводу. Вместе с фоторепортером, тоже студентом, я направился в «Метрополитен-опера», намереваясь получить интервью у ведущих солистов балета. Через парадный подъезд нас не пустили, сославшись на занятость артистов в репетициях, и я предложил своему напарнику найти запасной или черный ход. После непродолжительных поисков мы обнаружили узкую темную лестницу, ведущую в репетиционный зал. Здесь мы и засняли всех знаменитостей, включая Галину Уланову, во время их черновой работы. Попытка поговорить с ними успеха не имела, хотя я и представился советским студентом. Меня облили холодным подозрением и с помощью подоспевшей полиции выдворили из театра. Через день я зашел в представительство, рассказал Кудашкину об этом эпизоде, а он мне в ответ показал уже написанное кем-то из солистов донесение, в котором я фигурировал как провокатор, пытавшийся выдать себя за советского гражданина.

Учебный год быстро шел к концу. Я уже освоился с некоторыми особенностями американской журналистики — оперативностью реагирования на происходящее, творческим поиском новых тем, стремлением непредвзято, как бы дистанцированно освещать события, обязательным «разжевыванием» материала для той части читателей, которая слабо ориентируется в политике или берется за газету от случая к случаю. Если раньше в моем сознании присутствовал достаточно устойчивый стереотип «желтого писаки», находящегося на содержании денежного мешка и послушно исполняющего его волю, то теперь я убедился, что имею дело с весьма порядочными людьми, честно и добросовестно исполняющими свои обязанности перед обществом.

Незадолго до экзаменов нашу группу навестили из «Нью-Йорк таймс». Один из редакторов газеты, Гарри Шварц, провел с нами продолжительную беседу, а 11 мая газета опубликовала в колонке «Человек в новостях» материал, посвященный моей персоне, под заголовком «Популярный русский». На следующее утро я проснулся знаменитым. На улице меня останавливали люди, жали руки, желали всего доброго. От некоторых издательств, например «Додд, Мид и К», поступили предложения написать книгу, из Филадельфии звонили насчет устройства на работу в местном университете. Были и просто проникновенные послания от людей, когда-то и где-то встречавших меня. Автор одного из них, Рой Полог, приложив к письму свою свадебную фотографию с женой, писал: «Я тоже люблю свою страну. Я служил в ее вооруженных силах и получил звание сержанта в морской пехоте. В моей стране есть вызывающие тошноту вещи, но гораздо больше здесь того, чем я могу

гордиться». Я не принадлежу к тем, кто ненавидит русских. Очень мало американцев кого-либо ненавидят. Я уверен, что мы можем жить в мире с вами. Наши страны шли вместе в войне против фашизма, и мы можем работать рука об руку и ради мира на земле. Когда улягутся пропагандистские страсти и воинственные настроения, руководители наших двух великих народов найдут дорогу к миру».

Буквально в эти же дни наш старший товарищ из ЦК КПСС Александр Яковлев делился своими впечатлениями с местной прессой о завершившейся стажировке: «Это был блестящий пример международного сотрудничества... У меня не хватало времени, чтобы оценить по достоинству красоту американских девушек, потому что я отдавал все время книгам, но одно я теперь знаю точно: американский и советский народы могут жить вместе в мире. Я не был убежден в этом до приезда сюда».

Через неделю мы отбыли в поездку по стране, организованную Межуниверситетским комитетом. Маршрут включал Филадельфию, Чикаго, Мэдисон, Берлингтон, Де-Мойн, Новый Орлеан, Вашингтон. Хозяева хотели, чтобы мы увидели Америку разную, и мы увидели ее: громады небоскребов вдоль озера Мичиган и скульптуры Родена в Пенсильвании, бескрайние степи Айовы и узенькие испанские улочки на Миссисипи. И везде мы встречали радушное гостеприимство, и везде, даже в самых отдаленных селениях, на фермах, мы видели достаток, городской комфорт, прекрасные дороги. Те же «кадиллаки» и «шевроле», те же консольные «Зениты» и «Мотороллеры», те же холодильники и посудомоечные машины. И повсюду в стандартного типа

супермаркетах изобилие продуктов, не поддающееся описанию.

На одной ферме в Айове я застрял на пару дней. Доброжелательные молчаливые хозяева разбудили меня в шесть утра, дали пару яиц и кружку молока с хлебом, затем я переделся в рабочий комбинезон и получил краткий инструктаж по вождению трактора. В течение почти всего дня с небольшим перерывом на обед я трудился за рулем, помогая сеять кукурузу.

В Нью-Йорк мы вернулись примерно через три недели и получили приглашение задержаться для работы на открывавшейся в огромных залах Колизея первой в Америке советской выставке достижений в области науки, техники и культуры. Очень хотелось побыстрее вернуться домой, но дополнительный заработок в валюте и новизна предполагаемого грандиозного зрелища побудили меня, как и многих других, наняться гидами-переводчиками. Я впервые попал на такую выставку, хотя однажды в Москве прогулялся по павильонам ВДНХ и имел некоторое представление о способностях наших администраторов строить «потемкинские деревни». Но здесь показуха была через край: роскошные лимузины, сверкающие хромом и никелем; скромные, но достойно выглядящие «Москвичи»; меха на любой вкус, модные одежды, обувь, бесконечные ряды радиоприемников, магнитофонов, фотоаппаратов. «Неужели все это сейчас в достатке дома? — подумал я, отмечая заранее официальные «Чайки» и «Зилы», доступные лишь высшему руководству. — Возможно ли, что за прошедший год мы сделали такой рывок в экономике и теперь можно смело выходить на мировые рынки?»

К счастью, мне не пришлось объяснять посетителям выставки, что многие экспонируемые товары производятся в единичных экземплярах, а на покупку «Москвича» потребуется годовой заработок. Меня направили гидом в отдел культуры, где среди книг и картин я провел почти месяц, рассказывая многочисленным посетителям о достоинствах и преимуществах социалистического реализма в искусстве.

В день открытия выставки ее посетили прибывший из Москвы член Политбюро Фрол Козлов и вице-президент США Ричард Никсон. Когда они поднялись на второй этаж, где располагался стенд с чудесами полиграфии и живописи, Козлов немного задержался со свитой, и Никсон шагнул в мой отдел в полном одиночестве. Я подлетел к вице-президенту и, представившись, начал заученный рассказ о советском искусстве. Через несколько секунд охрана и официальные лица заполнили зал и меня оттеснили в сторону. Потом хлынула толпа любопытных.

В поте лица, до хрипоты, с утра до вечера я давал пояснения, отвечал на вопросы, спорил, доказывал, убеждал. Все остальное было заброшено — не доходили руки. Я превратился в заправского пропагандиста хрущевской «оттепели», искренне верящего в грядущие реформы, в способность нашего общества догнать и перегнать эту сытую, но до безобразия изуродованную духом коммерции и безоглядного индивидуализма страну.

Однажды вечером, после насыщенного словесными баталиями дня, я усталое шел по Бродвею в сторону университета. Я удалился от Колизея не более чем на двести метров, как меня остановила незнакомая пара —

мужчина в очках, с пышными седеющими волосами и миниатюрная женщина явно китайского происхождения. Извинившись, они сказали, что идут с выставки, где слышали мой спор с группой американцев, и хотели бы этот спор продолжить. Я не испытывал ни малейшего желания возвращаться к уже надоевшим мне проблемам, но из вежливости изобразил готовность вступить с ними в беседу. То, что я услышал от них, заставило меня мгновенно сделать охотничью стойку. Оказывается, их не удовлетворили мои аргументы в пользу социализма. Я, по их мнению, говорил как типичный представитель ревизионистского крыла в коммунистическом движении, ищущего компромисса с капитализмом.

Меня всегда интриговала позиция критиков коммунизма слева. То, что говорили и писали в Америке о Советском Союзе, вполне вписывалось в понятие буржуазной пропаганды, которую правящие круги повседневно, настойчиво и изобретательно вдавливают в голову своему народу, но услышать в Нью-Йорке критику в адрес Хрущева, исходящую от более правоверных марксистов, чем он сам, — это было нечто освежающее.

Я пригласил незнакомцев зайти в ближайшее кафе продолжить разговор. В ходе его выяснилось, что Анатолий — так звали моего собеседника — родился на Кубани в станице Усть-Лабинской в семье крестьянина средней руки, который подвергся раскулачиванию во время коллективизации. Когда началась война, он, будучи еще пацаном, сочувственно относился к немцам, оккупировавшим родной край, а когда они начали отступать под ударами советских войск, ушел на Запад. Потом он перебрался в США, получил там образование инженера-химика и устроился на работу в крупнейшее

американское химическое объединение «Теокол». Жена его, Селена, из семьи вице-президента Академии наук Китая, приехала в США на учебу, окончила Колумбийский университет и писала диссертацию о творчестве Шекспира.

Анатолий сообщил, что его новым убеждениям, сформировавшимся в значительной мере под влиянием жены, претит работа на фирме, занятой в военном производстве. На наводящие вопросы он ответил, что «Теокол», в частности, разрабатывает технологию и производит в ограниченных количествах твердое ракетное топливо.

Даже не будучи специалистом в этой области, я понял, что речь идет о весьма важной сфере интересов научно-технической разведки. Я изобразил на лице равнодушное любопытство и предложил встретиться через пару дней на этом же самом месте. Утром я не явился на выставку, предпочтя срочно зайти в представительство для доклада Кудашкину. Проявив беспокойство по поводу возможно готовящейся против меня провокации, он тем не менее разрешил провести еще одну встречу с Анатолием с соблюдением необходимой осторожности.

В то же кафе Анатолий вновь пришел с Селеной, опять был долгий спор, но закончился он неожиданно предложением Анатолия принести в следующий раз документы с описанием технологических процессов изготовления твердого топлива. По его словам, у него давно зрела мысль передать землякам самые современные разработки в этой стратегической области. Я вновь изобразил полнейшую непричастность к такого рода делам, но сказал, что смогу выступить в качестве

посредника, хотя испытываю понятную неловкость и даже опасения в складывающейся ситуации.

В представительстве мое сообщение вызвало переполох. В Москву полетела «молния» с просьбой дать санкцию на новую встречу и прием материала. Разрешение пришло с условием, что меня будет сопровождать офицер с дипломатическим паспортом. Анатолия впредь окрестили псевдонимом «Кук».

С майором Хатунцевским мы вышли на обусловленное место и подсели в машину «Кука» в верхней части Бродвея, рядом с Колумбийским университетом. На всякий случай отработали легенду, по которой я случайно был замечен Хатунцевским из машины, и он решил подбросить меня до Колизея. По ходу движения, после того как я представил своего коллегу, «Кук» сказал, что хотел бы свезти нас к себе домой в Нью-Джерси, где его жена приготовила обед и будет рада угостить нас китайскими блюдами. Делать было нечего, решили ехать, хотя испытывали чувство, как будто нас везут в западню.

В небольшом уютном доме Селена уже хлопотала вокруг стола. Пока мы потягивали коктейли в соседней комнате, «Кук» исчез, а затем с торжествующим видом вернулся, неся в руках какие-то пакеты. Надорвав их, он протянул мне несколько листов, которые включали подробное описание технологии изготовления топлива и компонентов, входящих в его состав; документ ЦРУ с анализом состояния химической промышленности СССР. Он также вытащил из пакета и передал пробирку с образцом уже готового продукта — желеобразной массой темного, почти черного цвета.

Я взглянул на Хатунцевского. Он напряженно вслушивался в наступившую тишину. Я тоже сидел как на иголках. Наконец, мы возобновили расстроившийся было разговор. Потом пошли за стол, ели с аппетитом, но головы наши сверлила одна мысль — побыстрее добраться с «товаром» до представительства, пока нас не схватили с ним прямо здесь, в этом доме, или по дороге к Нью-Йорку.

Все обошлось благополучно. На следующее утро Виктор Кузнецов, возглавлявший в резидентуре линию НТР, дал предварительную оценку материалов: отлично. Через неделю из Москвы пришло сообщение о том, что «Кук» представляет серьезный оперативный интерес, его информация высоко оценена Центром, необходимо принять все меры, чтобы сохранить его как источник информации. Рекомендовалось передать его на связь лично заместителю по НТР.

Мы встретились с «Куком» еще раз или два с участием Кузнецова. Я готовился к отъезду домой, да и мое присутствие уже не было необходимо. В конце августа я отбыл в Союз с чувством исполненного долга, не допуская в мыслях, что двадцать лет спустя мне припомнят дело «Кука», но в совершенно ином контексте.

Странно, но я уезжал из Америки без чувства сожаления. Казалось бы, здесь я имел все, что душа желала: и превосходную стартовую площадку для успешной карьеры, и материальный комфорт, и необыкновенное, никогда ранее не испытанное чувство внутренней раскованности. Многие табу и условности, внедренные в сознание советским образом жизни, потеряли смысл и значение. Я увидел в Америке простой,

во многом наивный, но честный, добросердечный народ. Он не ломал шапку перед богатыми и теми, кто там, наверху. Он нес не как бремя, но как естественное состояние достоинство свободного человека, вольного решать свою судьбу без диктата властей предрешающих.

Несмотря на антикоммунизм, неприятие «иностранных» идеологий, американцы были чувствительны и открыты всему, что напоминало им об их буйной истории, войне за независимость, против рабства. В 1959 году, когда Фидель Кастро, молодой бунтарь, свергнувший диктатуру Батисты, выступал в Колумбийском университете, его встречали как национального героя. Я тоже стоял в толпе энтузиастов и чуть не плакал от счастья. Да, думал я, с американцами можно найти общий язык. Ведь они так похожи на русских в своем искреннем желании видеть вокруг благополучие, мир и свободу. Сталинщина вытравила многое из того, чем наш народ всегда гордился, но перемены, происходившие в стране после XX съезда, обнадеживали, вселяли уверенность, что будущее советское общество, вобрав в себя лучшее, что есть на Западе, со временем станет образцом социального устройства для всего человечества. Я возвращался домой, чтобы еще упорнее трудиться ради достижения этой цели.

Москва, Москва! Я нашел ее такой же развороченной, как и год назад. Бетонные коробки все ближе подступали к окраинам города, а там сносились целые деревни и еще крепкие деревянные строения.

Но где же мой дом, домашний очаг, угол, наконец, куда можно приткнуться вечером, спокойно почитать или

подремать, привести жену и ребенка? В Москве я был гол как сокол.

С поиска жилья и началась моя новая жизнь в столице после возвращения из США. Помогли коллеги. Они показали комнату в коммунальной квартире на Фрунзенской набережной, принадлежавшую сотруднику КГБ. Последний находился в то время в Вашингтоне под видом корреспондента газеты и согласился сдать свои пятнадцать квадратных метров. Так я получил убежище и временную прописку, перевез из Ленинграда Людмилу и Светлану и окупился в московские будни.

Первое оперативное задание, полученное в Центре, касалось «Кука». Нужно было съездить к его родной сестре Луизе в станицу Тимашевскую Краснодарского края и договориться о прекращении переписки между ними. Письма от нее брату должны проходить через наши руки, минуя советских и, предположительно, американских почтовых контролеров.

Ранним октябрьским утром я прибыл в кубанскую станицу и после непродолжительных поисков разыскал Луизу. Представившись советским студентом, только что вернувшимся из США, я рассказал ей о брате, которого она не видела пятнадцать лет. «Вы можете гордиться Анатолием, — сказал я под конец. — Он настоящий советский патриот, но, как вы понимаете, ему приходится в Америке нелегко. Он вынужден скрывать свои истинные взгляды, иначе его уволят с работы. По этой причине вам не следует направлять ему письма по почте. Я дам вам адрес в Москве, на который вы можете писать, а потом ваши письма будут вручаться лично Анатолию».

Услышав столь лестный отзыв о своем брате, Луиза неожиданно разразилась слезами. «Я вас приняла

сначала за сотрудника КГБ, — всхлипывала она. — Эти люди все пятнадцать лет ходят за нами по пятам. Ночью звонят по телефону, говорят: почему не выходишь на связь, почему не несешь информацию. Забыла о своих обещаниях? Присылают анонимные записки, и все в том же духе. На работе мне прохода не дают, обзывают семью изменниками, Анатолия — шпионом. Жить просто невозможно».

Я смотрел на несчастную женщину, и волна гнева подступала к горлу. «Те люди — из сталинского прошлого. Забудьте обо всем дурном. У меня есть знакомые в КГБ. Это другие люди. Они не допустят, чтобы над вашей семьей глумились». С этими словами я тепло распрощался с сестрой «Кука» и услышал вновь о ней только в 1983 году.

В Москве я не успел занять стол в Первом отделе, как меня срочно вызвали в кадры: «Есть предложение направить вас в Нью-Йорк в качестве корреспондента Московского радио. Завтра вас примет председатель Комитета по радиовещанию Кафтанов».

Наутро вместе с представителем КГБ и начальником управления кадров Радиокomiteта я предстал перед очами тучного сумрачного мужчины, который задал лишь один вопрос: имею ли я опыт работы в журналистике. Я пояснил, что мой опыт весьма ограничен, но надеюсь, что моя подготовка в США послужит хорошей отправной точкой для овладения профессией. Кафтанов важно закивал головой и, не глядя на меня, подписал приказ о моем назначении на должность редактора Главной редакции международной информации с окладом в 140 рублей. Как выяснилось позже, в КГБ мне сделали

перерасчет и я стал получать часть оклада, то есть мой общий заработок остался таким же, каким он был ранее.

Без промедления я приступил к работе в громадном розовом здании на Пятницкой. Каждое утро я появлялся в редакционной комнате, разбирал поступившие за ночь материалы ТАСС и преобразовывал их в компактные, удобно читаемые в эфире корреспонденции. Самая интересная часть состояла в посещении телетайпного зала, где с десятков шумно стрекочущих аппаратов выбрасывал бесконечно длинные ленты сообщений Рейтер, ЮПИ, Ассошиэйтед Пресс, Франс Пресс, Синьхуа и других телеграфных агентств мира. На свой страх и риск я, как и другие редакторы-международники, переводил зарубежную информацию на русский язык и также приспособливал ее для радиоэфира. Эта работа оплачивалась отдельно и шла как гонорар в дополнение к основному заработку.

Молодые журналисты, с которыми мне пришлось общаться в Радиокomiteте, вполне приняли меня за своего. Я установил знакомства с Виталием Кобышем, Евгением Примаковым, Гелием Шаховым, Валентином Зориным, Володи́ей Дунаевым. Последнего я рекомендовал как кандидата на работу в разведку, но он не прошел по анкетным данным. Только через полгода, когда на Пятницкой прошел слух, что молодой, никому не известный редактор собирается ехать корреспондентом в США, мои новые друзья осознали, что я внедрен в Радиокomiteт другим ведомством.

Летом 1960 года я вновь оказался в Нью-Йорке. Знакомые улицы и запахи, те же обрывки газет на тротуарах Бродвея и изысканные витрины на Пятой

авеню, сирены полицейских машин и говор разноязычной, разноцветной толпы.

Меня потянуло к почти родным местам, к Риверсайд-драйв — узкой полоске парка вдоль могучего Гудзона, к Колумбийскому университету. Мой предшественник, Юрий Пермогоров, уже уехал из США, и в корпункте Московского радио временно проживала другая советская семья. Я задержался там на месяц, пока не подыскал по объявлению пятикомнатную квартиру на Риверсайд-драйв и 113-й улице в старом, но весьма респектабельном доме. Снимая столь большую квартиру, я имел в виду, что в ней поселится еще один корреспондент, «чистый» Виталий Кобыш. Такая договоренность имела в Москве перед моим отъездом. КГБ предпочитало, вполне разумно, иметь спаренную команду, в которой каждый будет исполнять прежде всего свои прямые обязанности.

Теперь у меня был большой, хотя и скудно обставленный офис, четыреста восемьдесят долларов ежемесячной зарплаты, которая через полгода увеличилась на двести долларов — мою жену оформили техническим секретарем корпункта; практически бесплатное, совмещенное со служебным помещением жилье, бесплатное медицинское обслуживание, положенное всем советским гражданам за границей. Я зарегистрировался в Министерстве юстиции как подданный иностранной державы и стал платить американский подоходный налог, компенсировавшийся в Москве. В ООН я получил аккредитацию как постоянный корреспондент, в нью-йоркской полиции — пропуск на все городские мероприятия и происшествия. В банке Чейз Манхэттен корпункт имел счет, куда из Радиокомитета регулярно поступали деньги на оплату

помещения, связь и содержание автомашины. Мне достались по наследству голубой, вполне приличный «шевроле белэйр», студийный магнитофон «Ампекс», пишущая машинка и запас старых магнитофонных пленок. С этим я и приступил к работе, добавив привезенный из Москвы портативный звукозаписывающий аппарат.

Из-за восьмичасовой разницы во времени Москва выходила на связь ежедневно после полуночи. От меня ожидали по телефону корреспонденции с освещением текущих международных проблем, деятельности ООН, событий в американской жизни. На другом конце меня записывали в голосе, либо, если слышимость была неважной, я диктовал свой материал стенографистке.

Я с рвением взялся за дело, попросив резидента по возможности дать мне месяц-два на обустройство. Через некоторое время я получил из Радиокомитета первую рецензию на свою работу в качестве корреспондента. В ней говорилось: *«Мы с удовлетворением отмечаем, что все Ваши материалы без мало-мальски существенных изменений были переданы в эфир как в «Последних известиях», так и на зарубежные страны. Удачно написаны Ваши информации о переброске американских войск в Таиланд, о протестах видных американских ученых против предстоящих ядерных испытаний США в космосе. Вы хорошо дали первый отклик из США на выступление Н. С. Хрущева по радио и телевидению, хорошо обрисовали картину паники в период резкого падения акций на Нью-йоркской бирже. Это обеспечило Вашим материалам «зеленую улицу» в эфир. Крайне необходимо, чтобы Вы закрепили свой успех в оперативной передаче информации.»*

Вместе с тем мы отмечаем, что в последний месяц произошел неожиданный спад в количестве передаваемых сообщений, снижение оперативности, а то и запоздания.

Одна Ваша информация не пошла в эфир не в связи с опозданием, а в связи с содержанием — это заметка о событиях в Испании. Тема острая, и хорошо, что Вы сделали попытку найти поворот к ее освещению из Соединенных Штатов. Но смотрите, как Вы это подали. «Усилившаяся борьба испанских трудящихся против диктатуры Франко вызывает все большую тревогу в Соединенных Штатах. Отражая настроения определенных кругов, некоторые органы американской печати рекомендуют правительству принять меры для того, чтобы не допустить подлинной демократизации страны. В редакционной статье, посвященной событиям в Испании, газета «Нью-Йорк пост» вчера писала: «Тоталитарный режим Франко трещит по швам. Все признаки налицо, что не только священники баски и группы католического действия, но и даже высшие церковные деятели, пользующиеся благами режима Франко, начинают менять свое отношение к нему и ищут альтернативы. Что делать Соединенным Штатам в этих условиях?» — спрашивает газета. И Вы ее цитируете далее: «Не пора ли Соединенным Штатам начать избавление от генералиссимуса?»»

Вне всякого сомнения, комментировать из Соединенных Штатов события в Испании было делом нелегким. Но посмотрите, что у Вас получается. Американские агентства сообщают, что против Франко поднялись самые широкие общественные круги Испании. Что же предлагает газета «Нью-Йорк пост» в связи с этим? Избавиться от Франко. Так что же в этом плохого?

Америка, которая хочет слыть в глазах всего мира свободной страной, отказывается сотрудничать с кровавым фашистским диктатором. Это значит, что Соединенные Штаты отмежевываются от реакционных диктаторских режимов. Это, если хотите, только увеличивает престиж Соединенных Штатов, а не подрывает его. Вот если бы «Нью-Йорк пост» написала, что в связи с пошатнувшимся положением Франко США должны оказать ему всевозможную поддержку вплоть до военной, тогда это была бы блестящая тема для компрометации Америки. Ведь только связь Америки с режимом Франко компрометирует Соединенные Штаты. Если же США отмежевываются от Франко, то они фактически реабилитируют себя в глазах международной общественности. Вы согласитесь, что редакция правильно поступила, что задержала эту информацию.

Теперь разрешите дать Вам несколько советов и высказать ряд пожеланий. Почти все материалы, которые Вы передаете, носят информационный характер. Это очень полезно и нужно. И это продолжайте делать. Но Америка — самая крупная страна капиталистического мира. Естественно, что нам хотелось бы иметь от нашего нью-йоркского корреспондента не только информационные материалы, но и корреспонденции, зарисовки с места, обобщающие материалы. Возьмите, например, падение акций на Нью-йоркской бирже. Это событие действительно потрясло Америку. О нем говорили все американцы. Если бы Вы сделали один-два материала, разбирающие по существу вопрос о причинах этого падения и возможных его последствиях, это было бы очень интересно и более убедительно, чем мы об этом писали из Москвы. Если бы Вы могли поговорить с американскими экономистами, прогрессивными

деятелями, разбирающимися в экономике, нам кажется, Вы прислали бы очень ценный материал.

Перед нами стоит задача — разоблачить образ жизни капиталистического мира. Особенно важно это делать на примере Соединенных Штатов. Вы давали нам информацию о различных аспектах борьбы американских трудящихся за улучшение жизненного уровня. Неплохой у Вас был материал в связи с обсуждением вопроса о пенсиях престарелым. Однако и здесь хотелось бы, чтобы Вы постепенно переходили от информационных сообщений к репортажам с мест, зарисовкам, интервью.

Мы более кратко говорили о достоинствах Ваших материалов. Можно было бы сказать значительно больше. Но мы считаем, что письма корреспондентам — это деловые и товарищеские советы и замечания. Поэтому мы в первую очередь и сконцентрировали на них внимание. Работайте спокойно, уверенно...»

Меня радовали дружелюбные, деловые советы из Москвы, я чувствовал, что процесс освоения новой профессии проходит благополучно. Потом, когда мне дадут напарником Александра Дружинина, мне не раз придется вспоминать эти первые месяцы в огромном полупустом корпункте. Полная свобода действий, неограниченные возможности для творческого поиска — вот что оцениваешь запоздало как великое благо. Тогда же мне больше всего хотелось, чтобы приехал второй корреспондент, чтобы я мог ночью выспаться, а днем свои усилия направить на выполнение заданий КГБ, ради которых меня послали в США. Кто бы подумал, что столь желанная помощь в лице профессионала-журналиста обернется на деле повышенной нагрузкой на нервную

систему из-за желчного характера моего партнера и сварливости его жены.

Все это произошло года полтора спустя, а пока я продолжал закрепляться на вверенном участке, развивал связи с журналистами, в первую очередь с собкорами советских газет и сотрудниками ТАСС; некоторые из них помогали мне решать и разведывательные задачи.

Наверное, самыми примечательными в моей нью-йоркской журналистской биографии были события, связанные с приездом Хрущева, принявшего участие в работе Генеральной Ассамблеи ООН. За несколько дней до прибытия теплохода «Балтика» с высоким гостем на борту ко мне присоединился Виталий Кобыш, официально назначенный заведующим бюро Московского радио в США. Теперь наш корпункт на Риверсайд напоминал большую коммунальную квартиру, к счастью дружную.

Ранним сентябрьским утром в группе встречающих во главе с послом Меньшиковым мы стояли на пирсе, ожидая подхода «Балтики». Все были празднично взволнованны, но переговаривались тихо, как будто находились в приемной крупного вельможи. Наконец, брошен якорь, перекинут трап, и глава великой державы, первый секретарь партии коммунистов, ступил на американскую землю. Вместе с подоспевшим обозревателем радио Валентином Зориным мы пробились к Хрущеву и взяли первое интервью.

Никогда раньше я не видел советских вождей. Сталин был недосягаемым божеством. Его преемники тоже не рвались к общению с народом, но Хрущев сломал привычную отгороженность руководителей от толпы. Это импонировало людям, но повергало в ужас

охрану. Как офицеру КГБ, мне рекомендовалось держаться поближе к Хрущеву, по возможности записывать на магнитофон все его высказывания. Впрочем, и сам высокий гость по ходу своих многочисленных импровизированных выступлений интересовался у начальника охраны Николая Захарова, где находится представитель Московского радио. Однажды, когда рослые американские репортеры пытались оттеснить меня в сторону, Хрущев, поманив меня пальцем, сказал: «Московское радио должно быть рядом и все записывать, а то эти щелкоперы наплетут всякую чушь».

Я добросовестно выполнял роль регистратора, в то время как Зорин и Кобыш выдавали корреспонденции о ходе визита. У меня сохранились в записи многие ремарки Хрущева, не попавшие в официальные отчеты, особенно те, которые он допускал в состоянии гнева или раздражения. На исторической сессии Генеральной Ассамблеи ООН, наблюдая через стекло радиорубки, как Никита Сергеевич стучал сандалией по столу, выражая негодование по поводу выступлений некоторых делегатов, я, хотя и был шокирован, не осуждал его. В новом стиле советского руководства, при всей его непредсказуемости и внешней хамоватости, выделялась живая связь с народом, мужицкая прямота и искренность. Разрыв с прошлым, его удушающей атмосферой страха, чиновничества и коленопреклонения — вот что привлекало в Хрущеве его современников.

И все же, при всей важности освещения визита Хрущева, это была не главная моя работа. Это была «крыша». А отчитывался я только перед КГБ.

С резидентом КГБ в Нью-Йорке Владимиром Барковским мне повезло. Сухощавый, спортивного вида, с острым взглядом и энергичными манерами, он заражал всех своей неутомимой работоспособностью и широким, современным взглядом на мир. Не было в нем ни догматизма, ни рисовки, ни начальственного рыка. Я его просто полюбил, когда однажды он по ходу разбора какой-то оперативной ситуации вдруг замер, вслушиваясь в звуки музыки, исходившей из спрятанного за портьерой радиоприемника. Он откинулся на стуле и произнес отрешенно, почти мечтательно: «Это из «Аниары» Карла Бломдаля. Неземная музыка. Как будто парит в поднебесье».

В тот же день я побежал в магазин граммофонных пластинок «Сэм Гуди» и купил там двухактную оперу шведского композитора о путешествии человека в космос на корабле «Аниара» в 2038 году.

С момента моего появления в резидентуре КГБ я, отныне проходивший в переписке как товарищ Феликс, должен был отчитываться перед заместителем по линии политической разведки («ПР»). В 60-м году ее возглавлял Николай Кулебякин, лысоголовый говорун, исполнявший свою роль игриво, как будто выступая на подмостках театра. Под его командой собралось около тридцати человек, в основном дипломаты из представительства, сотрудники Секретариата ООН, журналисты. Вся же резидентура, представлявшая, помимо политической, контрразведывательную, научно-техническую и нелегальную линии, состояла из почти ста человек. Сюда входили и операторы поста подслушивания эфира, фиксировавшие переговоры сотрудников Службы наружного наблюдения ФБР, и офицеры технической группы, готовые в любой момент снабдить сотрудников

необходимыми средствами для тайнописи, скрытого фотографирования или миниатюрным магнитофоном, и секретари-машинистки, обычно жены офицеров, исполнявшие заодно и роль кассира.

На политической линии тоже имелась специализация: одни работали с уже имеющейся агентурой, другие заводили связи и собирали информацию в доверительных беседах, третьи готовили активные мероприятия и дезинформацию. Один человек отвечал за связь с Компартией США, передачу ей инструкций и пожеланий ЦК КПСС, а также значительных сумм денег. Еще один обрабатывал всю поступающую информацию для передачи ее в Москву. Шифровальщики завершали весь процесс, переводя любое сообщение в Центр в стройные колонки цифр.

Моя главная задача как работника линии «ПР» состояла в том, чтобы искать перспективных для вербовки американцев и иностранцев, способных снабжать советскую разведку немедленно или в не слишком отдаленной перспективе секретными, предпочтительно документальными сведениями по актуальным вопросам внешней и внутренней политики правительства США. Из общего перечня главных объектов проникновения советской разведки, включавшего по степени важности аппарат Белого дома, наиболее осведомленные комиссии конгресса США, госдепартамент, ЦРУ, ФБР, Пентагон, а также ведущие научно-исследовательские центры и военно-промышленные корпорации, мне достались Информационное агентство США, имевшее филиал в Нью-Йорке, американские чиновники Секретариата ООН, журналистский корпус. Фактически, в силу специфики моей «крыши», мне была предоставлена полная свобода

действий в свободный поиск любого подходящего для разведки объекта.

Задел связей, оставленный после года пребывания в Колумбийском университете, послужил исходной базой для моей оперативной деятельности.

Один из студентов, Николас, с которым я установил контакт год назад, теперь работал в лаборатории, имевшей контракты с Пентагоном. Я его заметил еще в первые месяцы пребывания в университете по причине весьма радикальных высказываний. Возобновив, к его удивлению и радости, знакомство, я вскоре предложил передать мне сведения о некоторых исследованиях лаборатории, в которой он работал. Поскольку речь шла о ядерных материалах, мое объяснение, хотя и шитое белыми нитками, сводилось к тому, что первая в мире страна социализма в битве за научно-техническое превосходство с Западом не имеет права плестись в хвосте, и долг каждого радикала внести свою лепту в общее дело. Аргументы вроде бы подействовали, и я уже предвкушал удовольствие очередной встречи. Увы, обещанных документов он не принес, сославшись на трудности их выноса из лаборатории. Кроме того, пояснил он, имеется этическая сторона вопроса. По этому поводу он поговорил со своими родителями, людьми весьма левых взглядов, и они отсоветовали ему выполнять мои просьбы.

Я с трудом сдерживал раздражение, выслушивая оправдания своего собеседника. «Вот она, цена вашему радикализму, — горячо говорил я. — Когда речь идет о войне или мире, победе социализма или империализме, выбор может быть только один...» Смущенный молодой человек не спорил. Ему было неловко.

Через несколько дней недалеко от корпункта меня остановил пожилой мужчина и, представившись отцом Николаса, попросил поговорить с ним. На его «кадиллаке» мы проехали в деловую часть Нью-Йорка, где и решили позавтракать.

Разговор был недолгим. «Мне неудобно за поведение моего сына, но вы должны понять и его, и нас, его родителей. Мы всегда верили в грядущую социалистическую Америку. Теперь, на склоне лет, ясно, что эта цель недостижима. Пусть Николас спокойно работает. Мы будем вам помогать за него. Все, что надо и что я могу, я сделаю для вас и вашей страны».

Столь неожиданный поворот поначалу вызвал у меня подозрение. Но я увидел в глазах этого человека жертвенный блеск, искреннюю, почти трогательную решимость вернуть потерянные годы, еще не угасший коминтерновский дух. Мы договорились о последующих встречах без телефонных звонков с соблюдением предосторожности.

Я заехал в резидентуру и доложил о случившемся Барковскому. То, что я нарушил существующий порядок, не вызывало сомнений. Ни одно вербовочное мероприятие, а это фактически была вербовка, не могло состояться без предварительной санкции Москвы. Обычно процедура привлечения к сотрудничеству перспективного кандидата занимала несколько месяцев. Он изучался, проверялся, о нем писали заключение и обстоятельно мотивировали рапорт на вербовку. В данном случае все процедуры были опущены.

Барковский пригласил Кулебякина, и они дружно осудили меня за недисциплинированность и нарушение приказов. В качестве оправдания я выдвинул только

один тезис: объект сам предложил услуги и искусственно отталкивать его, а потом вновь возвращаться к этому вопросу нелепо. К тому же интуитивно я чувствовал, что он не врет.

«Ну что же, посмотрим, как среагирует Центр, — сказал Барковский. — Телеграмму я напишу сам». Потом он мне показал текст, в котором кратко описывался мой «подвиг» и оценка его резидентом. Из нее следовало, что мне сделано серьезное предупреждение о недопустимости повторения подобных действий. Позже я узнал, что была и приписка: «Вместе с тем, учитывая проявленную товарищем Феликсом инициативу и смелость, предлагаем повесить его до старшего оперуполномоченного».

Через месяц с небольшим из Москвы пришло официальное письмо, где отмечалась поспешность проведенной вербовки. Одновременно меня поздравляли с повышением в должности.

Приобретенный мной агент не мог стать источником серьезной политической информации, но он многие годы как бизнесмен помогал нам решать такие вопросы, заниматься которыми советскому человеку было невозможно.

Тем временем я продолжал поиск новых людей. Корреспондентская «крыша» блестяще подходила для этой цели. С кем мне только не приходилось встречаться или вести переписку в то время!

Элеонора Рузвельт и Джон Рокфеллер 4-й, импресарио Сол Юрок и актриса Шелли Уитерс, писатель Альберт Кан и художник Рокуэлл Кент, ученый Уильям Дюбуа и руководитель профсоюза грузчиков Западного побережья Гарри Бриджес, издатель Карл Марзани и

публицист Чарльз Аллен, финансист Джеймс Уорбург и промышленник Сайрус Итон.

Конечно, большинство моих связей тяготело к левым, некоторые даже состояли в Компартии США. Но это меня не смущало. В огромном количестве знакомств я надеялся зацепить, а потом скрыть тот, может быть, единственный источник информации, ради которого стоило просеять через себя сотни людей.

Интересным контактом, получившим развитие на несколько лет вперед, стало знакомство с молодым отпрыском семейства американских миллиардеров Джейм Рокфеллером. Встретились мы впервые на телестудии в Нью-Йорке в ноябре 1960 года. Джей тогда учился в Гарвардском университете и пригласил меня погостить у него в Кембридже. Между нами завязалась переписка, но выехать к нему мне удалось только в апреле следующего года, и то не в Кембридж, а в штат Вермонт, где он поселился на весенние каникулы со своим приятелем, сыном госсекретаря США в конце двадцатых годов Франка Келлога.

Рокфеллеровская «дача», как представлялась она в моем воображении, оказалась на деле деревянной, летней хижинкой на берегу небольшого лесного озера, без отопления и элементарных удобств. В просторных, обшитых сосновыми досками комнатах пахло смолой. Вблизи, на склонах лесистых холмов виднелись другие, похожие на наши, домики. Оказалось, что все они принадлежали детскому лагерю, в котором несколько лет подряд трудились добровольными помощниками выходцы из богатых семей, в том числе Рокфеллер и Келлог.

Джей и его коллега встретили меня по-товарищески тепло. Их простота в общении, любознательность,

искреннее желание узнать, что из себя представляет «гомо советикус», быстро сломали все условные перегородки, разделявшие нас. Днем мы гуляли по узким, покрытым ледяной коркой дорожкам, вечером сидели у открытого очага, потягивали пиво и вели бесконечные беседы. Говорили о чем угодно, но главным образом о будущем развитии человеческого общества. Я горячо и, кажется, убедительно отстаивал идею всеобщего братства народов, основанного на коллективном владении землей и собственностью, о постепенном исчезновении вражды и эгоизма, об идеальном порядке, в котором труд станет радостью и все будет построено на сознательности граждан. Мои собеседники упирали на личные свободы, индивидуальность каждого, невозможность всеобщего благоденствия при врожденной порочности и дурных наклонностях части людей.

В какой-то момент наша дискуссия замерла. Наступила тишина, прерывавшаяся лишь легким потрескиванием горящих в огне поленьев. Неожиданно Келлог-младший спросил: «А что же будет с нами, представителями правящих кругов, выходцами из буржуазной среды? Что нам уготовано в этом мире: физическое уничтожение или изоляция в специальных лагерях для перевоспитания?»

Вопрос был задан серьезно, я не почувствовал издевки. Динамизм советского общества, пробудившегося после долгой спячки, хвастливые обещания Хрущева «догнать и перегнать», видимо, заставили моих «классовых противников» задуматься над будущим своего общества и их самих.

«Я полагаю, что те из вас, кто примет новый порядок, вольются в ряды активных строителей, будут обеспечены защитой и покровительством государства. К массовым репрессиям прибегать оно больше не будет». Мои самонадеянные слова были встречены одобрительно, я чувствовал себя тогда на коне.

Потом мы в течение нескольких лет вели переписку с Джемом, перезванивались по телефону. Только после его женитьбы в 1967 году на дочери сенатора Чарльза Перси и последующего избрания на пост губернатора Западной Вирджинии наши отношения сошли на нет.

Общение с младшим Рокфеллером, как и с другими не столь заметными, но крупными фигурами в американской жизни, не имело прямого разведывательного интереса. Речь в лучшем случае могла идти об использовании такого рода связей для продвижения в высшие сферы, включая Белый дом, информации, выгодной советскому руководству. Подразумевалось, конечно, и получение от высокопоставленных знакомств сведений о настроениях в правительстве и деловых кругах США по тому или иному актуальному вопросу.

Именно с этой целью сразу после возвращения из Вермонта я принял приглашение принять участие в ежегодной конференции американской радиовещательной корпорации Вестингауз. Съезд гостей намечался в Питсбурге — городе, закрытом для посещения советскими официальными лицами. Имея заверения руководства компании о соответствующей договоренности с госдепартаментом, я вылетел в Питсбург, выступил на конференции, дал интервью местному телевидению. Когда сотни делегатов и гостей,

закончив деловую часть, возбужденно бросились к расставленным в банкетном зале столам, меня вызвали к телефону. На проводе был сотрудник советского отдела госдепартамента, интересовавшийся, каким образом я оказался в закрытой для советских граждан зоне. Я сослался на устную договоренность президента компании. «Мы не возражаем, если вы задержитесь в Питсбурге, — сказал госдеповец, — но тогда мы просим оказать аналогичную любезность американскому корреспонденту, если он пожелает поехать в закрытый район Советского Союза».

Я не мог брать на себя каких-либо обязательств и сообщил, что немедленно возвращаюсь в Нью-Йорк. В аэропорту Ла-Гардиа меня уже поджидали репортеры. Сообщение о нарушении советским журналистом порядка передвижения по стране облетело все телеграфные агентства мира. Многие предсказывали, что меня выдворят из США. Госдепартамент ограничился заявлением, что будет приветствовать любые шаги советской стороны, направленные на полное снятие запретов на поездки или, как минимум, существенное сокращение закрытых зон.

В резидентуре пришлось писать объяснение для Центра об обстоятельствах дела. Через неделю объяснения потребовал и посол СССР Меньшиков.

Этот эпизод ненадолго отвлек мое внимание. Каждый день из Москвы потоком шли запросы, требовавшие информацию по проблемам, имевшим тогда весьма отдаленное отношение к США. В Нью-Йорк, как центр деловой и общественной жизни, местонахождение штаб-квартиры ООН, приходили циркулярные

телеграммы, касавшиеся событий в Европе, Азии, Африке и, конечно, Латинской Америке.

Как белка в колесе я крутился в фойе и баре ООН, в дипломатических миссиях, на коктейлях в деловых кварталах, вечеринках в студенческих квартирах. Я продолжал поиск, срывая на ходу клочья полезных сведений, обмениваясь телефонами, назначая свидания на ленчи и новые коктейли.

Некоторым молодым офицерам КГБ, обладавшим, по мнению руководства, мобильностью и коммуникабельностью, рекомендовалось заводить связи с техническими сотрудницами дипломатических представительств, имея в виду с помощью подарков и ухаживания выпытывать у них сведения закрытого характера. Я не преминул этим воспользоваться и вскоре познакомился с секретарем посла Цейлона, а через нее с архивистом представительства Австралии. Моим ухаживаниям вскоре пришел конец: миловидной австралийке пригрозили откомандированием на далекий континент, если она не прекратит встречаться с советским гражданином. Прекрасные отношения у меня сложились с секретарем Центра международной прессы Информационного агентства США в Нью-Йорке, замужней молодой женщиной, по долгу службы помогавшей журналистам решать их проблемы. Не знаю, кто кого хотел соблазнить, но у меня осталось впечатление, что мы просто нравились друг другу, и я всегда испытывал желание зайти в Центр на Сорок шестой улице. Там мне случалось говорить с директором Центра Эрнстом Винером, его заместителем Биллом Стрикером; однажды довелось побеседовать там и с директором ЮСИА Эдом Мэрроу.

Более глубоко с оперативной точки зрения продвинулись мои отношения с одной канадкой, работавшей на радиостанции «Свободная Европа». Я познакомился с ней на вечеринке и затем продолжил контакт в городе. Мы посещали рестораны и кинотеатры, как влюбленные, гуляли в парке. Как-то она затащила меня на заутреню в католическую церковь. Я впервые в жизни сидел с истово верующими, млел от звуков органа и хора, но, когда моя канадка упала на колени вместе с другими прихожанами, я гордо остался сидеть и, несмотря на ее попытки стянуть меня на пол, сохранял негибаемость атеистического духа до конца. Я не бросил ни цента на протянутое блюдце и потом объяснил своей спутнице, что дело не в деньгах: это противоречит моей идеологии и совести.

Кое-что интересное я выудил у моей знакомой, но попытки дальнейшего сближения оказались безуспешными. Узнав, что у меня есть семья, она с грустью сказала, что ее вера предписывает сдержанность.

Поистине сердечные отношения сложились у меня с певицей, затем хозяйкой фешенебельного эмигрантского ресторана «Петрушка» Мариной Федоровской. С этой бывшей комсомолкой, угнанной, по ее рассказам, из-под Харькова в Германию в 1943 году, я и мой коллега Вадим Богословский познакомились при посещении значных мест, где собиралась русская эмиграция. Потом мы стали ее постоянными гостями, задерживались в ресторане допоздна, и, когда публика расходилась, Вадим садился за рояль, ему аккомпанировал скрипач, и мы вместе пели старые русские романсы и народные песни. Через «Петрушку» мы вышли на некоторых активистов

послевоенной эмиграции, обзавелись другими полезными связями.

В 1961 году, все шире забрасывая сеть среди женского персонала, в том числе работавшего в Секретариате ООН, я имел небольшую, но неприятную встречу с нью-йоркской полицией. Мой коллега, переводчик из политического департамента ООН, предложил посетить вечеринку технических сотрудниц своего отдела, устраивавшуюся на квартире. Было уже около полуночи, и я сомневался, прилично ли заваливаться к чужим людям так поздно. Однако коллега, подогреваемый винными парами, заверил, что вечеринка должна быть в самом разгаре. Когда мы поднялись на лифте на двадцатый этаж и стали звонить, сначала никто не отвечал. Мой приятель несколько раз стукнул в дверь, и тут мы явственно услышали голос за дверью, вызывающий полицию.

Сработал инстинкт самосохранения, и мы бегом бросились вниз, полагая, что полиция воспользуется лифтом. Но дюжие нью-йоркские копы влетели в подъезд как раз в момент нашего выхода из здания. Не задавая вопросов, они завернули нам руки и принялись обыскивать. Мы громко протестовали, ссылаясь на принадлежность к ООН, но полицейские не разговаривали, пока не вывернули все карманы. Удостоверившись, что действительно имеют дело с иностранцами, они успокоились и потребовали объяснить, почему мы так поздно оказались в чужом доме. Только после того, как негостеприимная хозяйка подтвердила по телефону, что ей известен один из ночных посетителей, полицейские наконец отпустили

нас, посоветовав впредь проявлять больше уважения к местным порядкам.

О происшедшем инциденте я предложил с утра доложить резиденту, но мой коллега возражал, считая, что дело выеденного яйца не стоит. Тем не менее утром я зашел к Барковскому и рассказал о ночном задержании. Он пожал плечами, заметив, что в Москву об этом сообщать не будет, но если что-нибудь появится в бульварной прессе, то тогда отписываться придется нам самим.

Вполне вероятно, что мои похождения не прошли незамеченными контрразведкой. По крайней мере, один эпизод выглядел как попытка ФБР поймать меня на крючок.

На приеме, организованном левым издателем Карлом Марзани, со мной познакомилась весьма эффектная дама, предложившая после приема заехать к ней на чашку кофе. Все с тем же приятелем из политического департамента мы приняли приглашение. Что удивило нас на квартире новой знакомой, так это нежилой вид помещения. Зато она показала нам кучу фотографий, из которых следовало, что ее окружают одни военные и крупные ученые. Мне не понравилось ее поведение, в нем чувствовалась какая-то натянутость, игра. Контакт развития не получил, но примерно через месяц неожиданно она сама проявила инициативу. «У меня есть для вас что-то очень важное, — прощепетала она по телефону. — Приезжайте часов в десять вечера, я вас с нетерпением буду ждать».

«Э-э, тут что-то не то», — решил я, но любезно обещал заехать. В ее квартире я оказался не в десять, а в восемь. Изумлению и растерянности моей новой

знакомой не было конца. Однако, оправившись, она предложила кофе, а затем принесла толстую папку с бумагами. «Эти секретные документы о новейших разработках в области авиастроения, в частности компании «Дуглас», хочет вам передать один мой друг», — сказала она, потупив глаза.

С чашкой кофе в руке я откинулся в кресле и воскликнул: «Но, дорогая, я в этом совсем не разбираюсь. Не надо мне ничего показывать. Я просто профан. Давайте я сейчас свяжусь с Амторгом. Они покупают в Америке технологию, станки. Может быть, их заинтересуют ваши диаграммы и документы». Я протянул руку к телефону, изображая готовность тот час же связаться с советской торговой организацией в США.

Такой вариант мою знакомую не устраивал. Я поблагодарил ее за угощение и, сославшись на занятость, ретировался.

Полгода спустя один из источников резидентуры, работавший в ФБР, сообщил, что с помощью этой дамы контрразведка готовила западню для некоторых советских представителей в Нью-Йорке. Среди них числилась и моя фамилия.

Другой эпизод, в котором я тоже усмотрел признаки назревшей провокации, возможно, был плодом воображения. На приеме в Пресс-центре ко мне проявила повышенное внимание рыжеволосая красавица, в прошлом участница конкурса «Мисс США», сумевшая завоевать первое место в штате Пенсильвания. Знакомство носило вполне светский характер до тех пор, пока однажды она после пары коктейлей не предложила поехать в соседний Нью-Джерси и переночевать там в мотеле. «Почему в Нью-Джерси, а не в Нью-Йорке? —

спросил я ее шутливо. — Здесь полно гостиниц, где можно уединиться без лишних вопросов со стороны администрации». Моя соблазнительница надула губки, а мне вспомнилось, что в некоторых штатах считается преступлением интимная связь с женщиной, привезенной специально для этой цели из другого штата. «Так, может быть, мы выберем что-нибудь в городе», — уже смело предложил я, чувствуя, что моя персона нужна только в Нью-Джерси. Отвергнутая любовь больше не появлялась на горизонте.

1961 год ознаменовался серией международных событий, носивших поистине драматический характер: убийство бывшего премьера Конго Патриса Лумумбы; вторжение и разгром кубинских контрабандистов в заливе Свиней; закрытие германской границы и возведение стены, физически отделившей Западный Берлин от ГДР; таинственная авиакатастрофа и гибель генерального секретаря ООН Дага Хаммаршельда.

Проблемы Африки и Кубы доминировали в заданиях Центра. Почти вся линия «ПР» гонялась за африканскими и латиноамериканскими дипломатами и студентами в поисках новостей, собирая массу различных слухов и личных мнений, а потом просеивая их через офицера информационной службы. Часть резидентуры готовила активные мероприятия, цель которых состояла в том, чтобы, распространяя слухи и подметные письма, возбуждать антиамериканские настроения в африканских миссиях при ООН и, наоборот, антиафриканские, расистские — среди рядовых американцев. На «чистых», то есть нигде ранее не использованных, пишущих машинках, в перчатках, чтобы не оставлять отпечатков пальцев, наши люди печатали сотни анонимок, рассылавшихся затем по адресам африканских

дипломатов от имени вымышленных «борцов» за расовую чистоту Америки. В них наши авторы не стеснялись в выражениях, обзывая представителей пробудившегося черного континента самыми грязными именами. Некоторые опусы резидентуры на эти темы, к радости исполнителей, имели широкий общественный резонанс, публиковались в прессе как образчики низкопробной провокации куклуксклановцев.

Когда погиб Хаммаршельд, была пущена в ход версия о причастности к его смерти ЦРУ. Над распространением этой версии немало потрудились нью-йоркская резидентура.

Подъем национально-освободительного движения в Африке косвенно отразился на активизации борьбы американских негров за свои права. К этому процессу подключился и КГБ. Один мой коллега, также прикрытый корреспондентской карточкой, сумел обзавестись обширными связями среди негритянской интеллигенции. Часть из них он передал мне. Постепенно мне удалось развить отношения братской солидарности с видным негритянским активистом, вылившиеся в финансирование из фондов КГБ журнала Афро-американского института. При этом не ставилось задачей влиять на редакционную политику журнала в целом. Смысл всего предприятия состоял в том, чтобы время от времени помещать в нем нужные для КГБ материалы. Таким путем к уже известным проводникам советской внешнеполитической линии — «Нэшнл гардиан» и «Русский голос» — прибавилось еще одно издание.

Я не особенно скрывал свои знакомства в негритянской общине Нью-Йорка. Журналистская

профессия оправдывала интерес к получению информации обо всем, что там происходило. С новым другом — красивым, видным негром — я мог спокойно посещать любые места, куда не решился бы ступить ногой даже американский газетчик. В популярном ночном клубе Гарлема я, случалось, бывал единственным белым в шумной, раскованной темнокожей толпе.

Приблизительно в то же время я познакомился с двумя общественными фигурами в левом движении, ставшими позже невольными соучастниками мероприятия резидентуры.

Чарльз Аллен, в прошлом офицер военной контрразведки США, из-за левых убеждений вынужденный уйти «на гражданку», попал в мое поле зрения после того, как Марзани сообщил о намерениях Аллена написать книгу о нацистских военных преступниках, бежавших после войны на Запад. Через месяц мы уже обсуждали с Алленом перспективы издания книги. Не хватало документальных материалов, и я запросил Центр, откуда вскоре получил желаемое. Так началось наше взаимодействие, основанное на благородной заинтересованности обеих сторон разрушить осиные гнезда нацистов, окопавшихся в США. Аллен воспринимал меня как советского журналиста, пытающегося сделать имя на актуальной проблеме, и я всячески стремился укрепить его именно в этом мнении. Мы не скрывали ни от кого нашу связь, сдружились семьями, ездили на дальние океанские пляжи.

После публикации брошюры «Нацистские военные преступники среди нас» Аллен начал работу над темой, также вписывавшейся в нашу программу разоблачения милитаризма и реваншизма в Западной Германии. Его

труд «Хойзингер из 4-го рейха», связывавший нацистское прошлое этого генерала с его командованием вооруженными силами НАТО, имел пропагандистский успех и, возможно, сыграл роль в уходе Хойзингера в отставку.

Другим человеком, к которому я испытывал искреннюю привязанность, но одновременно использовал в интересах КГБ, был М. С Арнони, издатель журнала либеральной, пацифистски настроенной интеллигенции «Майнорити оф уан». Среди спонсоров журнала числились видные общественные деятели и ученые, такие, как Лайнус Полинг, Альберт Швейцер, Питирим Сорокин, Максвелл Гейзмар, генерал Хестер и другие.

Сам Арнони чудом выжил в нацистских лагерях, закончив войну в Освенциме. Немецкие врачи использовали его для медицинских экспериментов, и все тело его было изуродовано. Арнони несколько лет жил в Израиле, затем работал в американской редакции Британской энциклопедии. Человек высокого интеллекта, он был превосходным собеседником и спорщиком. Его ярко выраженные сионистские симпатии, связь с политическими лидерами Израиля не мешали мне поддерживать с ним дружеские отношения. Напротив, как источник информации о положении в правящей израильской верхушке, о настроениях в просионистских кругах США он был незаменим. Со своей стороны, я вел линию на то, чтобы использовать журнал как проводник советской внешнеполитической пропаганды. С помощью Арнони удалось поместить в журнале ряд статей, подготовленных в Москве, он же по моей просьбе опубликовал в виде платного объявления в «Нью-Йорк таймс» антивоенные материалы, также сработанные в

КГБ. Одно из таких объявлений обошлось в тысячи долларов, взятых в кассе резидентуры.

Журнал постоянно испытывал нужду в деньгах. Они поступали из различных источников, в основном в виде пожертвований. Я предложил как-то стать одним из доброжелателей и внести несколько тысяч долларов в качестве безвозмездного дара. Арнони долго колебался, но потом дал согласие. Чтобы крупная сумма взноса не бросилась в глаза, я рекомендовал разбить ее на десяток мелких и приписать вымышленным лицам.

Наши ежемесячные встречи с Арнони с течением времени становились все более бурными. Разгоравшаяся вьетнамская война и сдержанная позиция СССР в конфликте вызывали у него недоумение. «Как можно играть свадьбу с Америкой, когда во Вьетнаме каждый день идут похороны!» — восклицал Арнони, и его тонкое, худое лицо искажалось неподдельным гневом. Мне трудно было с ним спорить. Я и сам не понимал, почему мы не займем более жесткую позицию по отношению к США.

Не скатываясь на китайскую точку зрения о якобы существующем сговоре советского руководства с империализмом, я тем не менее усматривал справедливость в некоторых упреках в наш адрес со стороны левых кругов. На этой почве у меня даже возник крупный спор с коллегой Володей Костырей, безапелляционно обвинившим китайцев в предательстве международного коммунистического движения. Я ответил опасной для того времени ремаркой, что предателями движения являемся мы сами.

Многих тогда беспокоила позиция СССР не только на Дальнем Востоке, но и в Карибском бассейне, где Фидель

Кастро подвергался постоянной угрозе вторжения из США. После провала авантюры в заливе Свиней резидентура постоянно держала на контроле любые сигналы, касающиеся обстановки вокруг Кубы.

Для того, чтобы получить более реальное представление о настроениях и планах кубинской эмиграции в США, с моим коллегой Михаилом Сагателяном, работавшим в Вашингтонском отделении ТАСС, я вылетел в Майами на ежегодную конференцию американских профсоюзов. Пару раз мы побывали на пленарных заседаниях, а остальное время проводили в барах и других местах скопления эмигрантов, представляясь западными журналистами, аккредитованными на конференции. Разузнав о существовании организации, занятой подготовкой к новому вторжению, мы решили навестить ее штаб-квартиру.

На арендованной автомашине мы подкатили к небольшому особняку на окраине города. В подъезде нас встретил вооруженный охранник, которому мы представились как корреспонденты турецкой и исландской газет, освещающие ход профсоюзной конференции. Чернявый армянин Миша вполне сходил за турка, а Исландию я выбрал потому, что был уверен — никто среди кубинцев не представляет, где находится эта страна и на каком языке там говорят.

На втором этаже нас приняли активисты антикастровского движения и наперебой начали делиться своими невзгодами, отсутствием должной поддержки со стороны правительства США и мировой общественности. Мы в свою очередь выражали

«нетерпение» медлительностью антикастровских сил, разобщенностью, царящей среди них.

«Когда же вы наконец начнете? — настойчиво повторяли мы. — Весь свободный мир ждет ваших решительных акций по свержению коммунистической диктатуры». Для того чтобы доказать необходимость своего существования, наши собеседники старались убедить нас, что они не бездействуют. Нам вручили листовки, меморандумы и прочую подобную литературу, а потом предложили дать свои почтовые адреса, дабы мы могли и впредь получать их печатную продукцию.

Здесь произошла маленькая заминка, не ускользнувшая от внимания любезных хозяев особняка. Давать ложные адреса и фамилии означало поставить себя под угрозу репрессий со стороны американских властей, если обман будет обнаружен. Мы предложили в ответ названия гостиниц, в которых якобы остановились, и со словами благодарности за теплый прием поспешили к выходу, увидев при этом подозрительный косой взгляд одного из кубинцев, прошептавшего что-то другому. Тот взялся за телефонную трубку, и мы почувствовали, что нам несдобровать, если вовремя не унесем ноги. Из подъезда мы выскочили почти бегом и, оглянувшись, увидели, как кубинцы, возбужденно переговариваясь, собираются внизу.

Наша машина стояла за углом. Через несколько секунд, взревев мотором, она унесла нас за пределы опасной зоны. В Центре неплохо оценили итоги поездки.

Поиск источников информации по Кубе не ограничился флоридским вояжем. В Нью-Йорке я случайно познакомился с дочерью владельца антикварного магазина «Аргоси», которая состояла в

любовной связи с кубинским летчиком, совершавшим полеты на Кубу для выброски там диверсионных групп и амуниции. Полученные от нее сведения дополнили картину лихорадочных усилий антикастровских элементов, намеревавшихся повторить высадку вооруженного десанта.

Чуть позже в мое поле зрения попала общавшаяся с кубинцами перуанская писательница Катя Сакс, автор нескольких популярных романов на испанском и английском языках. Дочь проживавшего в Лиме банкира, выходца из России, она была далека от политики, и мне пришлось выступать перед ней в качестве русского эмигранта. Под этой личиной она представляла меня своим многочисленным знакомым, жившим с богемным шиком и вращавшимся в самых различных кругах. Кажется, через Катю я вышел на племянника русского писателя Леонида Андреева — Николая. Этот молодой человек, обладавший крупным состоянием, никогда не был в России в мечтал посетить родину своих предков. Я быстро нашел ключ к его сердцу, но по возвращении из московского отпуска узнал из газет, что он погиб в автокатастрофе.

В 1962 году Барковского на посту резидента сменил Борис Иванов. В прошлом сотрудник контрразведки, начавший работу в органах еще в предвоенные годы, Борис Семенович принадлежал к тому типу руководителей, которые не останавливаются, достигнув определенных высот. Всегда подтянутый, доброжелательный, он много времени уделял самообразованию, неустанно возился с подчиненными, наставляя их, как нужно обзаводиться связями, выуживать информацию. Внимателен он был и к

семейным делам, и к личным нуждам сотрудников резидентуры, чем завоевал авторитет и доверие.

К тому времени сменился и заместитель резидента по политической разведке. На место Кулебякина пришел Николай Багричев, а затем Михаил Полоник. Мне поручили восстановить утерянную связь с агентом из числа сотрудников Секретариата ООН, греком по национальности. Я несколько раз выходил на «вечную явку» — обусловленное место встречи, предусматривающее четко зафиксированную периодичность с обязательным паролем при первичном контакте. Однако агент не появлялся, и Москва рекомендовала мне проявить инициативу в поиске.

После упорной работы с телефонными справочниками, посещения ряда адресов я, наконец, нашел злополучного грека, завербованного, судя по официальным документам, несколько лет назад, но, кажется, не совсем представлявшего, что от него хотят. Я же был несказанно рад, что выполнил задание Центра, и исходя из оперативных характеристик грека с ходу изложил перед ним перспективу нашего сотрудничества. Он должен будет заводить знакомства с женским персоналом миссии США при ООН, либо молодыми девушками, желающими работать в госдепартаменте, угощать их, всячески одаривать, склонять, если надо, к сожительству, с одной конечной целью — получать от них закрытую, предпочтительно документальную информацию, которая будет хорошо оплачиваться.

Мой грек по кличке «Помпеи» воспринял задание без возражений. Кажется, ему даже понравилась идея вольной жизни за чужой счет. Поблескивая очками и возбужденно хихикая, он предложил учредить в

Нью-Йорке небольшую туристскую фирму, которая будет служить крышей для его операций. Москва идею одобрила и вскоре прислала несколько тысяч долларов для снятия помещения и мебелировки. Открывалась новая страница в моей оперативной жизни.

Однако прямые выходы на сотрудниц госдепа не давали результатов. Либо невзрачная внешность моего помощника отталкивала их, либо сам он водил меня за нос. Лишь через год подвернулась одна молодая учительница, которую грек прибрал к рукам для удовлетворения своих мужских прихотей. Я порекомендовал ему попытаться устроить ее в госдепартамент. С этого и началась подготовка к «внедрению» — классическая схема использования агента-вербовщика под чужим флагом для продвижения своего человека в нужный объект.

На первых порах работа с греком не вызывала отрицательных эмоций. Только раз меня кольнула мысль, что он ведет двойную игру. По делам своей, то есть нашей, туристской фирмы он собрался ехать в Испанию и в ходе обсуждения плана поездки как бы невзначай бросил: «Я мог бы отвезти письма или деньги вашим нелегалам в Испании. Ведь связь с людьми там наверняка затруднена». Я насторожился. Никакие аспекты нелегальной работы мы никогда ранее не затрагивали, но западные контрразведки всегда проявляли к этой стороне деятельности КГБ особый интерес. Подавив возникшее было сомнение, я заметил, что с испанской сетью проблем нет.

Втянувшись в дела службы, я все меньше внимания уделял работе по прикрытию. Виталий Кобыш взвалил на себя основной груз ночных репортажей, и я мог спокойно

трудиться на стороне. Но счастье было скоротечно. После нескольких месяцев пребывания в США Кобыша неожиданно отозвали в Москву. Как выяснилось позже, в телефонном разговоре с Радиокomiteетом он упомянул, что забыл привезти открепительный талон для постановки на партийный учет в советском представительстве при ООН. Кто-то из московских «доброжелателей» Кобыша расценил его разговор как разглашение партийно-государственной тайны. По абсурдному порядку, заведенному ЦК КПСС, находившимся в заграничных командировках советским гражданам запрещалось упоминать о наличии партийных ячеек в советских коллективах за рубежом. Так я снова остался один.

Поскольку вопрос о приезде замены затягивался, я решил сменить адрес корпункта и переселиться поближе к своим братьям по перу, в более скромную трехкомнатную квартиру в доме на углу Риверсайда и 73-й улицы. Там я попал в тесный круг собкоров советских газет и стал частью этого круга. Я сдружился с правдистом Борисом Стрельниковым, известинцем Станиславом Кондрашовым, тассовцем Сергеем Лосевым. Последний, как и его американский сослуживец Гарри Фримен, помогал мне решать различные вопросы, выходящие за пределы его корреспондентских обязанностей. Полагался я и на поддержку завбюро ТАСС в Нью-Йорке Величанского.

По вечерам мы изредка собирались вместе на квартире у кого-нибудь из нас и вели долгие страстные споры о будущем своей страны. Все мы искренне принадлежали к числу хрущевских сторонников, но каждый выражал отношение к происходящему по-своему. Кондрашов читал наизусть стихи Евтушенко,

Вознесенского и Мартынова. Его гражданский пафос укладывался тогда в яркие поэтические строки знаменитых поэтов. Стрельников, переживший тяжелое детство и прошедший солдатом войну, отличался мягкостью суждений, теплой товарищеской улыбкой, стремлением к компромиссам. Маленький, веселый Лосев заводился с полоборота, шумел, злился, но тут же отходил и наливал себе свежую порцию виски. Наши жены осваивали тогда твист, и эти казавшиеся бесконечными застолья завершались лихими плясками под ритмичные завывания Чабби Чеккерса.

Кажется странным, но почти тридцать лет назад мы обсуждали те же проблемы, что и поколение 90-х годов. Историческая правда, устранение последствий культа личности, демократизация, реформы в экономике, способные стимулировать инициативу и творческий труд, сохранность урожая, строительство предприятий перерабатывающей промышленности, дорог, мощных холодильников — вот что волновало нас, советских граждан, наблюдавших со стороны процесс преобразований в далеком советском доме. Конечно, все наши дискуссии строились на безусловном признании и поддержке провозглашенной партией программы ускоренного построения коммунизма в СССР.

Только раз в этой дружеской компании мне пришлось жестоко схлестнуться в споре из-за повести Александра Солженицына «Один день Ивана Денисовича». Главным оппонентом выступила жена Величанского, обозвавшая меня «бериевцем» из-за того, что я не выразил восхищения содержанием повести. Действительно, начитавшись раньше воспоминаний бывших зеков советских концлагерей, я воспринял «Ивана Денисовича» как талантливо написанное — но не

на уровне Льва Толстого — произведение. А именно так захлеб писали о Солженицыне некоторые советские литературные критики. Мое замечание о том, что герои Солженицына бесцветны, получило оглушительную отповедь. Друзья-журналисты, однако, слишком хорошо меня знали, чтобы всерьез воспринимать оскорбительный выпад Величанской.

Весной 1962 года мы с Кондрашовым решили посетить Западное побережье США. Поводом стало открытие в Сиэтле Всемирной выставки «XXI век». До Чикаго мы добирались одним поездом, потом пересели на другой. С высоты двухэтажного вагона с застекленной крышей мы обозревали бескрайние просторы Америки: пробудившиеся от зимней спячки прерии и зеленеющие леса, величественные Скалистые горы и могучие полноводные реки.

Выставка была задумана как демонстрация американских достижений в науке. После запуска в космос Юрия Гагарина США испытывали нечто вроде национального унижения, и организаторы экспозиции проявили немало изобретательности и выдумки, чтобы наглядно представить прогресс в космических исследованиях и развитии высоких технологий. Осматривая многочисленные, эффектно оформленные павильоны, мы нос к носу столкнулись с шахом Ирана Резой Пехлеви и его женой Сорейей, почтившими выставку своим присутствием.

В Сиэтле нас познакомили с местным миллионером, пожелавшим показать свое производство. На вопрос, сколько времени добираться до его фабрики, он небрежно махнул рукой: «Четверть часа, не больше». Через несколько минут мы подъехали к небольшой

похожей на сарай постройке и зашли внутрь, полагая, что это и есть обещанная фабрика.

Каково же было удивление, когда мы увидели асфальтированную площадку и стоящий на ней четырехместный спортивный самолет. Наш хозяин сел за штурвал — и вот мы уже в воздухе. Внизу замелькали предместья города, потом потянулись лесные массивы и сверкающие меж деревьев прозрачные реки. Так же быстро самолет пошел на снижение и вскоре покатился по узкой просеке среди гигантских сосен и елей. Оказывается, наш миллионер делал деньги на лесе. Его маленькая лесопилка перерабатывала древесину, добываемую тут же на участке. Все предприятие, включая рабочую столовую в деревянном уютном домике, где мы отобедали вместе с лесорубами, размещалось очень компактно и считалось безотходным. Здесь даже опилки паковали в бумажные мешки и отправляли для продажи.

Эта мимолетная встреча с представителем малого бизнеса Америки оставила в сознании неизгладимый след. Я уже посещал крупные американские предприятия, в том числе автомобильный завод Форда. Теперь я увидел американского предпринимателя в действии — не карикатурного обжору с сигарой во рту, а подтянутого, динамичного, открытого и простого в общении как с иностранцами, так и с собственными рабочими. Наверное, такие люди и строили Америку.

В Сиэтле мы взяли напрокат машину и двинулись на юг. На пару дней задержались в Портленде, откуда проследовали в столицу штата Орегон Сэлем, где нас принял Марк Хэтфилд, молодой, элегантный губернатор, сторонник американско-советского сближения. Мы

заглянули в индейскую резервацию и поговорили с вождями местного племени о проблемах, с которыми они сталкиваются. Затем повернули на запад и направились в сторону Тихого океана.

До сих пор перед глазами возникает лента шоссе, перерезающая огромное ярко-зеленое поле, окаймленное живописными холмами с заснеженными пиками гор вдали, море цветущих яблонь. Вокруг благодатный, вливающийся волнами через открытые окна воздух весны, не видно ни души, кроме... кроме автомашины ФБР, несущейся за нами на почтительном расстоянии от самого Сиэтла. Вместе с нами сотрудники контрразведки любовались холодными волнами океана, пустынными пляжами, бесподобными ландшафтами Орегона и Северной Калифорнии. Оттуда мы снова повернули на восток и помчались в столицу разводов город Рено — не соперник Лас-Вегаса, но тоже игорный центр Америки.

Ночью в пустыне я развивал скорость до ста миль в час. Станислав нервно поглядывал на спидометр, но я его успокаивал: вокруг песок, впереди ни одной машины, бензин на исходе. В худшем случае мы даже не взорвемся, а люди ФБР, несущиеся за нами сзади, помогут.

Так мы добрались до Рено, ходили по ночным казино, бесплатно пользуясь угощением с подносов длинноногих красавиц, побаловались с «одноруким Джеком», сначала выиграв долларов по двадцать, а потом проиграв все наличные деньги.

Здесь мы сдали арендованную машину и вылетели самолетом в Лос-Анджелес, а затем в Сан-Франциско. В городском Капитолии нас принял мэр Джордж Кристофер, выступавший, как и Хэтфилд, за развитие

дружеских контактов с СССР. В память о прекраснейшем городе мира он преподнес нам ключи с пожеланием вернуться в Сан-Франциско вновь.

Май — начало дачного сезона для большинства советских семей в Нью-Йорке. Завершив путешествие по Западному побережью, мы бросились подыскивать подходящие по месторасположению и цене домики на берегу залива Лонг-Айленд. Перед начальством эта проблема не стояла. Оно со своими чадами проживало в Гленкове — живописном местечке в часе езды на машине от Нью-Йорка. У всех остальных был выбор: либо коптиться в каменных громадах города, либо за весьма крупную сумму арендовать одну-две комнаты за его пределами. Первые два лета я снимал полдома в Райбиче — прибрежном поселке, знаменитом своим развлекательным центром с каруселями, «американскими горами» и огромным плавательным бассейном.

В этот сезон мы перебрались в Бейвилль, тоже на Лонг-Айленде, но ближе к Гленкову. Наш дом стоял на берегу залива, в ста метрах от воды. В свободные часы, а они не обязательно приходились на уик-энды, я ловил на удочку камбалу, угрей, морского окуня, а когда выходил на лодке подальше в море, то и мелких акул.

С Бейвиллем связаны теплые воспоминания о безмятежных днях, которые удавалось вырвать из привычной напряженной суеты, пикниках и вечерних прогулках с журналистской братией, сотрудниками Секретариата ООН (некоторые из них, как, например, Александр Бессмертных, достигли впоследствии больших высот в общественной и государственной жизни).

В конце лета с семьей я отбыл в отпуск на родину. Недельное путешествие через Атлантику на

фешенебельном лайнере «Куин Мэри», несколько дней во Франции.

После Америки Европа показалась мне бедной, а иные уголки Парижа — нисколько не чище, чем в Ленинграде или Москве.

В одном парижском ресторане нам подали красное бордо в откупоренной бутылке. После посещения могилы Наполеона, где нас, как иностранцев, прилично надул какой-то служащий, я попросил официанта открыть бутылку в моем присутствии.

О, какой уничтожающий взгляд я получил в ответ! Как в лучших ресторанах своей страны. В отличие от московских официантов, однако, француз не разразился бранью, но отошел к бару за новой бутылкой, и лишь издалека я уловил в его возбужденном обмене репликами с приятелем знакомые английские слова: «Проклятые янки!»

Раздражение, появившееся было у меня в связи с неудобствами проживания иностранцев в Париже, немедленно улетучилось. Мне показалось, что я вновь нахожусь при исполнении служебных обязанностей и только что провел, совсем нечаянно, активное мероприятие по усилению франко-американских разногласий. В те годы де Голль утверждался в независимом от США внешнеполитическом курсе и Москва энергично подыгрывала антиамериканским настроениям во Франции.

Знакомство с Парижем удачно завершилось ночной встречей с шофером такси. Первые минуты после посадки в машину он молчал, а потом заговорил с нами на чистом русском языке. Я не удивился, зная, что многие эмигранты — выходцы из России — промышляют

извозом. Неожиданно наш таксист, видимо не удовлетворенный моей вялой реакцией, выпалил: «Я враг народа». Почувствовав, что я пропустил его заявление мимо ушей, он вновь настойчиво и с вызовом повторил: «Я враг народа». — «Ну и что? — спросил я равнодушно. — Вы что, попугать нас хотите?» — «Я бежал из России в 44-м году и приговорен к расстрелу как изменник Родины. За такими, как я, ваши люди охотятся», — объяснил таксист. «Сейчас другое время, — возразил я. — Вы можете вернуться домой, и никто вас не тронет, если, разумеется, ваши руки не запачканы кровью преступлений, совершенных вместе с нацистами». — «Странный вы человек, — задумчиво произнес мой собеседник. — Мне случалось раньше подвозить советских, но все они шарахались, как только узнавали, что я из послевоенных эмигрантов. Неужели все так изменилось в стране после смерти Сталина?»

Я не успел ответить, как он предложил: «Поехали ко мне домой, жена сделает нам ужин. Там мы и поговорим». Было за полночь, но я колебался недолго: любопытство взяло вверх. Через полчаса мы уже сидели за столом в маленькой опрятной комнате двухэтажного дома где-то на окраине Парижа. Хозяйка тоже оказалась русской. С мужем познакомилась в лагерях для рабочих, вывезенных с Востока. Домой после войны вернуться не решились, опасаясь новых лагерей. Переехали на жительство во Францию, да так и осели в этой стране, хотя, по их впечатлениям, Франция — не лучшее место для желающих начинать жизнь сначала.

Потом мы долго ездили по предутреннему Парижу, его безмолвным площадям, авеню и бульварам, кварталам люмпенов и проституток. А днем наш поезд тронулся на Восток. Мы проехали Бельгию и Западную

Германию незаметно... И только топот сапог среди ночи, разбудивший нас на границе ФРГ и ГДР, напомнил, что мы едем в другой мир. То же повторилось при въезде в Восточный Берлин. Вплоть до Бреста пограничники ГДР, Польши и Советского Союза без особых церемоний вторгались в купе, внимательно осматривали наши заспанные лица, подозрительно ощупывали взглядом багаж.

В октябре 1962 года грянул Карибский кризис. С растущей тревогой я вслушивался в иностранные радиоголоса, сопоставляя известные в КГБ данные о поставках ракетного оружия на Кубу с официальными заявлениями советских руководителей.

В столице социализма царило благодушное спокойствие, а в это время американские военные корабли на полном ходу шли на перехват советских транспортных судов с зачехленными ракетами на борту. У меня впервые в жизни появилось ощущение, что война между СССР и США возможна, не уступи один из руководителей здравому смыслу. В тот момент мне было безразлично, кто сделает это первым. Жизнь казалась на грани уничтожения, и разговоры о престиже теряли всякий смысл. Соглашение между Хрущевым и президентом Кеннеди, положившее конец опасной конфронтации, стало триумфом здравого смысла.

Возвратившись в Нью-Йорк, я вновь занялся привычными делами. На горизонте замаячили два новых вербовочных объекта. Один — студент, подобно Николасу, рекомендованный для изучения ветераном Компартии США, быстро дал согласие на сотрудничество «в интересах сохранения мира». Другой — молодой ученый — оказался твердым орешком, но его активное

участие в пацифистском движении в условиях разгоревшегося вьетнамского конфликта внушало надежду. Наши ожесточенные споры о преимуществах тайной борьбы в противовес открытой, когда любой шаг прогрессивно настроенных лиц находится под контролем ФБР, возымели в конце концов должный эффект.

Неплохо развивались контакты и по официальной линии. На ежегодном собрании иностранных журналистов-международников я был избран вице-президентом Ассоциации корреспондентов, аккредитованных при ООН. Мне не составляло особого труда взять интервью у генерального секретаря ООН У Тана или министров иностранных дел, прибывающих на сессии Генеральной Ассамблеи ООН, у советских представителей при ООН Валериана Зорина, Василия Кузнецова, Аркадия Соболева или любого из послов.

Событием в моей журналистской жизни стало интервью с мятежным португальским генералом Дельгадо, бросившим вызов диктатуре Салазара и вынужденным затем бежать в Бразилию. Однажды по Московскому радио прозвучал получасовой репортаж «Субботний вечер в Нью-Йорке», в котором я использовал записи бесед с рядовыми американцами на улице, в барах, у газетных киосков.

Налаженный ритм оборвался, когда прибыл наконец мой новый напарник Александр Дружинин. Поселился он рядом, в том же «Шваб-хаусе» на Риверсайде. Ему надо было зарабатывать имя, да, в сущности, корреспондентская работа была его единственным занятием. В отличие от Кобыша он не проявлял особого желания взаимодействовать и тем более прикрывать мои

тылы. Зато у меня появилось больше свободного времени для сбора информации, которой интересовался КГБ.

Обросший многочисленными связями, с несколькими агентами на контакте, я чувствовал себя как рыба в воде. Правда, агентов-документальщиков, способных обеспечивать Москву секретной информацией из главных объектов разведывательного проникновения, я так и не приобрел, но кто из моих коллег мог похвастаться этим? Большинство из них вообще никого не вербовали и не видели живого агента в глаза. Исключая линию научно-технической разведки, нью-йоркская резидентура не блистала успехами. Как-то удалось заполучить от случайного источника секретные документы из английской миссии, несколько сообщений передал человек из местного отделения ФБР. В основном же доклады в Центр базировались на анализе многочисленных, нередко противоречивых сведений, добытых из официальных документов, слухов, сплетен, догадок и более или менее квалифицированных прогнозов.

С приходом в Белый дом Джона Кеннеди творцам советской внешней политики пришлось немало попотеть, чтобы угнаться за непредсказуемым «искрящимся идеализмом» молодого президента. Хрущевские инициативы на первых порах поражали воображение Запада своей всеохватной масштабностью. Они ставили с тупик опытных госдеповцев, привыкших к однообразию сталинской дипломатии. Кубинский кризис продемонстрировал недооцененную способность хозяина Белого дома перехватывать инициативу и противопоставлять блефу твердый, но сдержанный курс.

Хотя я не принадлежал к числу пылких поклонников Кеннеди, но, как и миллионы людей во всем мире, вздохнул с облегчением и благодарностью, когда летом 1963 года руководители США, СССР и Великобритании подписали договор о запрещении всех ядерных испытаний, кроме подземных.

22 ноября в корпункте Московского радио планировалось провести прием для местного журналистского корпуса. Накануне мы закупили выпивки и всяческой снеди, разослали приглашения нескольким десяткам человек. После полудня я зашел в соседний супермаркет, чтобы купить ящик содовой воды. Внезапно степенно прохаживавшиеся между продуктовых рядов покупатели замерли, а затем ринулись в направлении выхода. Я не успел расслышать их взволнованных восклицаний; кто-то громко включил радио. «В Далласе совершено покушение на президента Кеннеди, в тяжелом состоянии он направлен в госпиталь «Паркленд», — услышал я торопливый голос диктора.

«Боже мой! Что происходит? Почему, зачем?» — эти мысли обгоняли мой стремительный бег в сторону дома. Здесь у телевизора уже возбужденно обсуждали происшедшее. Через час объявили, что Кеннеди скончался.

Все планы на ближайшие дни были немедленно отменены. Я помчался в представительство, чтобы выяснить реакцию Москвы и указания резидента. Имя убийцы Ли Харви Освальда никому ничего не говорило. Никаких сведений не имелось и о его жене Марине.

Через сутки Центр «молнией» сообщил, что убийство Кеннеди следует рассматривать как проявление активности правых, профашистских элементов в США, не

заинтересованных в улучшении советско-американских отношений. В шифровке указывалось, что Освальд известен местным органам КГБ, которые подозревали его в связи с ЦРУ и изучали на предмет выявления возможной подрывной деятельности. Резидентуре рекомендовалось провести соответствующую работу в дипломатическом корпусе и среди журналистов, чтобы отвести нелепые домыслы о связи Освальда с КГБ.

В те дни вся нью-йоркская команда Бориса Иванова вышла «в свет», чтобы изложить позицию Москвы в связи с трагической смертью президента. У нас даже не возникало сомнений, что Освальд — продукт американской системы, обозленный неудачник, совершивший преступление либо в одиночку, либо в качестве наемника консервативных сил. Предположение о том, что за Освальдом стоял КГБ, выглядело просто смехотворным. По этой причине резидентура высказала мысль о желательности направления американским властям официальных материалов, которые могли бы рассеять любые сомнения американской стороны по данному вопросу. Для того, чтобы довести мнение советского руководства до правительственных кругов США, я использовал американского журналиста Тэда, настойчиво навязывавшего мне свое знакомство, очевидно по заданию ЦРУ или ФБР. Сам он представлялся как независимый репортер мало кому известной радиостанции. Всякий раз, когда на международной арене сгущались тучи, Тэд приглашал меня на ленч или коктейль для того, чтобы выведать обстановку и мнение советской стороны о происходящем.

Однажды он объявился в Бейвилле, разыскав, видимо не без помощи своего начальства, мою дачу, и пригласил «к другу», проживавшему по соседству. В

роскошной вилле с мраморными ваннами и позолоченными кранами Тэд и его приятель, назвавшийся юристом, задавали мне вопросы, явно выходящие за рамки светской беседы. Не желая портить отношения с тем, кого я считал удобным каналом для доведения выгодной советской стороне информации, я отшучивался. По всей вероятности, эта гибкость была истолкована кое-кем как мягкотелость, податливость. Через неделю от Тэда последовало еще одно приглашение, на этот раз на квартиру другого юриста. Я почти не сомневался, что предстоящий обед будет использован для вербовочного зондажа, и решил действовать так, чтобы отбить охоту впредь попусту тратить на меня время.

Чинно рассевшись за столом, мои собеседники вскоре отодвинули тарелки в сторону, сложили салфетки и повели разговор в нужном им русле. Одной из горячих тем той поры была угроза Хрущева заключить мирный договор с ГДР, и я не преминул воспользоваться официальными заявлениями советского руководства по этому поводу, чтобы начать контратаку.

«Мы понесли колоссальные потери в годы второй мировой войны. Только в моей семье погибло пять человек, другие семьи вообще перестали существовать. У советского народа, как народа-победителя, невозможно отнять право решать послевоенное устройство Германии. Те в США, кто сомневаются в нашей решимости дать отпор любым посягательствам Запада, вводят в заблуждение самих себя и своих союзников». Этими словами я закончил изложение собственных взглядов по проблеме, не оставив никаких сомнений у моих оппонентов, что их замыслы в отношении моей персоны

не имеют перспектив. С той памятной беседы Тэд потерял ко мне всякий интерес.

В феврале 1964 года из Центра пришло тревожное сообщение: в Женеве при невыясненных обстоятельствах исчез прикомандированный к советской делегации сотрудник Второго главного управления КГБ Юрий Носенко. Несколько днями позже поступило дополнительное разъяснение: Носенко изменил Родине и находится в США. Необходимо принять все меры, чтобы обезопасить деятельность резидентур КГБ в Америке, так как Носенко располагает информацией, могущей нанести ущерб интересам разведки.

Резидентура загудела, как растревоженный улей. Начались досрочные откомандирования работников, знавших Носенко лично. Затем пришел список сотрудников, которых Носенко мог опознать по косвенным признакам. Среди них числился и я. Это был сюрприз. Носенко я никогда не встречал, его имени даже не слышал. При чем тут я?

Оказалось, что Носенко, работая в отделе по иностранным туристам, однажды имел доступ к переписке «Кука» со своей сестрой в Тимашевской. Произошло это в результате задержания американского туриста на почве его гомосексуальной связи с советским гражданином. Бдительные чекисты, переодетые в милицейскую форму, тут же учинили обыск и обнаружили письмо «Кука», адресованное Луизе. Последующая проверка Луизы со стороны контрразведки наткнулась на запретительный окрик ПГУ. При анализе объема сведений, которыми мог располагать Носенко, это обстоятельство привлекло внимание следователей, о чем они информировали ПГУ. Так я попал в число лиц,

подлежавших отзыву из командировки «на всякий случай и во избежание провокации».

В марте, незадолго до отъезда на Родину, меня пригласил к себе Борис Иванов. «Разговор сугубо конфиденциальный, — начал он. — На днях в госдепартаменте состоится встреча наших посольских работников с Носенко. Есть предложение подключить тебя к этой встрече». Я пожал плечами: «Если это нужно, о чем вопрос?» Неожиданно последовал вопрос: «Ты как, стрелять еще не разучился? Сможешь на встрече с предателем прикончить его?» — «Конечно, смогу», — ответил я, еще не сознавая, что это какая-то авантюра. Ведь это же тюрьма, и надолго. У меня нет диппаспорта, никакой защиты. Как бы угадывая мои мысли, Иванов предложил: «Мы тебя потом выручим — обменяем на кого-нибудь, не бойся». — «Я не боюсь, — сказал я твердо, — я готов».

Думаю, что идея моего участия в расправе с Носенко исходила от Иванова лично, если, разумеется, это не была изощренная форма проверки моей лояльности. В любом случае в Центре едва ли согласились бы на такой скандал, да и на процедуры свиданий в госдепартаменте с советскими беглецами корреспондентов никогда не приглашали.

Так или иначе, моя встреча с Носенко не состоялась.

Через две недели вместе с семьей я отбыл в Москву.

Глава IV

*Иди, и в спутники возьми
победу.*

К. Марло

*В пустыне нет дорог.
Прямая может оказаться
спиралью, а кружение
— кратчайшим путем.*

И. Эренбург

И снова я в державной столице, снова хожу по коридорам Лубянки, восстанавливаю прерванные знакомства, привыкаю жить как все. Помнится, я без сожаления покидал Нью-Йорк после учебы в Колумбийском университете. Теперь же с отъездом из Нью-Йорка как будто оторвался кусочек моего сердца. Во сне я вижу изумрудные лужайки Риверсайда, неоновые огни Бродвея, пестрые толпы молодежи в Гринвич-Виллидж. Я взбираюсь по склонам парка Форт-Трайон и люблюсь величиим Гудзона. Как магнит, притягивал к себе уютный, тихий уголок в верхнем Манхэттене с миниатюрным музеем средневекового искусства и музыкой под стать.

У меня появилась вторая дочь — рыженькая Юля. В свидетельстве о рождении ей хотели записать Москву как место появления на свет. Я был против: она же родилась в Нью-Йорке. «Как бы это не сказалось потом на ее биографии», — настаивал работник загса. «Нет, оставьте, как есть на самом деле», — упорствовал я.

В Москве наше пополнившееся семейство ожидала трехкомнатная кооперативная квартира. Я купил ее, не глядя, по телефону, по ходу разговора с одним из руководителей Радиокomiteта. Удивительно, но предложение об улучшении жилищных условий поступило не от своих. В КГБ мне выделили

однокомнатную квартиру на окраине города еще в шестидесятом году. Мое начальство, по-видимому, считало этот вопрос закрытым, и я, не желая унижаться перед ним, с радостью принял протянутую руку помощи со стороны.

Боже, какое разочарование, почти шок испытали мы, когда приехали посмотреть наше новое пристанище! То были первые хрущевские пятиэтажки, убогие внешне и безобразные внутри. За семь тысяч кровных рублей я купил сарай с протекающими вдоль швов стенами и еле теплыми радиаторами. Хотелось бежать, бежать куда глаза глядят, но...

К счастью, в нашем расстройстве мы были не одиноки. Соседям по дому понравилась идея сноса стены, отделявшей туалет от ванной. Мы реализовали ее, едва въехав в квартиру. Началось паломничество новоселов, желавших посмотреть, как можно улучшить то, что, казалось, улучшению не подлежит.

Так мы познакомились с семейством Курнаковых. Глава ее, Николай, работал директором вещания на США. Родился он в Бруклине в семье эмигранта — белого офицера, покинувшего Россию во время гражданской войны. Отец люто ненавидел большевиков до тех пор, пока его не захватила волна антифашистских настроений, поднявшаяся в Америке в тридцатые годы. Тогда-то к нему и «подъехала» резидентура НКВД в США. В течение нескольких лет Курнаков-старший помогал спланировать патриотическое движение в поддержку Советской России, издавал газету просоветского толка. Когда на советско-германском фронте стало совсем туго, он устроил сыну нелегальное прибытие в СССР для вступления в действующую армию. После демобилизации

Николай попал в Радиокomiteeт в качестве диктора, да так и остался там. Отец же по окончании войны, после того как в США развернулась травля коммунистов и попутчиков, вместе с женой получил разрешение вернуться в Советский Союз. В течение нескольких месяцев они жили на даче МГБ под Москвой, где подвергались интенсивной проверке. Отец не выдержал тягостной обстановки недоверия и тяжело заболел. Незадолго до кончины он написал письмо Сталину, в котором выразил непонимание происходящего вокруг него и попросил решить, наконец, проблему устройства на постоянное жительство в СССР. В 1948 году Курнаковым дали двухкомнатную квартиру в районе «Сокола», но эта радостная весть застала в живых только вдову и сына.

С Николаем мы сдружились, что в немалой степени смягчило жесткость нашей посадки на московской земле.

Как «погорелец» — термин, заимствованный из житейской прозы, но применявшийся к досрочно откомандированным офицерам разведки, я оказался неожиданным гостем в Первом отделе. Руководство порешило, что мне лучше посидеть в Радиокomiteeте, закрепить достигнутые успехи на поприще журналистики. Но сначала мне предложили принять участие в «больших маневрах» — оперативной игре между ПГУ и Службой наружного наблюдения. По правилам игры, я должен был провести три разведывательные операции в городе: встречу с «агентом», закладку тайника и моментальную передачу — получение документов от «агента». Седьмое управление пускало в ход весь арсенал имеющихся у него физических сил и технических средств. Я — профессиональный опыт и сноровку. Ни одно из проведенных мероприятий не было зафиксировано

наружным наблюдением, хотя я не имел в своем распоряжении даже автомашины. За достигнутые успехи мне вручили грамоту Председателя КГБ, а затем отправили в Радиокomiteeт.

Здесь я возобновил работу в редакции международной информации, готовил выпуски «Последних известий» для советских радиослушателей, участвовал в «круглых столах» журналистов-международников. Из США я вывез несколько сот пластинок с записями классической и эстрадной музыки. Онигодились как иллюстративный материал для специальных программ радиостанции «Юность». Мои музыкальные очерки о Марлен Дитрих, Катерине Валенте и Митче Миллере впервые прозвучали в советском эфире в 1964 году. Я занялся было циклом передач об американском музыкальном фольклоре, но тут меня вновь вызвали в кадры. На этот раз предложили поучиться на курсах усовершенствования работников разведки.

В только что построенной комфортабельной вилле в пригороде Москвы таких, как я, подающих надежды молодых сотрудников собралось около тридцати. Нашим наставником оказался бывший резидент в Израиле и ФРГ Иван Зайцев, человек по натуре незлобивый и даже сердечный, сквозь пальцы смотревший на проказы уже взрослых учеников, использовавших курсы как своего рода санкционированный годичный отпуск. Единственное достоинство этой учебы состояло в том, что все мы могли откровенно поделиться опытом работы в разных странах в неформальной и откровенной обстановке.

Запомнился один день пребывания на курсах. 14 октября утром ко мне подошел бывший начальник

Первого отдела Александр Феклистов и, отозвав в угол, сказал вполголоса, почти шепотом: «Что-то произошло в Москве. Говорят, у нас на Лубянке по кабинетам ходят люди и снимают портреты Хрущева. Кажется, ему конец». С нетерпением мы ждали официальных объяснений по радио. Они последовали только на следующее утро.

Снятие Хрущева произвело удручающее впечатление, хотя, как и большинство советских граждан, я не был в восторге от последних двух лет его правления. Повсеместно проводилось возвеличивание личности Хрущева и успехов, якобы достигнутых под его руководством. Идея догнать и перегнать США по основным экономическим показателям, с самого начала казавшаяся нереалистичной, теперь уже становилась смехотворной. Страну наводняли анекдоты, едко высмеивавшие причуды Хрущева. Неуклюжее развенчание Сталина, необходимое по сути, но доведенное до уровня склоки и сведения счетов, не добавило авторитета новому вождю.

Шокировало, однако, то, как был устранен Хрущев. Всего несколько дней назад его бесстыдно восхваляли на всех углах, а через день после Пленума он превратился в ничто и его имя совершенно исчезло со страниц печати. С правлением Хрущева многие связывали свои надежды на демократические перемены в стране. Теперь стало ясно, что все это строилось на песке.

В декабре последовал еще один сюрприз: меня наградили орденом «Знак Почета» за успешную вербовочную работу. В ту зиму сотни чекистов получили различные поощрения, в том числе ордена и медали. Захватившая власть брежневская хунта, очевидно,

хотела этим шагом отблагодарить своих верных слуг за лояльность, проявленную при дворцовом перевороте. Впервые за многие годы награжденных пригласили в Кремль на церемонию вручения орденов и торжественный ужин. За одним столом с нами в Грановитой палате сидели Анастас Микоян, Александр Шелепин, Председатель КГБ Владимир Семичастный. Я никогда раньше не бывал в Кремле и испытывал понятное волнение, принимая награду из рук высшего руководства страны в бывших царских покоях.

В феврале 1965 года, за несколько месяцев до окончания курсов, мне предложили поехать в Вашингтон в качестве заместителя резидента по политической линии. Предложение явилось для меня полной неожиданностью. Всего год назад я был отозван из США по причине возможной расшифровки, а тут приглашают вернуться, да еще в руководящей должности и без завершения необходимой подготовки. Коллега с курсов посоветовал: «Давай согласие. Если ты завалишь работу, то формальная бумажка об окончании курсов не поможет, а если все пойдет нормально, никого твоя бумажка интересовать не будет».

В марте я уже приступил к работе в отделе печати МИД СССР. Дипломатическое прикрытие избавляло меня от возможных неприятностей в случае «прокола» по делу «Кука». Кроме того, для внешнего мира переход из журналистики в отдел печати, курировавший деятельность московских корреспондентов, аккредитованных при МИД, выглядел логично.

Тогдашний заведующий отделом Леонид Замятин принял меня благожелательно. Приглашал на встречи с иностранными журналистами, водил на официальные

приемы в Кремль, в западные посольства. В мае мне поручили сопровождение группы американских корреспондентов в поездке по Грузии с посещением только что открывшегося музея Сталина в Гори, а в июле я уже сидел в душном, прокуренном кабинете резидента КГБ в Вашингтоне Бориса Соломатина. Я не был знаком с ним раньше, но слышал о его крутом нраве, жесткой требовательности и бесцеремонности в отношениях с людьми. Характеристика совпала с реальностью, но страдала неполнотой. Соломатина отличала огромная работоспособность, аналитический ум, оперативная цепкость и здоровый житейский практицизм. Кажется, мы понравились друг другу. По крайней мере, с самого начала между нами установилось искреннее взаимопонимание.

По должности второго, а потом первого секретаря посольства я отвечал за работу с местной прессой. Такой выбор прикрытия открывал неограниченные возможности для контактов с любыми категориями должностных лиц и участия в самых разнообразных общественно-политических мероприятиях.

Первым делом я обзавелся связями в журналистском корпусе американской столицы. С патриархами политической журналистики — Уолтером Липпманом, Дрю Пирсоном, Чалмерсом Робертсом мне доводилось встречаться редко, но всякий раз я выступал скорее в роли берущего интервью, а не наоборот. Впрочем, случались и курьезы. Обычная практика всех резидентур КГБ — собирать отклики на крупные события внутренней жизни Советского Союза: съезды и пленумы ЦК КПСС, речи Генерального секретаря партии и его поездки за границу. После очередного «исторического» съезда я заехал на дом к Липпману с целью получить его оценку

только что завершившегося партийного форума. Уже начавший сдавать физически, Липпман, к моему разочарованию, ничего не знал о съезде. Он его попросту не интересовал. «Расскажите-ка лучше вы, что там у вас происходит, — попросил Липпман. — Я, право же, теряюсь в догадках относительно политики вашего руководства». Пришлось пересказывать содержание речи Брежнева на съезде и суть принятых решений. По ходу рассказа Липпман кивал головой, комментировал отдельные положения, задавал вопросы. Так формировалось представление об оценке ведущим американским обозревателем XXIII съезда КПСС, которая в совокупности с аналогичными высказываниями других политических и общественных деятелей США ложилась в основу аналитического сообщения КГБ в Политбюро. При подготовке такого рода сообщений, как правило, устранялись все моменты негативного или критического свойства. Советским лидерам доставлялось свидетельство того, что весь мир затаив дыхание следил за работой съезда и с удовлетворением воспринял его итоги.

Иной характер носила информация резидентуры по менее формальным политическим вопросам. Здесь ее отличали объективность и реализм. Мои регулярные встречи с осведомленными в международных делах корреспондентами уровня Джозефа Крафта и Мюррея Мардера из «Вашингтон пост», бывшего директора Информационного агентства США Карла Роуэна, советолога Виктора Зорзы, обозревателя лондонской «Таймс» Генри Брэндона помогали, хотя и из вторых рук, раскрывать некоторые закулисные стороны деятельности правительства США, получать трезвые оценки положения

и прогнозы вероятных шагов Белого дома в конкретных международных ситуациях.

Должность пресс-аташе позволяла не только собирать информацию из открытых источников, но и использовать журналистские связи как каналы в интересах пропаганды. Изучив опыт обработки общественного мнения в США, я написал пространную справку для МИД СССР под названием «Методы использования американской прессы для инспирации информации, выгодной правительству США».

Официальные обязанности не особенно обременяли меня. Два-три часа в день уходило на оформление бумаг и чтение газет. Все остальное время, как правило, допоздна я работал в резидентуре, в крошечном кабинете на последнем этаже.

По числу сотрудников КГБ Вашингтон заметно уступал Нью-Йорку, но в 1966 году для улучшения координации посольскую резидентуру сделали головной, и формально ее руководитель считался начальником всего аппарата КГБ в США. Под моим началом было около 20 офицеров. Все они представляли ведущую линию разведки — политическую. Второй по значимости и численности проходила контрразведывательная линия. Научно-техническая разведка, в отличие от Нью-Йорка, была весьма маломощна. Вскоре после моего приезда выяснилось, что единственный более или менее приличный агент на этой линии сотрудничал с ФБР, и Валентин Ревин, мой старый знакомый по студенческому обмену, стал жертвой крупного скандала, разразившегося вокруг этого дела.

Как первый заместитель резидента, я ознакомился с состоянием работы на всех линиях. Его можно было

охарактеризовать как плачевное. Источниками секретной информации среди американцев резидентура просто не располагала. Практически Соломатину и его команде пришлось начинать с нуля. Правда, имелась агентура в дипломатическом корпусе, приобретенная за пределами США. Мне поручили возобновить контакт с послом Норвегии в Вашингтоне, но, пока я собирался выйти на него, он неожиданно скончался. С другим послом из крупной арабской страны я провел несколько встреч, однако вскоре его перевели на работу в МИД. С еще одним западным дипломатом я поддерживал связь, систематически получая от него секретные документы своего МИД, вплоть до конца командировки в Вашингтоне.

Как случается иногда в жизни, удача пришла нежданно-негаданно. В конце 1965 года предложил свои услуги «доброволец» из Агентства национальной безопасности. Несколько лет подряд этот молодой парень поставлял резидентуре совершенно секретные документы, позволявшие КГБ быть в курсе всех крупнейших военных и политических проблем.

Вслед за ним пришел еще один доброжелатель. На этот раз — из военной контрразведки. Но самой яркой фигурой оказался третий доброволец — Джон Уокер, офицер военно-морского флота США, имевший доступ к шифровальным материалам. Теперь дело Уокера известно всему миру. О нем написано три книги. Уже будучи в тюрьме, он дал интервью для радиотелевизионной компании Си-би-эс, в котором подробно рассказывал о том, как работал почти восемнадцать лет на советскую разведку, привлек к сотрудничеству еще несколько человек, включая собственного сына, получив за все более миллиона

долларов. Предала его жена, с которой он развелся, а то бы группа Уокера, наверное, еще продолжала функционировать до сих пор. Лично я с Уокером не встречался. С первого дня его появления на горизонте моя задача состояла в том, чтобы организовать приемку от него материалов и обеспечить безопасность проведения операций. Все контакты с ним, главным образом через тайники, поддерживал специально выделенный работник резидентуры. На первых порах Уокер передавал секретные документы мешками и мы вдвоем с Соломатиным отбирали наиболее важные материалы для немедленного направления в Москву. Потом Уокера перевели служить из Норфолка на Западное побережье и поток информации от него существенно сократился.

С учетом сводок из АНБ, а также появившегося позже, хотя и не надолго, источника в ЦРУ вашингтонская резидентура вышла на передовые позиции в разведке, систематически и достоверно освещая узловые вопросы мировой политики.

Как заместитель резидента, я не только направлял работу своей линии, но пытался лично приобретать новые агентурные источники. Один натовский дипломат, которого долго обхаживала советская контрразведка в Москве, стал объектом моих вербовочных усилий, и, хотя я не успел довести дело до конца, пользу от него мы имели немалую. По крайней мере, изложение важнейших шифровок посольства и ориентировок своего МИД он передавал регулярно.

Разрядка напряженности в отношениях с США открыла перед резидентурой широкие возможности для культивирования связей в самых различных слоях

американского общества. Особую привлекательность представлял конгресс, где наши офицеры заводили многочисленные контакты. Под моим началом организовывались целенаправленные встречи и беседы с сенаторами Джавитсом, Макговерном, Маккарти, Мойнихеном, Мэнсфилдом, Перси, Фулбрайтом, Хэтфилдом, членами палаты представителей Эдвардсом, Брауном, Заблоцким и другими. Я тоже встречался лично с некоторыми из них, а от Роберта Кеннеди получил небольшой сувенир — зажим для галстука, изготовленный в виде торпедного катера, на котором когда-то воевал его брат — президент.

В работе по конгрессу резидентуре оказывали существенную помощь агенты КГБ из числа посольских дипломатов, а также приезжавшие во временные командировки крупные советские ученые и журналисты. Собранная ими информация передавалась в Москву по каналам КГБ.

Один эпизод, связанный с пребыванием в США обозревателя «Правды» Юрия Жукова, оставил неприятный осадок в Вашингтоне и в какой-то мере поставил меня в неловкое положение.

Я предложил Жукову организовать встречу со Збигневом Бжезинским и выяснить его взгляды на некоторые актуальные проблемы. Такая встреча состоялась и прошла с пользой. Каково же было мое удивление, когда я, открыв однажды «Правду», обнаружил статью Жукова, в которой он пересказывал содержание в общем-то конфиденциальной беседы, да еще в пренебрежительной манере охарактеризовал личность «главного теоретика антикоммунизма».

В тот же день мне позвонил Бжезинский и выразил возмущение по поводу публикации в «Правде». «В следующий раз дорога Жукову к официальным лицам в США будет закрыта», — сказал он. Я был вынужден извиниться за недостойный выпад именитого правдиста.

Кропотливая работа велась и с техническим персоналом обеих палат. Молодых помощников и помощниц, приглянувшихся сотрудникам резидентуры во время посещения ими Капитолия, настойчиво приглашали на домашние вечеринки и посольские рауты. Их щедро угощали, дарили подарки, прощупывая почву для возможных вербовочных зондажей. Но, пожалуй, наиболее острой из всех акций, проводившихся в те годы в рамках программы проникновения во внешний законодательный орган США, была попытка установить технику подслушивания в зале заседаний одной из ведущих комиссий конгресса, где периодически проводились закрытые слушания по внешней и оборонной политике страны.

Первоначально наши взоры устремились к сенатской комиссии по иностранным делам, возглавлявшейся известным либералом Уильямом Фулбрайтом. Однако проведенные визуальные наблюдения показали, что установка записывающей аппаратуры в сенатских помещениях весьма рискованна. Переключились на комиссии палаты представителей, в том числе по делам вооруженных сил. Когда предварительные анализ и оценки подтвердили реальную возможность внедрения подслушивающего устройства, в Москву полетела шифрограмма с просьбой изготовить закамуфлированный под дубовую планку миниатюрный радиопередатчик. Через месяц-другой один из сотрудников резидентуры, регулярно посещавший конгресс по официальным делам,

вонзил острые штифты присланной из Центра деревяшки в нижнюю часть стола в рабочем помещении одной из комиссий. Мы стали терпеливо ждать сигнала о начале работы передатчика. Шли неделя за неделей, но передатчик молчал. Проверять, что с ним произошло, резидентура не стала. Слишком велика была опасность быть схваченным за руку на месте преступления — с неминуемым политическим скандалом.

Несмотря на скрытый провал операции по техническому проникновению в конгресс, резидентура наращивала усилия в других сферах. Они, пожалуй, достигли кульминации в 1967 году. Введение в строй системы перехвата каналов связи некоторых правительственных ведомств США позволило точнее оценивать информацию, получаемую из открытых источников, она стала более весомой и добротной. Значительное место в работе линии «ПР» занимали активные мероприятия. Большое количество добытых резидентурой образцов документов Пентагона, ЦРУ, АНБ, госдепартамента позволяло Центру манипулировать ими по своему усмотрению, в том числе организовывать их «утечку» в западную прессу после внесения в оригинальные тексты желаемых изменений и дополнений.

Некоторые активные операции проводились синхронно с нью-йоркской резидентурой. Проводившаяся в шестидесятые годы кампания протестов против антисемитизма и дискриминации евреев в СССР настолько раздражала советское руководство, что КГБ было поручено выработать план контрпропагандистских и иных мероприятий, направленных на срыв и нейтрализацию этой крупнейшей «идеологической диверсии». Со временем в Москве появились и

«Антисионистский комитет», и журнал на идише, но в те годы офицеры резидентуры, надев перчатки, чтобы не оставлять отпечатков пальцев, снова садились за пишущие машинки и строчили зажигательные антисемитские письма, рассылавшиеся затем по стране в редакции газет и иностранные посольства. В нескольких случаях наши сотрудники малевали свастики на синагогах и еврейских кладбищах Вашингтона и Нью-Йорка. Советская пресса немедленно подхватывала любые сообщения ТАСС по этому поводу, создавая видимость разгула антисемитизма в США.

На волне оперативных удач линии «ПР» сдвинулась с мертвой точки работа и по контрразведывательному направлению. Приехавший новый заместитель Николай Попов удачно вписался в общий напряженный ритм, мобилизовав неиспользованные ресурсы Центра по наводкам на послевоенных эмигрантов и невозвращенцев.

Одним из ярких эпизодов, связанных с приобретением агентуры среди бывших советских граждан, в том числе официально объявленных предателями и приговоренных к смертной казни, было дело Николая Артамонова. В пятидесятые годы он служил на флоте в составе советской эскадры, базировавшейся в Гданьске, считался перспективным офицером и в тридцать с небольшим лет командовал эсминцем. Поговаривали о его переводе в Главный морской штаб, где ему было бы обеспечено адмиральское звание. Но моряк влюбился в польку и, бросив семью, на военном катере бежал с ней в Швецию. Позже перебрался в США и был принят в Разведывательное

управление министерства обороны (РУМО) в качестве консультанта.

Внешняя контрразведка долго пыталась установить местонахождение Артамонова в Америке, и ей наконец повезло, когда он выступил с лекцией в одном из вашингтонских университетов. Как выяснилось, по городским справочникам он проходил под фамилией Шадрин. С помощью визуального наблюдения удалось изучить образ жизни Артамонова — Шадрина. Затем последовало свидание с его женой и сыном в Ленинграде, которые написали трогательное письмо мужу и отцу, умоляя его вернуться домой. С этим письмом специально присланный из Центра сотрудник Второй службы подошел к Артамонову в магазине и, представившись советским дипломатом, предложил «поговорить за жизнь». Артамонов вначале был сильно напуган, но потом «отошел» и после некоторого раздумья дал согласие работать на советскую разведку. Он написал — якобы кровью — письмо, в котором поклялся искупить свою вину перед Родиной. В обмен ему пообещали прощение, восстановление воинского звания, устройство сына в военно-морское училище. Так началось дело агента, получившего псевдоним «Ларк».

В Центре его восприняли как очередное крупное достижение вашингтонской резидентуры, тем более что «Ларк» утверждал, что знаком с Носенко и знает ориентировочно, где он живет в США. До сих пор поиск Носенко не давал результатов, и Центр постоянно упрекал линию «КР» за недостаточные усилия по поиску предателей — бывших советских граждан из числа военнослужащих и сотрудников КГБ.

Советская часть обещания не осталась пустым звуком. Сына Артамонова, обреченного носить позорное клеймо на своей биографии до конца жизни, устроили в высшее военно-морское учебное заведение. Ему дали понять, что его отец — не изменник, а патриот, выполняющий ответственную миссию за рубежом. Позаботились и о материальной поддержке семьи.

В первые годы «Ларк» передавал некоторую информацию конфиденциального характера, которая раскрывала степень осведомленности американской разведки о советском военно-морском потенциале и планах его наращивания. Однако от него практически не поступало сведений о РУМО, о проводимой им работе против Советского Союза. Когда спала послевербовочная эйфория, из Центра пошли претензии по поводу слабой эффективности агента. Однако этим дело и ограничилось. Только когда я возглавил внешнюю контрразведку, были приняты меры для проверки искренности и надежности «Ларка», раскрывшие его двуличие и обман.

В конце 1965 года обнаружилось, что агент «Помпеи», с которым я расстался в Нью-Йорке, работает на американскую контрразведку. Разобраться нам помог доброжелатель, судя по отдельным признакам, сотрудник ФБР. В течение нескольких месяцев я жил в напряжении, ожидая возможных акций со стороны ФБР, хотя понимал, что оснований выдворить меня недостаточно: никакого реального вреда интересам США «Помпеи» под моим руководством не нанес. Скорее он причинил ущерб советской стороне, вытянув для организации туристской фирмы приличную сумму валюты.

Очевидно, ФБР никак не могло понять, почему развивавшееся вполне благоприятно дело неожиданно заглохло. Чтобы оживить его, ФБР прислало «Помпея» в Вашингтон, где он дважды «случайно» сталкивался со мной на улице. Я игнорировал его появление, с отсутствующим видом проходя мимо. Отчаявшись заполучить желаемые результаты, ФБР решило дать «утечку» информации в прессу и тем самым, возможно, побудить меня либо резко свернуть активность, либо уехать из страны без официального выдворения.

Как-то в воскресный день вместе с заведующим бюро ТАСС в Вашингтоне Вашедченко я выехал в Рехобот — небольшое курортное местечко на берегу Атлантического океана. По дороге купили газеты и, обложившись ими на пляже, принялись за чтение. Вашедченко первым наткнулся на статью о «странной шпионской истории», в которой фигурировал некий Виктор Кракникович, сотрудник Секретариата ООН, снабжавший некоего грека деньгами для вербовки молодых женщин с целью их последующего устройства в госдепартамент.

«Посмотри, какая-то дурацкая статья, и опять про советские интриги, — пробурчал Вашедченко. — Похоже, они опять хотят поднять волну шпиономании. Стоит ли нам реагировать? Может, не обращать внимания?»

Будь эта статья о ком-то другом, я, возможно, согласился бы с доводами завбюро ТАСС. Но речь шла обо мне. Соломатин в то время находился в отпуске, и только я мог принять решение о целесообразности направления материала в Москву.

С чувством сильного внутреннего сопротивления я все же рекомендовал Вашедченко дать изложение

«странной шпионской истории» по каналам ТАСС. Это означало, что она наверняка попадет на стол Председателя КГБ.

Так оно и случилось. Семичастный, ознакомившись со статьей, начертал резолюцию: «Пример безобразной работы разведки. Просто так выбросили одиннадцать тысяч долларов. Разобраться и наказать виновных».

Разбирательства не последовало. Весной 1967 года Семичастного освободили от занимаемой должности. На его место пришел очередной аппаратчик из ЦК Юрий Андропов.

Перемены в руководстве КГБ не внушали оптимизма. И до того в органах безопасности шла постепенная депрофессионализация. Под предлогом усиления партийного влияния менялись или задвигались опытные работники, по каким-то причинам не устраивавшие новых начальников, издавались приказы, вызывавшие недоумение. Реорганизационный зуд обуял верхний эшелон КГБ. Имелись все основания полагать, что с приходом Андропова этот процесс получит развитие, но масштабы перемен оказались разительнее, чем можно было ожидать. Во внутреннем аппарате на базе одного Главного управления контрразведки возникло еще три мощных структуры, получивших самостоятельный статус. В итоге в системе госбезопасности стали функционировать на параллельных курсах транспортное (4-е управление), идеологическое (5-е управление) и экономическое (6-е управление) контрразведки. Головная, координирующая роль сохранялась за 2-м Главным управлением, но со временем она превратилась в фикцию, так как каждое управление отчитывалось перед руководством КГБ

самостоятельно и норовило демонстрировать собственные достижения без согласования с кем бы то ни было.

Аналогичная участь постигла и разведку. На протяжении ряда лет количество отделов почти удвоилось, службы реорганизовались в управления, появились новые бюрократические надстройки, выполнявшие сугубо бумажную работу. Школа № 101 была преобразована в Краснознаменный институт, созданы еще два института — разведывательных проблем и программного обеспечения.

Но начало всему положило обращение Андропова к сотрудникам разведки. Его восприняли как небывало демократичный жест. Всем резидентурам предлагалось высказать любые соображения относительно организации работы, целей и задач, стоящих перед разведкой.

В течение недели, пока Соломатин находился в Москве, я подготовил тезисы, в которых изложил свое видение проблемы. Я, в частности, высказал мысль о том, что не следует преувеличивать роль и значение разведывательных операций в формировании внешнеполитического курса страны. Правительства руководствуются императивами, не обязательно совпадающими с мнением и информацией, поступающими от разведывательных органов. Разведка должна исходить из того, что она является вспомогательным, а не самодовлеющим аппаратом в системе государственных институтов, а это значит, что она должна ориентироваться на выполнение прежде всего своих непосредственных функций, не влезая в политические игры наверху. «Истина, — писал я в своих

тезисах, — не может быть целесообразной, превращаться в предмет для манипулирования и приспособления к конъюнктуре. Задача разведки состоит в добывании информации, основанной на подлинных фактах, а не в их интерпретации в угоду руководству. Это не исключает оценочного подхода к фактам, но потребители информации должны сами выбирать, какая из оценок им представляется наиболее реалистичной, соответствующей истине и отвечающей потребности момента».

Я высказал мнение, что в условиях конфронтации между СССР и США разведка призвана работать более смело, не оглядываясь каждый раз на то, что скажут в МИД. Провал той или иной разведывательной операции может временно омрачить двусторонние отношения, но он всегда будет преходящим явлением, если в отношениях доминирует тенденция к улучшению. И наоборот, если в руководстве страны возобладает линия на жесткий курс, то не спасет и бездеятельность разведки. При необходимости местные контрразведывательные органы могут учинить любую провокацию и использовать ее как предлог для дальнейшего свертывания двусторонних связей.

Это был мой первый опыт теоретизирования на профессиональную тему. Я чувствовал, что надо с кем-то посоветоваться, и решил пойти к послу Анатолию Добрынину.

Он внимательно прочитал написанное и сказал: «Если хотите, могу подписать вместе с вами». Так за двумя подписями и ушла шифровка с моими тезисами на имя Андропова.

В 1967 году бежала на Запад Светлана Аллилуева. Помню, как она сходила с трапа самолета в Нью-Йорке, с улыбкой на устах и словами «Здравствуй, Америка». Советская колония кипела от негодования. Из Центра летели телеграммы с требованием как можно скорее разработать акции по противодействию пропагандистской удаче США. Как раз в это время линия «КР» обнаружила местопребывание бывшего резидента НКВД в Испании Орлова, приговоренного к расстрелу за измену Родине в конце тридцатых годов. Мы направили предложение в Центр организовать встречу с Орловым и попытаться склонить его к возвращению домой. Появление в СССР такой фигуры, как Орлов, могло бы произвести большой эффект внутри страны и за границей, в какой-то мере нейтрализовать негативные последствия побега дочери Сталина.

Из Москвы быстро пришло согласие. По договоренности с нью-йоркской резидентурой на встречу с Орловым где-то в районе Чикаго вылетел сотрудник КГБ, работавший в Секретариате ООН и имевший возможность беспрепятственно передвигаться по США. Потом он рассказывал, что Орлов принял его враждебно, нервозно и даже порывался вызвать полицию. С трудом удалось уговорить его выслушать наши предложения. Кончилось тем, что Орлов согласился на вторую встречу, в ходе которой пошел на попятную, фактически изъявив готовность вернуться в Советский Союз. Единственным препятствием могла оказаться его жена, занявшая непреклонную позицию по отношению ко всему советскому.

Мы с Соломатиным радовались очередной удаче. Еще бы! Орлова искали почти тридцать лет для того, чтобы привести приговор в исполнение. Теперь у нас

появилась другая, более заманчивая перспектива, и мы предвкушали общественный резонанс, который будет иметь огласка этого дела.

Месяц спустя из Москвы пришло сообщение, повергшее нас в уныние. Орлова решили оставить в покое доживать последние дни в США. Как мы узнали позже, руководство КГБ зашло в тупик, обсуждая варианты реализации дела. Как принимать Орлова в Москве? Как героя? Давать квартиру, пенсию? Но ведь он в глазах правоверных партийцев предатель! За что же ему все блага, а другим дожидаться их еще многие годы? Андропов посоветовался по этому вопросу с Сусловым. Тот рекомендовал воздержаться от дальнейших шагов. Сам Орлов, так и не дождавшись от нас ответа, скончался через три года в приютившей его стране.

В начале июня танковые армии Египта совершили массированный бросок на Синай. Завязалась арабско-израильская война, завершившаяся через неделю полным поражением арабов. Накануне конфликта я беседовал с советником египетского посольства в Вашингтоне, в весьма радужных тонах предрекавшим скорый и неминуемый разгром Израиля. В Москве тоже ни у кого не было сомнений на этот счет. В тот день, когда над Суэцким каналом загремела артиллерийская канонада, мы поднимали бокалы на коктейле в доме обозревателя «Вашингтон пост» Чалмерса Робертса. Каждый по-своему ожидал конца войны. Неожиданно на лужайке дома появился госсекретарь США Дин Раск. Гости, большинство из них местные журналисты, бросились навстречу Раску, засыпая его вопросами о ходе войны и перспективах ближневосточного мира. Госсекретарь отшучивался, пока не подошел ко мне. Очевидно, о моем присутствии на

коктейле его предупредил хозяин дома. С рюмкой в одной руке Раск обнял меня другой и, повернувшись к журналистам, сказал: «Мы и Советский Союз воевать на Ближнем Востоке не собираемся. Не так ли?» Он повернулся вопрошающе ко мне. И я кивнул утвердительно головой. Мы поговорили еще минут пять и разошлись. Журналисты бросились ко мне: «Что еще сказал Раск? Известно ли было заранее вам о начале военных действий? Как давно вы поддерживаете отношения с госсекретарем?» Я объяснил, что с Раском лично раньше не встречался, но его жест свидетельствует о желании правительства США не допускать расширения конфликта и тем более вовлечения в него великих держав.

Лето подходило к концу, и я начал собираться в отпуск. Но Людмила захотела уехать с дочерью раньше, теплоходом «Александр Пушкин», отходившим из Монреаля. Там открылась Всемирная выставка, и имело смысл на несколько дней задержаться в Канаде.

Через консульство я попытался заказать гостиницу в Монреале, но оказалось, что ничего подходящего уже не осталось. Пообещали, однако, пристроить куда-нибудь по приезду.

Я прилетел в Москву месяцем позже. Первые слова, с которыми обратился ко мне начальник отдела Михаил Полоник, привели меня в замешательство. «Твоя жена проявила полнейшее отсутствие бдительности и дисциплины, — начал Полоник. — Ты знаешь, что в Монреале она остановилась на квартире сотрудника канадской контрразведки РСМП и жила там с дочерью несколько дней? Никаких контактов с консульством не поддерживала. Как ты воспитал свою жену? Неужели она

не соображает, какими это чревато последствиями. Ведь могла быть совершена любая провокация, да еще и неизвестно, чем все закончится».

Я пытался слабо возражать. Людмила рассказала мне, что в Монреале ее встретил сотрудник Аэрофлота и предложил остановиться у него на квартире, так как снять недорогую гостиницу очень сложно. Она приняла его за советского гражданина и, только разместившись в любезно предоставленном им помещении, поняла по внешним признакам, что попала в дом эмигранта. Деваться было некуда. «Не могла же я фыркнуть и бежать. Это выглядело бы просто неприлично. Кроме того, он и его жена проявили внимание и сердечность, и обижать их я не имела морального права». Я согласился с доводами Людмилы. Даже если она в течение нескольких дней общалась с агентом или сотрудником местной контрразведки, я в данном случае не видел оснований для беспокойства. Тем не менее вопрос о серьезных просчетах в воспитании членов семей стал предметом разбирательства на партийном собрании, и мне пришлось выслушать очередную порцию упреков в свой адрес.

Пять лет спустя, будучи уже в Москве, я читал документы РСМП и обнаружил в них знакомую фамилию служащего Аэрофлота. Канадская контрразведка подозревала его в сотрудничестве с советской разведкой и вела за ним активное наблюдение.

В Центре, по крайней мере на уровне отдела, меня встретили довольно прохладно. Дело, разумеется, было не в «проступке» моей жены. Скорее, мои коллеги завидовали тому, что сделано в Вашингтоне. Ведь подавляющее большинство сотрудников советской

разведки никогда в жизни не видели совершенно секретных документов правительства США и тем более живого агента-американца.

Из отпуска я вернулся к ноябрьским праздникам. В посольстве по этому поводу, как обычно, состоялся самый большой в году прием. Отведав деликатесов русской кухни, разгоряченная толпа гостей спускалась по лестнице, когда я нос к носу столкнулся с секретарем посольства Быковым. Он шел и вовсе с трудом, держась за лестничные перила. Я на ходу бросил какое-то замечание, видимо задевшее его воспаленное воображение. «Вы тут лишние люди, так хорошо было бы без вас!» — с вызовом отреагировал Быков. «Без таких забулдыг, как ты, было бы еще лучше», — парировал я. В ответ Быков разразился ругательствами, смысл которых сводился к тому, что его тесть (а это был Абрасимов, зав отделом загранкадров ЦК КПСС) отправит меня в Москву через сорок восемь часов.

На следующее утро Соломатин провел со мной «профилактическую» беседу: «Быков пожаловался на тебя послу. Надо замять дело. Иди извинись перед ним. Не забудь, кто его тесть».

Я с удивлением посмотрел на своего шефа. Как он боялся начальства! За полгода до этого разговора ему пришлось разбираться с сотрудником резидентуры, который систематически прикарманивал деньги, выдававшиеся на содержание агента из числа местных журналистов. Его ежемесячные оперативные расходы на ленчи и коктейли превышали двести долларов. Не оставалось сомнений, что этот сотрудник распоряжался государственными средствами как хотел. И что же? Соломатин ограничился «профилактикой», поскольку

тестем сотрудника являлся начальник Московского управления КГБ Виктор Алидин.

«Я не буду извиняться перед этим наглецом — тем самым вы унижите не только меня, но и всю службу. Не забудьте, что его реплики относились в равной мере и к вам как представителю КГБ», — сказал я Соломатину. «Ну что ж, пеняй на себя, если Быков действительно пожалуется Абрагимову», — мрачно заключил шеф.

1968 год выдался на редкость богатым событиями неординарного порядка.

Волна расовых беспорядков, бушевавшая с прошлого лета по всей стране, обернулась новыми жертвами. На этот раз от пули фанатика пал Мартин Лютер Кинг. Я всегда с большой симпатией относился к нему и к возглавлявшемуся им движению. В своей тетради я записал его слова: «Единственный способ добиться свободы — это преодолеть страх смерти. Если человек не познал, за *что* он готов умереть, его жизнь бессмысленна... И если человек дожил до тридцати шести лет, как я, и какая-то великая истина открылась ему в жизни, и появились какие-то большие возможности, чтобы выступить за то, что правильно и справедливо, и он отказывается от борьбы, потому что хочет прожить немного дольше, потому что боится, что его дом разгромят, или он потеряет работу, или его застрелят... этот человек может дожить и до восьмидесяти лет, но, когда он перестанет дышать, — это будет всего лишь запоздалое известие о том, что духовно он умер раньше.

Человек умирает, когда он отказывается защищать то, что считает правильным и справедливым».

Вслед за Кингом, двумя месяцами позже, в могилу сошел Роберт Кеннеди. Закончилась глава американской

истории, связанная с пребыванием у власти братьев Кеннеди. Оба они стали жертвами насилия, поразившего общество. На смену им приходили лидеры, имена которых хорошо были известны стране. На горизонте предстоявших в том году президентских выборов замаячили две знакомые фигуры: Ричарда Никсона и Хьюберта Хэмфри.

Для посольства наблюдение за подготовкой и ходом выборов — занятие, которое сродни участию в спортивном состязании. Хотя наблюдающие ничего не выигрывают, они с азартом втягиваются в процесс, как будто от их прогнозов и мнений один из кандидатов получит больше шансов на победу и в стране что-то изменится. Жизнь не раз опровергала самые квалифицированные анализы и предсказания специалистов.

Посол Добрынин с самого начала сделал ставку на Хэмфри. Он полагал, что при всей непоследовательности демократов их политический курс предсказуем, тогда как Никсон, выражая устремление наиболее консервативной части правящих классов, скорее всего, резко повернет страну вправо, и шаткое равновесие, достигнутое в отношениях между СССР и США, будет нарушено.

Аналитики КГБ в Вашингтоне придерживались противоположного мнения. Они считали, что жесткость Никсона не обязательно несет в себе конфронтационное начало, что он способен, в отличие от демократов, на радикальные шаги, могущие внести свежую струю в подход США к решению международных проблем. Такому пониманию позиции Никсона во многом способствовали регулярные встречи сотрудника резидентуры Бориса Седова с профессором Гарвардского университета Генри

Киссинджером. Исполняя обязанности по линии АПН, Седов сумел «зацепить» профессора и в течение ряда лет старался развивать свои отношения с ним. Когда Киссинджер включился в предвыборную кампанию в качестве советника Никсона, Седов не упускал случая, чтобы получить полезную информацию от него и довести ее до сведения Центра. Незадолго до выборов Никсон, зная, что в Москве к нему относятся с предубеждением, обратился через Киссинджера к Брежневу с неофициальным посланием, в котором поделился своими мыслями о перспективах развития международной обстановки и выразил намерение приложить максимум усилий для улучшения взаимоотношений между США и СССР. Советское руководство проявило достаточно мудрости, чтобы дать благожелательный ответ на это обращение. Таким образом, накануне избрания Никсона между ним и Кремлем установился конфиденциальный контакт, который поддерживался по каналам КГБ. Добрынин ставился в известность о происходящем обмене посланиями только в общих чертах. Он по-прежнему считал, что следует поддерживать демократов, и был убежден в их победе на выборах.

Никсон нанес сокрушительное поражение своему сопернику и стал 37-м президентом США. До того, как в его адрес было направлено официальное поздравление, Брежнев в конфиденциальном послании сердечно приветствовал нового главу Белого дома и выразил надежду на существенные перемены в советско-американских отношениях. В течение последующего месяца вся переписка между Кремлем и Белым домом шла по каналам КГБ через Киссинджера и Бориса Седова. Конец ей положил Добрынин,

поставивший перед Москвой вопрос о неестественности такого рода процедуры при наличии нормальных дипломатических контактов между двумя странами. Получив согласие Брежнева, Добрынин замкнул все встречи с Киссинджером на себя. Седову отвели вспомогательную роль на случай передачи каких-либо особо важных, конфиденциальных сообщений.

Я не склонен преувеличивать роль КГБ в налаживании закулисных связей с Белым домом. В иной обстановке наверняка возобладала бы линия посла. История советской дипломатии почти не знает примеров, когда разведка играла бы сколько-нибудь значительную роль в сближении противостоящих друг другу государств. Мнение разведки по большинству важных международных вопросов, как правило, игнорировалось либо вообще не доходило до руководства страны.

В данном случае решающую роль сыграли обстоятельства, связанные с резким падением авторитета и влияния Советского Союза в мире в результате акции стран Варшавского Договора в Чехословакии. Брежнев нуждался в поддержке и сочувствии и был готов протянуть руку любому, кто ответил бы взаимностью. Именно по этой причине он не пошел на поводу у Добрынина, зная, что от демократов ему ждать нечего, но ухватился за вариант, предложенный КГБ, потому что уязвимое положение Никсона вселяло надежду на перемены.

Чехословацкие события наложили суровый отпечаток на весь последующий ход международных отношений. Мне самому пришлось пережить тяжелые августовские дни 1968 года, когда советские танки загромыхали на улицах Праги. К тому времени

Соломатина отозвали в Москву в связи с назначением на должность заместителя начальника разведки. Из Центра доходили слухи, что Андропов высоко оценил деятельность вашингтонской резидентуры и ставил ее в пример другим. Соломатина называли преемником Сахаровского. Меня тоже не обошли вниманием, наградив орденом Красной Звезды и назначив исполняющим обязанности резидента. Утверждение в должности резидента не состоялось по причине публикации в «Вашингтон пост» статьи Джека Андерсона о деле «Помпея» и моей причастности к нему. Из Москвы срочно телеграфировали рекомендации, смысл которых сводился к тому, чтобы я сократил выходы в город, освободился от подозрительных связей и вел себя с повышенной осмотрительностью. Нужно было продержаться до приезда нового резидента, кандидатура которого подыскивалась.

Пришлось отказаться от привычного образа жизни, сконцентрировать внимание на организационной рутине и подготовке информации в Центр.

В тот памятный августовский день, за сутки до советского вторжения в Чехословакию, я получил шифровку из Центра, в которой сообщалось только для моего личного сведения и ознакомления посла, что деятельность контрреволюционных сил в Праге, поддерживаемая западными, прежде всего американскими, спецслужбами, вынуждает советское руководство вместе с правительствами дружественных государств предпринять решительные шаги для защиты социалистических завоеваний в Чехословакии. В этой связи предписывалось принять заблаговременно меры по усилению охраны посольства и обеспечению безопасности советских граждан в США, разьяснить

американской общественности обоснованность акции стран Варшавского Договора, направленной на сохранение стабильности в мире и срыв агрессивных планов реакционных кругов Запада.

Сообщение из Москвы произвело на меня гнетущее впечатление. С огромным вниманием я следил за развитием обстановки в Чехословакии, пользуясь не только газетными материалами, но и сводками Агентства национальной безопасности и ЦРУ, попадавшими мне на стол после каждой тайниковой операции с Уокером и агентом из АНБ. Кроме того, меня систематически информировал о положении в Праге руководитель Чехословацкой разведки в США. Он остро переживал происходящее, рассказывал о брожении, охватившем сотрудников посольства, о надеждах, с которыми его соотечественники связывали «пражскую весну».

Для меня «пражская весна» тоже была не абстрактным понятием. Хрущевская «оттепель» не получила развития, потому что партийную верхушку устраивала существующая система. Через четыре года после захвата власти Брежневым не оставалось сомнений, что с реформами покончено и партийная номенклатура сделает все, чтобы увековечить свою беззаботную жизнь. На этом фоне бурные события в Праге вселяли надежду, что Чехословакией дело не ограничится, что процесс демократизации перекинется на другие восточноевропейские страны и в конечном счете на СССР. Я верил в такую возможность, я хотел, чтобы так случилось, и тайно желал успеха Дубчеку и его товарищам.

С тяжелым чувством я зашел к послу показать телеграмму. Он прочитал ее молча и вопросительно

посмотрел на меня. «Это чудовищная глупость, идиотизм, других слов не нахожу», — пробормотал я, не зная заранее, как прореагирует посол, но не считая возможным скрывать свои эмоции. «Да, это ужасный шаг, он нанесет удар по всем нашим добрым начинаниям с Америкой. Как можно было докатиться до этого! Придется готовиться к крупным неприятностям», — с этими словами Добрынин вернул мне телеграмму. Я с благодарностью взглянул на посла, как будто заново знакомясь с ним. Он приехал в Вашингтон в начале шестидесятых годов, когда ему было за сорок, но благодаря своим высоким профессиональным и человеческим качествам вскоре выдвинулся в число самых заметных фигур в американской столице. Он пользовался всеобщим уважением в США, но в Москве завистливый Андрей Громыко видел в нем конкурента и старался держать его подальше от взоров кремлевских вождей. В 1970 году, когда я покидал Вашингтон, Добрынин, прощаясь, сказал: «Скоро увидимся в Москве. К концу года моя командировка тоже закончится». Он пробыл на своем посту еще 15 лет, пока Горбачев не пригласил его на работу в качестве секретаря ЦК КПСС.

В день высадки советских войск в Праге я зашел к Борису Стрельникову, корреспонденту «Правды», с которым меня связывали взаимные искренние симпатии. У него уже сидел Володя Тил, наш общий приятель из Чехословацкого телеграфного агентства. Мы говорили о чем-то незначительном, а я со страхом поглядывал на часы: с минуты на минуту могли объявить о начале военной акции. Наконец диктор телевидения прервал программу передач специально для экстренного сообщения из Праги. Я видел, как изменился в лице Володя Тил. Едва дослушав сообщение, он сухо

попрощался и безмолвно покинул нас. Больше я с ним никогда не виделся.

На следующее утро позвонил чехословацкий резидент и попросил срочно встретиться. «Ваше руководство допустило грубейшую ошибку, применив силу против народа, который всегда с уважением относился к Советскому Союзу, — без предисловий начал он. — Я умом понимаю причины, побудившие Брежнева прибегнуть к помощи оружия. Но сердце мое отвергает все возможные оправдания. Как коммунист, я, возможно, сохраню веру в дело, которое мы защищали вместе, но мои дети никогда вам не простят того, что произошло». В глазах моего коллеги стояли слезы.

Я сам был до глубины души взволнован его словами. Все, что я мог сделать, — это обнять его и заверить, что далеко не все советские граждане поддерживают действия своего правительства. Я лично глубоко сожалею о случившемся и надеюсь, что наша дружба сохранится, несмотря ни на что.

В резидентуре я тщательно перечитал все сводки американских спецслужб, имевшие отношение к чехословацким событиям. Ни из одной из них не следовало, что ЦРУ или РУМО проявляли какую-то особую активность в Праге в последние недели. Между тем советская пресса была заполнена материалами о попытках ЦРУ свергнуть социалистический строй в Чехословакии, о складах иностранного оружия, якобы найденного в специально оборудованных тайниках, о сотнях военнослужащих НАТО, приехавших в гражданской одежде в Прагу под видом туристов.

Зная повадки службы активных мероприятий КГБ, я не сомневался, что все эти панические сообщения —

дело ее рук. Но в моем распоряжении находилась информация, отражавшая подлинное положение дел. Она должна быть доведена до руководства страны.

Я сам подготовил аналитический обзор о деятельности американской разведки в дни, предшествовавшие вторжению советских войск в Чехословакию. Из него вытекало, что и ЦРУ, и военная разведка были озабочены происходящим, но не предпринимали никаких чрезвычайных мер по дестабилизации обстановки в стране. Я адресовал свой обзор Андропову, будучи уверенным, что он найдет ему должное применение. Позже я узнал, что, получив мое сообщение, руководство КГБ приказало его немедленно уничтожить.

Остались позади тревоги и волнения, связанные с чехословацкими событиями и предвыборной кампанией 1968 года. Пора бы и отдохнуть. Но уезжать в отпуск без замены — не поймут в Центре. Неожиданно пришла в голову мысль: а почему бы не провести пару недель отпуска в США, где-нибудь в Калифорнии или Флориде? Я посоветовался с Добрыниным. Он не возражал. Послал запрос в Москву: оттуда, как ни странно, тоже пришло согласие. Кажется, впервые в послевоенной истории советский дипломат проводил свой отпуск на знаменитом американском курорте.

В начале декабря, получив соответствующие визы госдепартамента, я направился на своем зеленом «жуке» «фольксвагене» вместе с женой и дочерью во Флориду. Из-за различных ограничений для советских граждан дорога наша пролегла не прямо на юг, а через обе Каролины и штат Джорджия. Еще при выезде из Вашингтона я заметил две машины ФБР «на хвосте».

Полагая, что этот эскорт сопровождения выведет меня на маршрут и бросит, я беззаботно двигался вперед. Каково было мое удивление, когда я обнаружил, что в каждом штате на смену коллегам подключались две новые автомашины. Так, в их компании, я добрался до Форт-Лодердейла — конечной остановки нашего путешествия. Гостиницу мы выбрали наугад, прямо на берегу океана. Я едва успел зарегистрироваться, как ко мне подошел сотрудник ФБР и вежливо спросил, когда и в котором часу я намерен возвращаться в Вашингтон. Я назвал дату и время. Он улыбнулся в ответ и пожелал счастливого отдыха. С того момента я больше их не видел.

Наша поездка предусматривала выезд на прогулку в Майами, посещение океанского аквариума и других достопримечательностей. По существовавшим тогда правилам я не мог поехать в Майами на автомашине — только поездом или самолетом. Мы выбрали поезд. Когда мы добрались до станции, там на платформе уже прогуливались два сотрудника ФБР. Они не пытались скрыть своего присутствия, тем более что других пассажиров и провожающих в этот ранний час на станции не было, и дружелюбно, как будто мы не раз встречались в прошлом, кивнули головой, когда я проходил мимо них.

Поезд задерживался, и правила приличия требовали, чтобы знакомые люди скоротали время в непринужденной беседе о погоде, детях и собаках. Кто-то должен был проявить инициативу. Почему бы это не сделать мне?

Офицерам КГБ не рекомендуется вступать в личный контакт с представителями недружественных спецслужб

без особого разрешения. Обычная практика при обнаружении наблюдения — игнорировать его и спокойно заниматься своим делом.

В Нью-Йорке и Вашингтоне я нередко замечал за собой «хвост», привык к нему и вел себя естественно, как будто его и нет. Здесь, на отдыхе, я почувствовал себя свободнее и решил обратиться к одному из сопровождающих с вопросом относительно городского транспорта и гостиниц в Майами. Он любезно просветил меня по всем пунктам, рекомендовал запарковать наш «фольксваген» на железнодорожной станции. Я спросил, поедет ли он с нами, на что он ответил отрицательно, сказав, что в Майами нас будет обеспечивать другая бригада.

Мы провели в Майами сутки и на следующее утро уже были на городском вокзале, чтобы выехать в Форт-Лодердейл. Не успев позавтракать в гостинице, я пошел вдоль прилегающей к вокзалу улицы в поисках кафе. По дороге меня перехватил немолодой сотрудник «наружки» и спросил, что я ищу. Узнав, что моя семья не завтракала, он позвал Людмилу и Юлю и провел нас в небольшой кафетерий, где, как он сказал, есть все необходимое для ребенка. Садясь в поезд, я приветливо помахал ему рукой. Он ответил тем же.

Две недели спустя, расслабившись и набравшись новых впечатлений, ровно в назначенный час мы вышли из гостиницы «Гасиенда» в Форт-Лодердейле. В стороне уже стояли две машины с сопровождающими. Они заулыбались, как старые знакомые. Начался долгий обратный путь в Вашингтон. Уже сгустились сумерки, когда мы решили сделать остановку и переночевать в мотеле. При въезде на парковку мой «фольксваген»

внезапно дернулся и заглох. Все попытки завести его результата не дали. Мы вышли из машины и стали толкать ее с проезжей части шоссе. На помощь к нам поспешил один из сопровождающих. Через минуту-две, когда мы вкатили «жука» на площадку, сотрудник ФБР сел за руль и попытался завести движок. Его усилия тоже оказались бесплодными. «Ничего страшного, — сказал он. — Здесь недалеко автомастерская. Мы поможем починить».

Немного передохнув после дороги, мы решили поискать, где можно поужинать. В мотеле кафе не было. Вдали цветами радуги светилась реклама ресторана «Говард Джонсон». В кромешной темноте мы пошли вдоль кромки шоссе в сторону сверкающих огней.

Мягко шурша по асфальту, голубой «додж» подкатил к нам сзади. Хлопнула дверца, и стройный парень из ФБР спросил: «Куда вы идете в такую темень? Здесь гулять небезопасно. Садитесь, я вас подвезу куда надо». Я чуть заколебался, но предложение не отверг. В машине ФБР мы подъехали к «Говарду Джонсону», и я пригласил нашего благодетеля отужинать с нами. Он отклонил приглашение, сославшись на то, что уже проделал это вместе со своим напарником.

Примерно через час мы вышли из ресторана и направились к ожидавшей нас машине. Наш провожатый любезно открыл двери. «Вы с нами от Форт-Лодердейла?» — начал я разговор, удобно усевшись рядом с водителем. «Нет, мы вас взяли с полпути. Доведем до Санкт-Петербурга, а там нас сменят другие, — спокойно ответил он. — Русские у нас редкие гости, но как-то мне приходилось уже сопровождать вашего соотечественника». — «Мы весьма

признательны вам за помощь и доброе отношение, — продолжал я. — Вроде бы наши страны и не дружат между собой, но нигде мы не встречали вражды и злобы. Может быть, когда-нибудь и наши службы придут к согласию и миру». — «Трудно сказать. Но люди всегда должны помогать друг другу, если они попали в беду. За машину вы не беспокойтесь, все будет в порядке». Он пожелал нам спокойной ночи у мотеля и растворился в темноте.

Утром «фольксваген» завелся с первого оборота. Мы снова двинулись в Вашингтон. У меня было сильное желание направить письмо директору ФБР Эдгару Гуверу с благодарностью за содействие, оказанное его сотрудниками моей семье во время путешествия по южным штатам. Потом подумал, что, если это письмо попадет в прессу, мне дома покоя не дадут до конца жизни. Так благие мысли остались нереализованными.

Пока я отсутствовал, в резидентуру пришло указание установить место жительства и провести встречу с вдовой эмигранта — сотрудника ЦРУ, агентурная связь с которым прервалась в результате его смерти. После статьи Андерсона в «Вашингтон пост» в Центре, видимо, нервничали недолго, потому что поручение было адресовано лично мне.

Оказалось, что она живет в пригороде Вашингтона. Пришел к ней на квартиру без предварительного телефонного звонка. В течение нескольких минут я уговаривал ее открыть дверь, пытаясь убедить, что привез из Москвы письма сестры ее мужа. Просунутая сквозь щель в двери фотографии сестры возымела действие. Тем не менее, даже после предъявления советского дипломатического паспорта, я еще час

доказывал ей, что не связан с ФБР и не являюсь провокатором.

Она рассказала, как скончался после тяжелой болезни муж, как он мечтал вернуться на родину, где остались все его близкие. Судя по ее словам, он потерял надежду на восстановление связи с советской разведкой много лет назад, после измены Голицына.

Передо мной стояла одна задача — уговорить ее вернуться в СССР, где тоже проживали ее родственники. Сначала она как будто поддавалась уговорам. Я вручил ей деньги на билет и отправку багажа. Но совсем накануне отъезда с ней случилась истерика. «Я не могу ехать отсюда, потому что здесь похоронен мой муж. Я хочу быть похороненной вместе с ним», — рыдала она. Все мои усилия побудить ее изменить решение были напрасны. Центр решил оставить ее в покое.

Другое дело, порученное мне Москвой, касалось отсидевшего в федеральной тюрьме агента КГБ, имевшего в прошлом отношение к американским контрразведывательным органам. Я быстро нашел его в Вашингтоне, и он проявил готовность вновь сотрудничать с нами, но оперативные возможности его были ограничены, и максимум, что он мог делать, — заводить связи среди государственных служащих и передавать наводки на тех из них, кто представлял интерес для КГБ.

Очередная статья Андерсона обо мне никого особенно не удивила. В ней отсутствовал элемент новизны. Я возобновил контакты со старыми связями: резидентом иранской контрразведки (САВАК) Яздан-Панахом, прикрытым должностью советника иранского посольства, авторитетным политическим обозревателем «Крисчен сайенс монитор» Джозефом

Харшем, видным журналистом Джироламо Модести и другими.

На обеде в доме Харша я встретил Аллена Даллеса, уже покинувшего ЦРУ и тяжело болевшего. Было желание подойти к нему и поговорить, но опять побоялся прессы и разговоров на этот счет дома.

Попытался обзавестись я и новыми оперативными контактами. На праздновании масленицы в посольстве ФРГ я познакомился с миловидной венгеркой, осевшей в США после будапештского восстания 1956 года и работавшей в госдепартаменте. На третьей встрече она сообщила, что ее профилактировала служба безопасности и она больше не сможет общаться со мной.

Весной 1969 года большая группа сотрудников резидентуры приняла участие в четырехчасовой прогулке на катере по Потوماку. Их задача состояла в том, чтобы обзавестись связями среди американских госслужащих. Повышенный интерес ко мне проявила находившаяся на катере дама, которая представилась служащей госдепартаamenta. Через день она позвонила в посольство и пригласила на вечеринку у себя на квартире. Желания ехать к ней у меня не было. Что-то в ее поведении показалось мне навязчивым. Тем не менее я принял приглашение и вечером отправился в один из самых фешенебельных домов Вашингтона. Уже при подъезде к дому я обнаружил стоящую у тротуара машину ФБР с двумя сотрудниками. В квартире хозяйки никого, кроме нее, не было. Она встретила меня в розовом пеньюаре и тут же предложила ужин на двоих при свечах».

«Вы же собирались устраивать вечеринку, — заметил я. — Где же остальные?» — «О, они, возможно, подойдут позже», — беззаботно прощбетала она и

пригласила к столу. Я хотел повернуться и уйти, но мужское самолюбие и любопытство взяли вверх. Я выглянул в окно: внизу по-прежнему стояла машина ФБР. Без всякого аппетита я приступил к трапезе. Хозяйка вертелась вокруг, поднося одно блюдо за другим. Наконец, она тоже села и подняла бокал с вином: «За любовь!» — «Avec plaisir», — ответил я галантно, исчерпав этими словами почти весь свой словарный запас на французском.

Через час кто-то позвонил в дверь. «Ну, кажется, началось, — подумал я. — Надо было убираться восвояси раньше».

Вошла парочка. Молодой человек с девушкой, небрежно кивнув хозяйке, сели на диван и попросили что-нибудь выпить. Минут через двадцать они встали и двинулись к выходу. Я последовал за ними.

«Куда же вы? Оставайтесь!» — вскричала хозяйка, обращаясь ко мне. «Уже поздно, пора и честь знать», — ответил я. Она вышла со мной в коридор, пыталась мягко, но настойчиво удержать. Я был вежливо непреклонен. «Нет, пожалуй, больше не стоит заводить такие знакомства», — решил я про себя.

Новым резидентом в Вашингтоне вскоре стал Михаил Полоник, мой давний знакомый по Нью-Йорку. Особых симпатий к нему у меня не было, но... начальников не выбирают.

Шел пятый год моего пребывания в Вашингтоне. Из Центра пришли вести, что Сахаровский рассматривает возможность назначения меня резидентом в Токио. После многих лет работы в США перспектива командировки в другую страну, тем более такую, как Япония, казалась заманчивой. Вместе с тем я чувствовал,

как во мне накапливалась усталость. Требовался перерыв, смена обстановки, и лучше, чтобы новым местом назначения была Москва.

Глава V

*Сдержи перо он и язык,
он в жизни многого б достиг.
Но он не помышлял о власти.
Богатство не считал за счастье.
Неблагодарность встретив, он
бывал немало огорчен,
но видел в том порочность
века,
а не природу человека.*

Дж. Свифт

*Человек цепляется за веру,
как за ветку падающий вниз.
И когда он делает карьеру,
и когда над бездною повис.*

Ф. Искандер

Часть I

Шифровка из Москвы застала меня врасплох. В ней предлагалось выехать в ближайшее время в Центр для замещения только что созданной новой должности заместителя начальника Второй службы.

Стояла середина декабря. Вашингтон сверкал рождественскими огнями. Толпы покупателей, возбужденных предпраздничной суетой, заполнили

столичные улицы. В посольстве шли приготовления к новогоднему балу, всегда отличавшемуся раздольным весельем, ломящимся от яств столом. Уезжать не хотелось, хотя предложение было заманчивым.

Полоник, как сообщил мне по секрету шифровальщик, продержал телеграмму неделю у себя в сейфе. Мое резкое, фактически через две ступени, движение по служебной лестнице его, очевидно, раздражало. Он был начальником отдела, резидентом, а я получал назначение на ступень выше его, значит, из Москвы будут командовать им. Ознакомившись с шифровкой, я зашел к Полонику. «Стоит ли тебе соглашаться, Олег? — с кривой усмешкой спросил он. — Ты ведь политический работник, прекрасно разбираешься в обстановке, у тебя отличные перспективы в Первом отделе. А контрразведка для тебя новое дело, да и народ там темный, провинциальный. Набрали из внутренних органов. Сам понимаешь, с кем придется общаться. Начальником там Григоренко, с ним наплачешься. Лют, как зверь. Подумай, не спеши».

А я и не хотел спешить. Недавно купил жене шубу — пришлось взять займы. Да еще «Британская энциклопедия» приобретена в рассрочку. Обычные житейские проблемы. С точки зрения деловой я мог уезжать спокойно. С Полоником работать будет неинтересно, свой ресурс для данной командировки я исчерпал: четыре с половиной года — это как раз то время, когда перемена необходима. Но шкурный интерес заставлял меня потянуть месяц-другой.

Весело отпраздновали Новый год. В первых числах января пришла новая шифровка: «Вакансия требует скорейшего замещения в связи с необходимостью

концентрации в одном звене всех усилий по работе против спецслужб главного противника. Ответ телеграфируйте».

Ответ я подготовил сам, выразив благодарность за доверие и испросив разрешения на выезд с учетом передачи дел своему преемнику в феврале. Шубу пришлось вернуть, энциклопедию продать, чтобы погасить набежавшие неожиданно расходы. Вместе с резидентурой ГРУ отметили день Советской Армии. Тепло распрощался я с коллегами — «соседями», а через день настал мой черед проститься со своими.

Собрались все в маленьких душных комнатах. Произносили прочувствованные речи. Я призвал остающихся не растерять зёрна опыта, накопленного за пять лет, способности разумного риска и спортивного азарта, без которых немыслима творчески насыщенная и плодотворная работа. Полоник испуганно смотрел на меня, как будто я закладывал мину под его планы и надежды. Подарили мне на прощание спиннинг.

26 февраля вместе с дочерью и женой рейсом Аэрофлота я прибыл в Москву, а через два дня увидел своего нового начальника — полковника Виталия Боярова. К тому времени Григоренко уже переместился на должность руководителя Второго Главного управления КГБ — контрразведки страны.

В те годы ПГУ размещалось на Лубянке, как и все основные подразделения центрального аппарата КГБ. В маленьких улочках и переулках, примыкающих к площади Дзержинского, имелось еще несколько зданий, также принадлежавших разведке. Для меня, почти двенадцать лет общавшегося с Центром главным образом

«по переписке», все это было внове. Начался этап освоения премудростей бюрократической жизни.

Мой шеф произвел первоначально не самое лучшее впечатление. В его лице не хватало мягкости и доброжелательности. Он был агрессивен, напорист и безапелляционен. На фоне моих почти дружеских отношений с Соломатиным, Барковским и Ивановым Бояров выглядел как человек, с которым нелегко будет найти общий язык. Его заместители — мои коллеги — смотрелись еще хуже. Один, выходец из транспортного отдела, работавший когда-то во Франции, беспрестанно курил, матерился и доказывал всем, что они не умеют работать; другой был суматошлив и непоследователен в своих решениях, третий вообще ничем не выделялся. Оказавшись в этой когорте контрразведывательных асов моложе других лет на десять, я чувствовал на себе постоянно их настороженно-скептический, оценивающий взгляд.

Пока я дожидался приглашения на заседание коллегии КГБ, где предстояло утверждение моей кандидатуры, мне вдруг позвонил Сергей Антонов, тогдашний начальник Девятого управления, и предложил переговорить с ним о работе в правительственной охране в качестве начальника Первого отдела. С Антоновым я познакомился еще в 1958 году, когда попал в отдел США и Латинской Америки после окончания разведывательной школы. Он был старше меня, вел Южноамериканский континент после командировки в США и проявил внимание ко мне, как к молодому, еще не оперившемуся сотруднику.

Сергей сразу взял быка за рога. «Слушай, — сказал он командирским тоном, — ты же без кола без двора. Я

навел справки: у тебя даже телефона нет. Приходи к нам, у меня Лев Бурдюков, ты его помнишь по Первому отделу. Дадим тебе самое крупное подразделение в девятке. Там больше тысячи человек, агентурная работа. Тебе все это знакомо. Квартиру дам в лучшем в Москве доме, машина у подъезда и кормежка по первому классу. Через годик-два, глядишь, и на генерала потянешь. Давай, соглашайся». Я сердечно поблагодарил Антонова за доверие и заботу, но предложение отклонил сразу, сославшись на то, что все мои документы уже в коллегии. Обижать хорошего человека мне не хотелось, но служба в охране, даже правительственной, меня не устраивала. В памяти еще свежи были события, связанные со смещением Хрущева, к тому же мне претила мысль о том, что надо будет перед кем-то изгибаться, прислуживать. Дворцовые игры не для меня.

Постепенно я знакомился с коллективом внешней контрразведки, не вникая пока в ее дела.

Вторая служба пребывала в состоянии неуверенности и выжидания. Только что ушел Григоренко, признанный лидер, человек жесткий, бескомпромиссный, державший Службу в кулаке и не подпускавший к ней близко нытиков и критиков. Сформирована она была в шестидесятых годах на базе нескольких самостоятельных отделов, прежде всего 14-го (контрразведки) и 9-го (эмиграции), но многие смотрели на нее как на незаконнорожденное дитя. Недоброжелатели считали, что контрразведка за границей должна быть частью общего разведывательного процесса и что ее обособление чревато опасностью не только для дела, но и для спокойной и уверенной работы других подразделений. У контрразведчиков сложилась устойчивая репутация неотесанных, подозрительных,

вечно сующих везде свой нос сотрудников, не способных к ювелирной работе.

Пришедший на смену Григоренко его заместитель Бояров рассматривался большинством во Второй службе как преемник традиций и стиля руководства бывшего начальника. Вместе с тем многих озадачивали подчеркнутая независимость суждений молодого полковника, апломб и необычная для контрразведки изысканность манер. Неудивительно поэтому, что коллектив воспринял с опаской появление еще одного «варяга».

Между тем, знакомясь с историей становления внешней контрразведки, я вскоре оказался ее горячим и искренним приверженцем. Я пришел к выводу, что она, по сути, положила начало всей системе организации защиты государства от подрывных действий извне. Эта система умело эксплуатировала романтику и мораль интернационализма.

Особенно на победоносной волне 1945 года к Советскому Союзу потянулись новые сторонники и доброжелатели, искренне поверившие в неизбежный триумф коммунистических идей. Мощный приток сил в левое движение, особенно в Европе, благоприятствовал деятельности советской резидентуры во многих странах. Во Франции, Бельгии, Италии добровольцы шли один за другим, предлагая свои услуги органам. В США на почве антифашистских настроений резидентуры сумели обзавестись рядом ценных источников, обеспечивавших Москву секретной документальной информацией по широкому спектру проблем. Только от одного агента, внедренного в министерство юстиции, поступили тысячи документов о работе американской контрразведки.

Огромное число материалов продолжал передавать К. Филби. Вскоре к нему присоединился Джордж Блейк, затем один из руководителей западногерманской разведки БНД Хайнц Фельфе.

В пятидесятых годах практически все основные аспекты деятельности английских, западногерманских и французских, а также в значительной мере американских спецслужб находились под контролем советской разведки.

Крах начался после измены одного за другим нескольких офицеров КГБ, бежавших на Запад, и предательства агентуры в США, позволившей ФБР выявить сеть помощников КГБ в различных американских ведомствах. Последовавшая волна шпиономании захлестнула не только США, но и Европу. XX съезд КПСС и разоблачение преступлений сталинской клики внесли полнейшую сумятицу в ряды тех, кто служил резервуаром, пополнявшим агентурный аппарат разведки. Массовое бегство рядовых коммунистов сопровождалось расколом многих партий, оттоком попутчиков, усилением антисоветских проявлений в различных слоях общества. С точки зрения приобретения новых источников резидентуры оказались у разбитого корыта.

Конец пятидесятых годов можно сравнить с перевернутой страницей в истории. Общественное сознание, очнувшись от гипноза революционной фразы, как после долгой болезни, выходило на иной уровень восприятия происходящего. Идеологическая обработка уже не давала желаемых результатов. В арсенале разведки побудительные мотивы сотрудничества все чаще сводились к сделке, голому расчету, основанному

на желании одной стороны продать, а другой — купить. Этот момент хорошо подметил бывший директор ЦРУ У. Колби в семидесятых годах: «Русским удастся иногда вербовать американцев на материальной основе, выплачивая им в разовом порядке деньги за передаваемую информацию. Но вербовать на идейной основе они смогут только тогда, когда убедительно покажут, что их страна является политической и социальной моделью общества будущего». На каком-то этапе пацифистская деятельность выступала в виде некоего идеологического суррогата, но и она постепенно утрачивала потенциал, пригодный для оперативного манипулирования. Существенно снизилась роль шантажа и принуждения, основанных на добытых внутренней контрразведкой компрометирующих материалах.

Так, медленно деградируя, подошла разведка к рубежу семидесятых годов. Последние годовые отчеты Второй службы наводили на грустные мысли, хотя по сравнению с другими линиями работы они не выглядели худшими. Валовые показатели обеспечивались главным образом за счет приобретения источников в спецслужбах развивающихся государств. Для непосвященного цифры могли показаться внушительными, но за десятками офицеров полиции или контрразведки, включенными в агентурную сеть, скрывалась безысходная оперативная нищета. Какую угрозу советским учреждениям и гражданам могли представить малооплачиваемые, не очень грамотные, передвигающиеся пешком или на велосипедах шпики? Тогда они еще смотрели на белых, как на сагибов — хозяев жизни, способных прикрикнуть или даже пнуть ногой. Какую информацию могли они добывать в своих ведомствах, обделенных элементарными условиями для серьезной аналитической

работы? Их сводки поражали беспомощностью и примитивностью, и только в одном случае на моей памяти сообщение агента из числа сотрудников индийской контрразведки вызвало реакцию у руководства ПГУ. Филеры зафиксировали факт распития «из горла» в автомашине сотрудника резидентуры перед тем, как он с товарищем зашел в ресторан. «Дикий случай, — прокомментировал Сахаровский, — как можно пить до ресторана, ведь для того туда и идут, чтобы выпить там!» Я тоже удивился невоздержанности своих коллег, пока не приехал в Индию в 1971 году и не узнал на месте, что из-за «сухого» закона в большинстве ресторанов спиртное не подавалось.

Зато как выигрышно выглядели на фоне худосочных сообщений из Азии, Африки и Латинской Америки материалы, периодически попадавшие из спецслужб стран НАТО, с радио «Свобода», из НТС, организаций украинских и прибалтийских национальных движений.

Самым разочаровывающим, конечно, было то, что из стана главного противника информация отличалась особой скудостью. Впрочем, об этом я знал еще будучи в Вашингтоне, но полагал, что неэффективность наших усилий по проникновению в ЦРУ и ФБР на территории США компенсируется успехами в третьих странах или в Москве. Оказалось, что никто всерьез этими вопросами не занимается. Б. Соломатин и некоторые другие более дальновидные руководители среднего звена неоднократно призывали сместить центр тяжести в работе против США на территории других государств, где обстановка позволяла добиваться результатов без особого риска и осложнений. Но куда там! Большинство резидентов и рядовых сотрудников исключали такой подход: ведь и в США можно расти как на дрожжах,

вербуя за гроши бирманцев, мексиканцев или марокканцев. В Центре ценили за вербовки, а не за провалы. На качество агентуры внимания обращали мало.

Моя задача как заместителя и заключалась в том, чтобы организовать работу наступательно, концентрируя усилия на приобретении источников в спецслужбах основных западных государств, прежде всего США, опираясь на агентуру в третьих странах и используя ее в первую очередь как вспомогательную силу.

На этом направлении легко просматривалась и очевидная политическая выгода: у Советского Союза нет интереса и желания вмешиваться во внутренние дела развивающихся государств, мы используем их территории и их людей только ради борьбы с империализмом и его приспешниками, где бы они ни находились.

Другая проблема, стоявшая во весь рост и требовавшая пристального внимания, заключалась в организации активной защиты огромного контингента советских граждан за рубежом.

Расширение внешних связей СССР привело к резкому увеличению численности советских колоний, росту туризма, культурного, спортивного и научно-технического обмена. Возросли масштабы загранопераций нашего торгового флота, авиации, коммерческих автоперевозок. Между тем атмосфера в советских колониях под воздействием международной разрядки отличалась известным благодушием и успокоенностью, особенно в странах с благоприятным режимом пребывания, чем не замедлили воспользоваться ЦРУ и его союзники.

В те годы ЦРУ в своем подходе к советским объектам руководствовалось наставлением, в котором, в частности, говорилось: *«Советские граждане представляют группу высокодисциплинированных людей, подвергающихся интенсивной идеологической обработке, бдительных и чрезвычайно подозрительных. Русские очень горды по характеру и чрезвычайно чувствительны ко всяким проявлениям неуважения. В то же самое время многие из них весьма склонны к различным приключениям, стремятся вырваться из существующих ограничений, жаждут понимания и оправдания с нашей стороны. Акт предательства, будь то шпионаж или побег на Запад, почти во всех случаях объясняется тем, что его совершают неустойчивые в моральном и психологическом отношении люди. Предательство по самой своей сути нетипично для советских граждан. Это видно хотя бы из сотен тысяч людей, побывавших за границей. Только несколько десятков из них оказались предателями, и из этого числа только несколько работали на нас в качестве агентов. Такие действия в мирное время, несомненно, свидетельствуют о ненормальностях в психическом состоянии тех или других лиц. Нормальные, психически устойчивые лица, связанные со своей страной глубокими этническими, национальными, культурными, социальными и семейными узами, не могут пойти на такой шаг. Этот простой принцип хорошо подтверждается нашим опытом в отношении советских перебежчиков. Все они были одиноки. Во всех тех случаях, с которыми нам приходилось сталкиваться, они располагали тем или иным серьезным недостатком в поведении: алкоголизмом, глубокой депрессией, психопатией того или иного вида. Подобные проявления в большинстве*

случаев явились решающим фактором, приведшим их к предательству. Может быть лишь небольшим преувеличением утверждать, что никто не может считать себя настоящим оперативным работником, специалистом по советским делам, если он не приобрел ужасного опыта поддерживать голову своих советских друзей над раковиной, куда выливается содержимое их желудков после пятидневной непрерывной пьянки.

Из этого вытекает следующий вывод: наши оперативные усилия должны быть направлены главным образом против слабых, неустойчивых объектов из числа членов советской колонии.

В отношении нормальных людей нам следует обращать особое внимание на представителей среднего возраста. Проявление различных эмоциональных и умственных расстройств имеет место наиболее часто у людей средневозрастной категории. Период жизни, начиная с тридцати семи лет и позже, включает наибольшее число случаев разводов, алкоголизма, супружеской неверности, самоубийств, растрат и, возможно, измены. Причина этого явления довольно ясна. В это время начинается спуск с физиологической вершины. Некогда дети, теперь выросли и вдруг столкнулись с острым сознанием того, что их жизнь проходит, амбиции и мечты юношества не сбылись, и иногда даже наступает их полный крах. В это время наступает момент перелома в служебном положении, перед каждым человеком встает мрачная и скорая перспектива пенсии и старости. Многие мужчины в этот период зачастую полностью пересматривают свои взгляды на жизнь, религию и моральные представления. Это то время, когда человек как бы заново приглядывается к себе и в результате часто бросается в

крайности. С оперативной точки зрения период сороковых штормовых представляет чрезвычайный интерес».

Фрагменты из приведенного выше наставления, добытого еще во время моего пребывания в Вашингтоне, показывали, как усердно ЦРУ изучает наших людей за границей, выявляет их уязвимость к вербовочным подходам. Но в отличие от американских государственных служащих, весьма прилежно исполняющих предписания служб безопасности, советские граждане относились ко всякого рода ограничениям как к прихотям КГБ, отрывке сталинских времен и т. п., игнорируя многие разумные инструкции и правила поведения. Нужны были энергичные меры для того, чтобы покончить с расхлябанностью в колониях, не перегибая при этом палки.

Один нашумевший инцидент помог решить сразу две взаимосвязанные проблемы, относящиеся к сфере обеспечения безопасности наших представительств. В Аргентине в ходе подготовки к проведению операции сотрудником ГРУ его попытались насильственно задержать; тут была и перестрелка, и погоня на автомашинах, — короче, все, как в классическом шпионском боевике. На телеграмме из Буэнос-Айреса по этому поводу Андропов начертал резолюцию: «Прошу срочно внести предложения в ЦК КПСС по усилению мер безопасности в советских учреждениях за границей». Исполнение поручили мне.

В новом качестве я проработал тогда меньше года, и незнание многих бюрократических процедур в центральном аппарате позволило быстро реализовать давно вынашиваемые идеи. Одна из них, заимствованная

из опыта госдепартамента США, заключалась в том, чтобы ввести в советских дипломатических представительствах профессиональную охрану, в данном случае из военнослужащих погранвойск КГБ. Ранее охранники подбирались в Москве из числа гражданских лиц, нередко по «блатным» рекомендациям. Исполняя роль наших сторожей, бдящих с берданкой возле складских помещений, они не могли противостоять любой серьезной попытке проникновения или захвата здания посольства.

Вторая идея сводилась к тому, чтобы укрепить и расширить учрежденный незадолго до этого институт офицеров безопасности, позволивший легализовать присутствие офицеров КГБ в посольствах с полномочиями приглашать любого советского гражданина для профилактических бесед, а также повседневно контролировать состояние защиты служебных зданий от физического и технического проникновения как со стороны местной контрразведки, так и потенциальных террористов. Впервые в практике КГБ офицерам безопасности вменялось в обязанность поддержание деловых связей с полицией или, при необходимости, контрразведкой.

Свои соображения я изложил в соответствующем документе. Через день он был подписан Андроповым и ушел на Старую площадь. Спустя неделю вышло решение ЦК, и тут разразился скандал. Первым шум поднял начальник погранвойск генерал армии Вадим Матросов. Узнав, кто автор документа, он позвонил мне и обругал за то, что никто не удосужился спросить мнение пограничников о несении службы за границей. «У нас все люди расписаны по заставам и штабам, где мне взять дополнительную численность?» — возмущался он. Затем

последовали звонки из кадров, из финансового отдела с аналогичными упреками. Некоторые руководители окрестили нововведение авантюрой и оперативной безграмотностью. «Да как же мы пустим за границу сотни солдат и офицеров? Они же разбегутся, сойдутся с местными девицами, и потом их днем с огнем не сыщешь», — стонал один кадровый начальник. «Надо посылать только офицеров с женами», — поддакивал другой.

В конце концов все утряслось. Написали дополнительные бумаги, создали краткосрочные курсы, и вскоре первые пограничники выехали на свои новые рубежи. С офицерами безопасности все обошлось без нервозности. Они постепенно заполнили почти все посольства и стали украшением наших дипломатических коллективов.

Некоторое время спустя, вспоминая, как лихим наскоком удалось добиться того, что казалось ранее невозможным, я понял, что, если бы с самого начала пошел по проторенной дороге бюрократических согласований, воз был бы и поныне там. Ни одно из подразделений КГБ не поставило бы визу на документе, зная, как тяжело дается увеличение численности персонала. Тогда шел только четвертый год пребывания Андропова у руля КГБ, и он еще стремился, как всякий законопослушный руководитель, соблюдать государственную финансовую дисциплину.

Надо отдать должное и моему непосредственному начальнику — В. Боярову, со стороны которого я встретил полное понимание и поддержку. Мое мнение о нем резко изменилось к лучшему, когда я столкнулся с ним в работе. Его собранность, деловитость, неказенный

стиль общения с подчиненными, сочетавшиеся с требовательностью и твердостью в отстаивании своих позиций, импонировали всем, кто хотел честно и всерьез заниматься делом. Это, несомненно, был руководитель современного типа — не малограмотный увалень, которыми, к сожалению, изобиловали многие высокие кабинеты, но человек обаятельный, умеющий расположить к себе своей искренностью, общей культурой и профессиональной эрудицией.

После того как сдвинулось решение давно назревших проблем, я высказал мысль о необходимости полной реорганизации Второй службы, создания на ее базе Управления, нацеленного прежде всего на агентурное проникновение в главные объекты разведывательного интереса — специальные службы США и других стран НАТО, а также Японии и КНР, связанные с ними центры идеологической диверсии и антисоветские националистические организации.

Сексотничество, столь распространенное во всех советских коллективах, но особенно в условиях компактного проживания за границей, должно было уступить место достоверной, желательной документальной информации, добытой в недрах разведок и контрразведок противника и свидетельствующей о реальных, а не надуманных планах и практической деятельности этих служб против Советского Союза, его учреждений и граждан за рубежом. Работа всех резидентур по контрразведывательной линии должна быть подчинена достижению конкретных результатов в борьбе с ЦРУ, все остальное имело вспомогательный характер. Необходимо создать самостоятельную службу информации и анализа добытых оперативных материалов, выпускать ежедневный бюллетень о всех

происшествиях и провокациях спецслужб, готовить прогнозы и специализированные информационные выпуски для внутренних органов КГБ. Такова в общих чертах была схема моих предложений. На послеобеденном чае в кабинете Боярова, вошедшем в обычай и дававшем возможность свободно обсудить любые вопросы, я изложил свою программу, ранее рассматривавшуюся нами только в частном порядке. Мои коллеги — заместители встретили ее настороженно, а Бояров, заметив, что он уже пытался говорить на эту тему с Сахаровским, выразил сомнение, что наша затея получит поддержку. Тем не менее решили поручить мне подготовку проекта реорганизации и новой структуры внешней контрразведки. Я засел за работу, но неожиданно Бояров предложил мне отправиться в Индию, чтобы опробовать на деле популяризируемую мною идею прямых вербовочных выходов на сотрудников ЦРУ.

Как оказалось, наши сотрудники в Дели накопили большой объем информации о деятельности ЦРУ на территории Индии и не знали, как ею распорядиться. Целое досье сформировалось на одного молодого цеэрушника, пренебрегавшего элементарными правилами конспирации и невольно приводившего на свои тайные встречи с агентурой шпикиков из местной контрразведки. Его профессиональная беспомощность и послужила отправной точкой для плана вербовки, предусматривавшего знакомство в располагающей для беседы обстановке, зондаж, а потом лобовое предложение о сотрудничестве с КГБ с последующей угрозой опубликования в местной прессе всех материалов, если вербуемый откажется принять наши условия. При проработке плана шанс на успех

оценивался как пятьдесят на пятьдесят. Многое зависело от личных качеств объекта, но в любом варианте мы имели возможность получить пропагандистский выигрыш, учинив скандал в прессе с обвинениями ЦРУ во вмешательстве во внутренние дела Индии.

В аэропорт Палам я прибыл поздно ночью. Январский воздух не обжигал щеки, как это было в Москве всего несколько часов назад, но по индийским меркам было холодно. Горели костры, обогревавшие продрогших людей и издававшие специфические запахи, настоянные на смеси кизяка и сухих трав. Меня поразила неприкрытая бедность и убогость вокруг и вместе с тем необычная приветливость и жизнерадостность на многих лицах, как будто жизнь шла в другом мире, над нищенским бытием и страданиями. На фоне Америки и Западной Европы Москва выглядела невзрачно, но по сравнению с Дели, если не брать его центральную часть, ухоженную еще в колониальные времена, Москва вполне походила на крупную мировую столицу.

Разместившись в посольстве, я начал знакомиться подробно с материалами досье, изучил обстановку в городе, получил индийские автомобильные права. Заодно посмотрел, как организована работа контрразведки, что из себя представляют ее сотрудники и чего можно от них ожидать. Признаться, я позавидовал солидному агентурному аппарату резидентуры.

Советско-индийские отношения в то время находились в отличном состоянии, и главная задача заключалась в том, чтобы не допустить сползания Индиры Ганди вправо. Рычаги для этого в индийском руководстве имелись, и посол Н. Пегов как мог играл отведенную ему роль. Резидентура, используя

доверительные связи, а если надо — подкуп и финансирование избирательных кампаний, содействовала проведению общего курса на сохранение Индии как дружественного партнера СССР на международной арене. Информация в резидентуру поступала в изобилии, и, когда один министр намекнул, что он не прочь был бы получить приличный гонорар за секретные сведения, от его услуг отказались, поскольку все, что он мог дать, уже перекрывалось имеющимися оперативными возможностями.

Мое пребывание в Дели, разумеется, не афишировалось, чтобы не привлекать внимание ЦРУ, следившего за прибытием и отбытием определенной категории советских граждан. Однако у нас состоялась дружеская вечеринка с участием резидента ГРУ, разоблаченного много лет спустя как агента американской разведки. Видимо, от него в посольстве США и стало известно о моем вербовочном выходе на их сотрудника, прикрытого дипломатической должностью.

Само мероприятие состоялось во время ужина в доме моего коллеги, который заблаговременно удалился на кухню, чтобы не мешать нашей беседе. Из предосторожности я надел очки с затемненными линзами и закурил сигарету, чем никогда прежде не баловался. Моя предполагаемая жертва вела себя спокойно, уплетала за обе щеки расставленные на столе закуски и как будто не подозревала о готовящейся акции. В какой-то момент, когда разговор естественно подошел к желаемой кульминации, я задал вопрос, от которого челюсть моего собеседника неожиданно отвалилась и он замер в оцепенении. В сущности, я воспользовался одним из приемов ЦРУ, смысл которого сводился к следующему: мы с вами занимаемся одним и тем же, но каждый

по-своему. Я предлагаю сделку. Вы получите десятки тысяч долларов при условии, что будете передавать нам информацию о деятельности ЦРУ против СССР, КГБ в свою очередь поможет вам в получении сведений, которые обеспечат вам блестящую карьеру в разведке.

Мой собеседник не успел опомниться, как я ввел материалы, свидетельствовавшие о его головотяпстве и небрежности в работе. «Мало того, что вы подставили под удар с десятков индийских военнослужащих и политических деятелей, которых прикармливали из кармана ЦРУ, — убеждал я его. — Вы подвели собственное правительство. Если обо всем узнает общественность страны, позиции США в Индии будут сильно подорваны, а вы за свои грехи поплатитесь работой и благополучием».

Мне было жалко смотреть на человека, еще десять минут назад беспечно хохотавшего по поводу рассказанного анекдота и самоуверенно изрекавшего банальные истины. Сейчас он казался надломленным, испуганным и готовым сказать «да». «Сколько вы сможете заплатить сразу, если я дам согласие?» — спросил он. «Двадцать пять тысяч. И далее по мере ваших разумных потребностей, но без лимитов», — ответил я, чувствуя, что клев начался.

Он колебался, складывалось впечатление, что внутри его идет борьба с самим собой. А может быть, он пытался выиграть время? Я назвал еще две фамилии его индийских агентов и ситуации, в которых он с ними встречался. Он снова вздрогнул и, наконец, сказал: «Поймите, ваше предложение соблазнительно. То, что вы здесь преподнесли, будет для меня уроком. Но я не могу моментально принять решение. Это очень нелегко.

Вся моя жизнь, мои убеждения не приемлют измены. Я должен подумать. Дайте мне ночь на размышления. Я готов снова встретиться, но ответа сейчас дать не смогу». Его искренние, жалостливые слова не оставляли мне иного выбора, и, выпив по рюмке за новую встречу, мы расстались до утра.

На следующий день в обусловленное время на месте его не оказалось. А утром третьего дня Пегов пригласил меня к себе и показал ноту американского посла в Индии Китинга с протестом против провокации, совершенной в отношении американского дипломата. Называлась при этом моя фамилия как главного исполнителя. «Я отвел протест, — сказал Пегов, заранее информированный нами о предстоящей акции, — и в свою очередь выразил возмущение наглым поведением американских разведчиков, пытающихся вербовать советских граждан. Китинг на своем протесте не настаивал».

Так закончилась одна из немногих лобовых атак на ЦРУ, когда-либо предпринятых КГБ с целью приобретения источника внутри организации. Я еще немного задержался в Индии, съездил в Бомбей, Джайпур и Мадрас, опробовал крутые волны Индийского океана, а затем вылетел в Москву.

В ПГУ оживленно обсуждали просочившиеся в коридоры слухи о неудачной вербовочной операции. Мне сочувствовали, многие считали мою разведывательную карьеру законченной. Доброжелательные критики выражали, однако, надежду, что в развивающуюся азиатскую страну путь мне закрыт не будет. Я же возобновил работу над проектом реорганизации Службы. От идеи новых вербовочных подходов к сотрудникам ЦРУ я не отказался. «Если из пятидесяти попыток одна

завершится успехом, значит, вы поработали не зря», — этот совет дал мне Ким Филби, когда я встретился с ним в очередной раз, чтобы поделиться сомнениями относительно целесообразности избранной тактики.

Мое знакомство с легендарным героем состоялось при несколько необычных обстоятельствах. Бояров, обремененный многочисленными делами, передал мне кураторство над двумя оставшимися в Союзе бывшими сотрудниками английской разведки. В ПГУ только что закончилось расследование обстоятельств побега в Лондоне сотрудника резидентуры О.Лялина, вскрылись неблагоприятные поступки как самого перебежчика, так и покрывавших его начальников. На одном из совещаний по этому поводу Андропов высказал недовольство уровнем воспитательной и контрразведывательной работой в загранточках КГБ. Он предложил разработать специальную программу сманивания офицеров западных спецслужб на советскую сторону. Она должна была включать в себя обещание крупных сумм денег, комфортабельной квартиры и дачи, полную свободу передвижения в пределах СССР и Восточной Европы. Одновременно он поинтересовался, как устроились осевшие в Москве иностранцы вроде Филби, Блейка и Маклина, и рекомендовал уделять им больше внимания и заботы.

С этими указаниями сверху я и направился на квартиру Филби, располагавшуюся под самой крышей старого московского дома в тихом переулке рядом с улицей Горького. Когда я вошел в прихожую, навстречу из полумрака двинулась полусогнутая фигура и на ломаном русском языке произнесла нечто вроде приветствия. От хозяина дома несло перегаром, он едва стоял на ногах и, не успев познакомиться со мной, стал

изрыгать бессвязные ругательства по адресу власти, КГБ и всех на свете. Я стоял ошарашенный, не зная, как себя вести. Щемящее чувство жалости овладело мной. Передо мной стоял несчастный человек, и никто меня бы не убедил, что это результат его беспробудного пьянства.

Через минуту появилась хозяйка, Руфа Ивановна, миловидная рыжеволосая женщина, испуганно и суетливо принявшаяся снимать с меня пальто. С ее любезного приглашения я прошелся по квартире, просторной, с высокими потолками и сырыми подтеками в углах, рассматривая скудную, почти аскетическую обстановку в уютных холодных комнатах. Только в кабинете Филби я обнаружил неуловимое ощущение тепла, исходившего скорее от многочисленных книг и постоянного пребывания в нем живого существа. Смысла задерживаться в гостях не было, и минут через двадцать, договорившись с Руфой навестить их в ближайшем будущем, я откланялся.

Я доложил о своих впечатлениях Боярову. Надо что-то предпринимать, иначе Филби погибнет. И мы разработали программу действий, которая включала: вывод Филби и Блейка из искусственной изоляции, привлечение их к работе в качестве консультантов, советников; участие в процессе обучения молодых сотрудников ПГУ, готовящихся к работе в Англии; выезды на отдых и для выступлений в страны социалистического содружества; приглашение на общественные мероприятия, проводимые в зданиях КГБ; ремонт квартир и приобретение приличной мебели; покупка за валюту одежды, книг и бытовых электроприборов; выделение лимитов на дефицитные продукты питания; закрепление за Филби и Блейком специального помощника по обслуживанию. Через несколько дней я посетил квартиру

Блейка. Здесь тоже были проблемы, но Джордж отличался от Кима лучшей приспособленностью к жизни, он имел постоянную и хорошо оплачиваемую работу в Институте мировой экономики, маленького сына Мишу. Блейк и его жена Ида радушно встретили нового куратора, и отношения наши скоро переросли в семейно-дружественные.

Мой следующий визит к Филби позволил оценить ситуацию более объективно и взвешенно. Предварительно я ознакомился с материалами его дела. Выяснилось, что даже в те годы, когда Филби работал особенно продуктивно в Москве, ему не доверяли. Одна сотрудница ПГУ, анализирувавшая его агентурные сообщения в пятидесятых годах, пришла к выводу, что он является подставой англичан с целью дезинформации советского руководства. Паранойя подозрительности, присущая всей системе, а органам госбезопасности в особенности, сказала и на отношении к Филби. Много лет спустя после его побега из Бейрута начальник группы безопасности С. Голубев, принесший мне досье Филби, высказался в том духе, что Филби, возможно, заслан в СССР английской Интеллидженс Сервис на длительное оседание. Отсюда настороженное внимание к нему в течение многих лет, прослушивание квартиры и телефона, периодическая слежка.

Надо было кончать с таким отношением к человеку, отдавшему себя великой идее, захватившей его, как и миллионы других, в юные годы.

Прежде всего надо было ввести в дом Кима новых людей. Раньше он почти ни с кем не общался. Теперь к нему стали ходить представители английского отдела, контрразведки, Службы активных мероприятий. Мы

садились в гостиной и часами обсуждали насущные проблемы дня. С трудом Ким выходил из своей скорлупы, он не совсем понимал, что происходит. Привычная тишина в квартире оглашалась громкими разговорами, шутками, смехом. Мы не отказывались от предлагавшейся водки, но высказывали желание лучше выпить шампанского или вина. Потом Ким, зная наши наклонности и, видимо, вспомнив лучшие времена в своей жизни, сам перешел на угощение только шампанским и вином. Мы тоже прихватывали бутылку-две, чтобы отбить у него охоту забавляться с водкой.

Через короткое время я попросил Кима написать эссе о работе английской внешней контрразведки и его личных взглядах на эту проблему. Служба «А» принесла документы Пентагона, и Ким корпел над изготовлением фальшивки о якобы готовящемся заговоре американской военщины в Европе против прогрессивных сил. Английский отдел пригласил Филби на чай к выпускникам Краснознаменного института КГБ рассказать о быте и нравах англичан, правилах поведения в обществе и других особенностях жизни на Британских островах. Хоккеисты «Динамо» овациями приветствовали появление Филби в их компании накануне отъезда на мировой чемпионат по хоккею.

Известно было, что Ким хочет издать на русском языке книгу о своей карьере в разведке, и я рекомендовал ему готовить рукопись к печати, предложив написать для нее предисловие. Когда эта книга, преодолев упорное сопротивление всесильного члена Политбюро Суслова, вышла наконец в 1980 году в свет, Филби в свойственной ему игривой манере написал на ней: «Людмиле и Олегу с глубокой благодарностью и

счастливыми воспоминаниями о наших встречах. Мне пришло в голову, что перед Людмилой надо было поставить слово «прекрасная». Бедный Олег! Одного прекрасного человека в семье уже достаточно». Я тогда уже работал в Ленинграде, и Ким переслал вместе с книгой записку: «Могу повторить то, что я уже сказал Мише Любимову, — все сегодня не так, как было, — но после двухчасового разговора с Агеевым (зам председателя КГБ. — *О. К*) у меня сложилось впечатление, что кое-кто может измениться к лучшему. Но это между нами. В Византии молчание — золото. Всего хорошего, старик».

Наши усилия создать вокруг Филби обстановку доверия и заботы, а главное — обеспечить ему возможность трудиться увенчались успехом. Он преобразился, практически прекратил пить, из глаз ушли тоска и безразличие. Он почувствовал, что еще нужен людям и Службе, которая пренебрегала им столько лет.

Филби отличался от многих агентов КГБ, с которыми мне приходилось общаться, своим бескорыстием, снисходительно-высокомерным отношением к материальному благополучию. Он много читал, ежедневно слушал Би-би-си. Как-то я ему сказал, что с удовольствием слушаю письма из Америки Алистера Кука. Оказалось, что и Ким, зная Кука еще по Англии, был его почитателем.

Профессионализм и эрудиция Филби позволяли ПГУ грамотно готовить дезинформационные документы, которые затем наводняли Запад. Учитывая большой объем выполненных работ, я предложил выплатить ему гонорар в несколько тысяч, но Ким гордо отказался: «Ты

же знаешь, старик, что я никогда не брал деньги. Мне сейчас вполне хватает пенсии и ничего другого не надо».

Тем не менее выделенные Андроповым деньги я решил потратить с пользой для Кима и купить ему финский мебельный гарнитур. Тайком от него я пригласил Руфу Ивановну в магазин и предложил ей на выбор несколько вариантов. В один прекрасный день на квартиру Кима пришел неожиданный им груз. Руфа Ивановна потом рассказала: «Когда Филби увидел роскошные кресла, диван, столы и секционную стенку, он изумился. Долго ходил вокруг, поглаживая палисандровые бока и мягкую красочную обивку мебели. Ночью, около трех, я проснулась и с испугом заметила, что Кима в спальне нет. Я встала и, приоткрыв дверь, увидела свет в гостиной. Ким сидел на новом диване и с восхищением разглядывал сверкающий за стеклом стенки хрусталь. «Я чувствую себя счастливым, — сказал он. — До чего красиво стало в квартире. Почему-то раньше я об этом не думал». Я тоже был счастлив: я помог вернуть Кима к жизни.

К тому времени мы сделали капитальный ремонт в его доме. Он побывал почти во всех странах Восточной Европы (кроме ГДР: к немцам он с давних пор испытывал антипатию), и интерьер в квартире обогатился многочисленными дарами руководителей служб безопасности этих стран.

Чем больше я общался с Кимом, тем явственнее ощущал в нем растущее непонимание того, что происходит в советском обществе. Когда мы только узнали друг друга, Ким проявлял большую сдержанность в своих оценках политических событий. Для него я был очередной начальник из КГБ, а для предыдущих у него

не находилось теплых слов. Но когда вместе с бывшим резидентом в Дании М. Любимовым мы перешагнули официальные рамки общения и дали понять, что с нами он может чувствовать себя спокойно, Филби доверился нам. В откровенных беседах он не скрывал своего разочарования тем, как воплощается социалистический идеал. Он вспоминал о своих поездках по провинции, с брезгливым отвращением говорил об убогости нашей жизни, грязи, неухоженности, хамстве — о всем том, что люди наши знают не понаслышке.

Еще в ходе обсуждения вопроса о ремонте квартиры я предложил Киму посмотреть три другие свободные квартиры на случай, если он не пожелает остаться в старой. Одна располагалась напротив ресторана «Арагви», в самом центре города, и Киму как будто понравилась. Другая была в районе «Сокола», а третья — на лестничной площадке моего дома, напротив моей квартиры (потом в ней поселился зам министра мясной и молочной промышленности СССР, небезызвестный герой краснодарской мафии Тарада). Посмотрев все варианты, Ким предпочел остаться там, где прожил уже много лет. «Я консерватор, хотя не из тех, которые хотят вернуть вашу страну к сталинским временам», — пошутил он со злой иронией.

Слух о том, что Филби и Блейк пользуются всяческими благами, в том числе правом свободных встреч с родственниками и даже отдельными иностранцами, дошел до бывшего члена «великолепной пятерки» Дональда Маклина, порвавшего отношения с Филби после ухода к последнему его жены. Маклин через Блейка обратился с просьбой к Андропову освободить его от опеки Второго Главка и передать на связь в ПГУ. Так нашим заботам был вверен еще один агент советской

разведки — серьезный ученый, специалист-международник и большой эрудит, весьма критически воспринимавший многие стороны советской действительности. Возможно, в силу личных свойств характера он не пытался предварительно прощупать мои взгляды и почти с первых встреч, не стесняясь, «понес» Брежнева и его камарилью. Зная, что его квартира прослушивается контрразведкой, я пытался как-то упредить поток упреков Маклина в адрес советского руководства. Но бесполезно. Однажды на обеде, устроенном Крючковым, Маклин, рассуждая в обычной для него свободной манере, пошутил: «Народ, который каждый день читает «Правду», непобедим». Крючков не оценил двусмысленность афоризма бывшего сотрудника МИД Великобритании и не среагировал. В другой раз я принес на квартиру Маклина пакет с книгами, присланными из Дании Любимовым, приложив к ним имевшийся у меня лишний экземпляр книги Томаша Ржезача «Спираль измены Солженицына», изданной в Чехословакии с помощью КГБ. Через день Маклин вернул мне ее с запиской: «За подарок спасибо, но макулатуру мне больше не присылайте. Это меня оскорбляет».

В последние годы Маклин практически перестал пить. Собственное будущее его мало интересовало. У него развивалась почечная болезнь, и он, кажется, подозревал, что жить ему осталось недолго. У меня он просил только одного — отпустить жениха его дочери, советского гражданина, на Запад, в эмиграцию. Это пожелание Маклина я выполнил.

Постепенно наладив отношения с Филби, не встречая особых проблем в организации работы с Блейком, а затем с Маклином, я продолжал усиленно трудиться над проектом реорганизации Службы.

Сахаровский к тому времени ушел в отставку, и назначенный на его место Федор Мартин как будто благосклонно относился к идее усиления внешней контрразведки.

Летом 1972 года на заседании коллегии КГБ наши предложения о преобразовании Службы в Управление «К» без особых поправок были одобрены. Выступивший с заключительным словом Андропов сказал: «Принятое решение далеко выходит за рамки ПГУ, потому что контрразведка внешняя является продолжением нашей внутренней контрразведки за рубежом. Были всякие рассуждения на этот счет, и мы правильно поступили, сосредоточив все в разведке. Но, повторяю, это вопрос всего КГБ. Главная задача Управления «К» — проникновение в спецслужбы противника, тесное сотрудничество и работа на Второе, Третье и Пятое управления. Нам нужен общий план по координации этой работы. Нужны и серьезные меры по обеспечению безопасности работы разведки, усиление контроля — без подозрительности и недоверия — за теми, кто своевременно не докладывает о совершенных провокациях. Американцы намекают на наличие своей агентуры в КГБ. Надо с этим разобраться.

Проблемы безопасности советских колоний за границей должны, как в документах Госплана, проходить красной чертой в планах и практической деятельности резидентур. Управление «К» призвано обеспечить полный контроль за всеми происходящими там процессами, своевременно и эффективно решать назревающие вопросы».

Итак, начался новый этап в жизни внешней контрразведки. Нам добавили людей, средств на

приобретение оборудования и создание современного банка данных. С переездом в Ясенево мы получили отличные кабинеты, в которых разместились сотни офицеров. Шесть оперативных отделов охватывали все географические районы мира, из них три специализировались на эмиграции и центрах идеологической диверсии (позже к ним добавились проблемы терроризма), организации внутренней безопасности, работе на каналах международных транспортных перевозок, главным образом морских. Седьмой отдел выполнял роль аккумулятора информации, стекавшейся из оперативных отделов, а также других подразделений ПГУ, КГБ и ГРУ. Здесь же сосредоточивались все публикуемые на Западе материалы о деятельности спецслужб всех стран, досье на разведчиков ЦРУ. Этот отдел готовил и обобщенные справки об оперативной обстановке за границей, и ежедневные сводки о происшествиях в совколониях, и долгосрочные прогнозы.

Стержнем работы Управления, пронизывающим деятельность всех его отделов, стала организация агентурного проникновения в стан главного противника — Центральное разведывательное управление США и союзные с ним спецслужбы НАТО, подготовка и проведение активных мероприятий, направленных на сковывание, пресечение и разоблачение их подрывных операций против СССР и стран социалистического содружества.

К тому времени состояние внешней контрразведки, как отмечалось выше, было плачевным. Ценные источники информации сохранились лишь во Франции. Спорадически появлялись и исчезали единичные «добровольцы» в США и Канаде. По ФРГ регулярно шла

подпитка материалами из МГБ ГДР. И все. Отсутствие системности и грамотного учета иногда создавало позорные для любого профессионала ситуации, когда, например, на поиск фотографии здания ЦРУ в Лэнгли для доклада руководству КГБ требовались сутки.

Вместе с Бояровым мы энергично приступили к созданию новых структур и облика внешней контрразведки. Но моему шефу не суждено было долго задержаться в новом качестве. Весной 1973 года, в один из заездов Андропова в Ясенево, его пригласили, как это случалось и раньше, на доклад к Председателю. Я остался ждать Боярова в его кабинете. Вернулся он необычно скоро и, едва войдя, сказал: «Я больше не начальник Управления. Меня переводят заместителем во Второй главк». Он был явно расстроен. Когда-то придя в разведку из территориальных органов на Украине, он слишком хорошо знал цену внутренним аппаратам госбезопасности, бесконечной, нередко мелочной возне, в которой они увязли.

«Я рекомендовал тебя в качестве моего преемника, — прервал грустное молчание Бояров. — Андропов тут же спросил мнение присутствовавших, позвонил Григоренко. Все твою кандидатуру поддержали».

Мы тепло распрощались через месяц, когда Бояров переехал на Лубянку, и с тех пор не прерывали дружеской связи.

Теперь я оставался в некотором смысле в одиночестве. Единомышленников среди замов почти не было, если не считать Николая Лысенко — экспансивного, трудно управляемого, но порядочного человека. Остальные приняли нового начальника

сдержанно — моя относительная молодость и слишком короткий срок работы в контрразведке настраивали их на выжидательный лад. Вскоре, однако, удалось преодолеть внешнюю отчужденность, да и напор повседневно возникавших вопросов не оставлял времени для всякого рода рефлексий.

Продолжая развивать начатую при Боярове наступательную тактику, мы разработали серию практических шагов, направленных на расширение базы наших операций и повышение их продуктивности. К ним можно отнести:

— Организацию оперативных игр с ЦРУ, английской СИС, западногерманской БНД и другими западными спецслужбами с помощью подставленных им — под видом политических диссидентов или сребролюбцев — агентов КГБ. Для выполнения этой нелегкой миссии заранее готовились люди из числа проверенных, надежных гражданских лиц любой специальности. Использование офицеров КГБ в таких делах практически исключалось, равно как ограничивалось и участие в них носителей государственных секретов. Лишь однажды в Канаде мы прибегли к услугам своего собственного работника, поскольку он удачно вошел в контакт с местной контрразведкой РСМП. Собрав достаточно улик для публичного разоблачения (включая полученные от канадцев деньги), мы учиняли скандалы, получившие громкий международный резонанс. Ряд историй с захватом американских разведчиков на территории СССР в момент проведения ими тайниковых операций также явился результатом успешной реализации наших оперативных игр.

— Использование агентов в спецслужбах развивающихся государств для систематического и целенаправленного сбора сведений компрометирующего характера о сотрудниках западных разведок с последующими вербовочными выходами на них. Мой индийский дебют был неоднократно повторен в других азиатских и африканских странах и на территории СССР с участием внутренней контрразведки. Одна сопряженная с риском операция такого рода была проведена в Канаде. Но местные власти среагировали на нее весьма болезненно и выдворили нескольких советских сотрудников из страны, в том числе и не причастных к делу.

— Проведение аналогичных мероприятий с использованием территорий и органов безопасности стран Восточной Европы, Кубы и Вьетнама. Здесь приоткрылись ранее не изведенные возможности.

— Применение технических средств для проверки агентуры, внедрение подслушивающих устройств в интересующие разведку объекты за границей, секретные выемки документов из этих объектов.

В связи с тем, что Управление «К» контролировало практически все оперативные игры со спецслужбами противника, вопрос о проверке агентов, участвующих в играх, приобрел особую актуальность, когда на Запад хлынул поток эмигрантов. Сотни, а возможно, и тысячи выехавших в Израиль и США «отказников» давали перед выездом подписку о верности и желании помогать впредь своей бывшей Родине. В ряде случаев отбывающие на Запад агенты проходили краткую спецподготовку и проверялись на детекторе лжи.

Хотя установка техники подслушивания и секретные выемки в условиях заграницы практиковались крайне редко, мы считали, что дело это перспективное и должно постоянно находиться в поле зрения резидентур. Вдохновляли нас удачи с организацией подслушивания важного американского объекта в одной из стран Средиземноморья и дерзкая выемка (а проще — кража) с помощью агента — крупного международного вора — большого числа служебных документов из сейфа одной французской компании, работавшей по контракту с министерством обороны Франции в области высоких технологий.

С созданием Управления удалось наконец по-настоящему наладить учет всех сведений, касающихся деятельности не только западных спецслужб, но и международных террористических групп, создать унифицированный справочник с фотографиями выявленных террористов, где бы они ни находились и какой бы политической ориентации они ни придерживались. Такой справочник впервые в истории КГБ вышел в свет в 1977 году и был затем разослан во внутренние аппараты КГБ и пункты въезда иностранцев в СССР.

Примерно в то же время закончилась работа над другим справочником под условным названием «Кто есть кто в ЦРУ США». Над его созданием трудился коллектив специалистов-аналитиков. Колоссальную работу провели они по постановке на учет тысяч сотрудников и агентов ПИДЕ — португальской охраны времен диктатора Салазара. В середине семидесятых годов, когда в Португалии царил революционный хаос, местная компартия с помощью своих единомышленников в службах безопасности выкрала часть архивов ПИДЕ и

передала резидентуре КГБ в Лиссабоне целый грузовик, заполненный картотеками ПИДЕ. Просматривая карточки агентуры ЦРУ, неизвестно как попавшей в регистрационные листы ПИДЕ, я обнаружил на одной из них фамилию дамы, сумевшей в Колумбии вовлечь в любовную, а затем агентурную связь советского дипломата Огородника, впоследствии разоблаченного в Москве как американского шпиона.

Совсем иной работой, легкой и почти увлекательной, была постановка на учет сотрудников и агентов спецслужб некоторых европейских государств с устойчивыми демократическими традициями. Помнится, в финской контрразведке тогда насчитывалось всего около ста сотрудников, а агентурный аппарат французской разведки поразил нас своей малочисленностью и низким качеством.

Пришлось продолжить и начатое Бояровым постепенное очищение внешней контрразведки от слабых, не оправдавших себя на практике кадров. Я исходил из того, что борьбу с ЦРУ или СИС могут вести только те, кто по деловым и интеллектуальным данным стоят по крайней мере на уровне своих противников. Другой подход обрекал бы все наше предприятие на неудачу. К сожалению, расставаясь с балластом, мы не всегда приобретали взамен лучших людей. Все чаще по разнарядке партийных органов ряды профессиональных разведчиков разбавлялись верхоглядами из обкомовских аппаратов, детьми высокопоставленных государственных деятелей. Конечно, и среди них не все были пижонами. Так, зятья министра морского флота СССР и Председателя КГБ Белоруссии не выделялись из общей массы какими-то претензиями. Но зато сын управделами ЦК КПСС Павлова при первой же встрече со мной заявил,

что он с папой уже решил, в какой стране ему лучше работать, и мое мнение его не интересует. Устраивали своих знакомых во внешнюю контрразведку и некоторые руководители КГБ. Бывший секретарь парткома КГБ вице-адмирал Михаил Усатов просил пристроить Виталия Юрченко — сотрудника военной контрразведки, ранее обслуживавшего советскую средиземноморскую эскадру; начальник Московского УКГБ Виктор Алидин ходатайствовал за своего помощника и т. п.

Не всегда удавалось этому противодействовать. Юрченко взяли и послали затем, на свою голову, офицером безопасности в Вашингтон; помощнику Алидина отказали, и грозный московский начальник затаил в себе зло на строптивного шефа внешней контрразведки.

Я старался не замечать мелких уколов со стороны, показывая личный пример чем мог, работая по двенадцать часов в сутки, выезжая на встречи с агентурой из числа сотрудников военной разведки США, спецслужб Франции, Швеции. В Зальцбурге и Хельсинки, Женеве и Афинах я общался с агентами ЦРУ и бывшими его сотрудниками, желавшими заработать на сотрудничестве с советской разведкой.

Одна такая встреча состоялась в Вене на вилле, арендованной советским представительством. Мой собеседник был на грани увольнения из ЦРУ и сам предложил свои услуги.

Когда его взяли в машину на условленном месте, он очень нервничал, начиная беседу со мной и моим помощником. Но мы быстро рассеяли его страхи, предложив тосты за мир и дружбу в лучших традициях нашего официального протокола. Затем ему было

разъяснено, что мы хотим заключить сделку в соответствии с его пожеланием, однако выплатить сразу запрошенные восемьдесят тысяч долларов не сможем до получения информации, которая нас удовлетворит.

В течение двух суток, с перерывами на обед, ужин и сон, мы вели целенаправленный опрос, давший нам основание поверить в искренность намерения доброжелателя. Тем не менее, учитывая совет Андропова перед отъездом из Москвы не спешить с передачей всей суммы денег, я предложил нашему партнеру половину запрошенной суммы. Мы не ожидали последовавшей гневной реакции. «Вы хотите меня загнать на виселицу!» — вскричал он, не чувствуя более ни страха, ни стеснения. Ваши сорок тысяч — мертвому припарки. Я должен расплатиться с долгами и восстановить свой статус в обществе или просто пустить пулю в лоб. Если вы не хотите последнего, держите слово. Я вам рассказал все, что мог, теперь очередь за вами!»

«Что ж, надо быть джентльменом», — подумал я, вытаскивая из кармана еще сорок тысяч. В конце концов санкция на передачу именно этой суммы была. Наш новый друг благодарно засопел и пожал мне руку.

Дальнейшие встречи переместились в Вашингтон, в «боевые» условия, но вскоре пришло известие, что он арестован. Гораздо позже я узнал, что в резидентуре КГБ в Индонезии давно сидел агент ЦРУ, ставший впоследствии секретарем парткома Института КГБ имени Андропова. Именно он и предал нашего сребролюбца, многие годы до этого работавшего в Юго-Восточной Азии.

Лишь через год после назначения, преодолев понятную поначалу неуверенность, я почувствовал, что

дело мне по плечу. Сверху мои начинания полностью поддерживали, особенно первый заместитель ПГУ Борис Иванов. Мортин тоже, бурча, соглашался с необычными для бывшего партаппаратчика инициативами. При нем мы начали разработку плана похищения сотрудника ЦРУ в Бейруте силами палестинцев и от их имени. Уже все было готово, но Андропов в последний момент не дал разрешения. «Нам не следует заниматься такого рода делами, — сказал он. — Представьте, что ваша затея лопнет или каким-то образом о ней станет известно американцам. Тогда ждите беды. У них возможностей для похищения наших сотрудников побольше. Это будет война разведок. Выгоды от нее для государства я не вижу».

Как начальник Управления Мортин привлек меня к участию в разработке советской разведывательной доктрины — идеи Андропова, воплощение которой в жизнь сильно задерживалось. Этот документ содержал тогда следующие основные положения: *«В условиях раскола мира на два враждующие лагеря, наличия у противника оружия массового уничтожения, резкого усиления фактора внезапности в ракетно-ядерной войне главная задача разведки заключается в выявлении военно-стратегических планов противостоящих СССР государств, своевременном предупреждении правительства о назревающих кризисных ситуациях и предотвращении внезапного нападения на Советский Союз или страны, связанные с СССР союзническими договорами.*

Исходя из этой задачи, разведка КГБ направляет свои усилия на решение узловых проблем, потенциально чреватых международными конфликтами и могущих при неблагоприятном развитии событий как в ближайшей,

так и в отдаленной перспективе представить непосредственную опасность для Советского государства и социалистического сообщества в целом. В первую очередь она учитывает факторы, от которых зависит нынешнее соотношение сил на мировой арене, а также возможные принципиальные изменения в сложившемся равновесии. К ним, в частности, относятся:

— возникновение новой политической ситуации в США, при которой возобладают представители крайне агрессивных кругов, склонные к нанесению превентивного ракетно-ядерного удара по СССР;

— возникновение аналогичной ситуации в ФРГ или Японии, подкрепленной реваншистскими и великодержавными устремлениями;

— развитие до крайностей авантюристических, левацких взглядов, в результате которых отдельные государства или группа государств могут спровоцировать мировую войну в целях изменения сложившегося соотношения сил;

— попытки империалистических сил в различной форме разобщать социалистическое содружество, изолировать и оторвать от него отдельные страны;

— возникновение кризисных ситуаций военно-политического характера в отдельных стратегически важных районах и странах, развитие которых может поставить под угрозу существующее равновесие или втянуть великие державы в прямую конфронтацию с перспективой перерастания в мировую войну; развитие аналогичных ситуаций в пограничных и сопредельных несоциалистических странах;

— качественно новый скачок в развитии научно-технической мысли, обеспечивающий противнику явный перевес в военном потенциале и средствах ведения войны.

Действуя в соответствии с директивами по указаниям ЦК КПСС и советского правительства, внешняя разведка КГБ одновременно решает следующие основные задачи:

в военно-политической области

— своевременно выявляет политические, военно-политические и экономические планы и намерения, особенно долгосрочные, главных империалистических государств, в первую очередь США, их союзников по агрессивным блокам, а также группы Мао Цзэдуна в отношении Советского Союза и других социалистических стран;

— вскрывает замыслы противника, направленные на ослабление социалистического содружества, подрыв его единства;

— систематически изучает политическую обстановку в социалистических странах, обращая особое внимание на деятельность империалистической агентуры, антисоциалистических, ревизионистских и националистических элементов. Укрепляет сотрудничество и взаимодействие с органами безопасности социалистических государств;

— добывает информацию о планах противника по борьбе с коммунистическим, рабочим и национально-освободительным движениями;

— следит за положением в сопредельных с Советским Союзом несоциалистических государствах, их внешней политикой, за их возможными попытками антисоветского сговора или совершения враждебных СССР акций;

— добывает секретную информацию о закулисных сторонах внутривнутриполитического, военного и экономического положения стран главного противника, существующих или назревающих внутренних и межгосударственных противоречиях, положении в военно-политических блоках, экономических группировках и другие данные, необходимые для разработки и осуществления советской внешней политики;

— выявляет уязвимые места противника и во взаимодействии с другими советскими ведомствами осуществляет меры по ослаблению и подрыву его политических, экономических и военных позиций, по отвлечению его внимания от тех районов и стран, где активность противника может нанести ущерб интересам Советского Союза;

— проводит комплексный и непрерывный анализ и прогнозирование международных проблем, наиболее актуальных и острых с точки зрения интересов Советского Союза, социалистического содружества и международного коммунистического движения в целом;

в научно-технической области

— добывает секретную информацию о ракетно-ядерном вооружении стран главного противника и их союзников по военно-политическим блокам, о других средствах массового уничтожения и защиты от них, а также конкретные данные о перспективных направлениях в науке, технике и технологии производства в ведущих капиталистических государствах, использование которых могло бы способствовать усилению военно-экономического потенциала и научно-технического прогресса Советского Союза;

— своевременно выявляет и прогнозирует новые научные открытия и тенденции развития зарубежной науки и техники, могущие повести к существенному скачку научно-технического и военного потенциала противника или созданию новых видов оружия, способного радикально изменить сложившееся соотношение сил в мире;

— анализирует, обобщает и через соответствующие ведомства реализует добытые разведывательные материалы по теоретическим и прикладным исследованиям, создаваемым и действующим системам оружия и их элементам, новым технологическим процессам, вопросам военной экономики и системам управления;

в области внешней контрразведки

— добывает за границей информацию о враждебных намерениях, замыслах, формах и методах практической

деятельности разведывательных и контрразведывательных служб стран главного противника, органов психологической войны и центров идеологических диверсий против Советского Союза, всего социалистического содружества, коммунистического и национально-освободительного движений;

— выявляет вражеских разведчиков и агентов, подготавливаемых для засылки в Советский Союз, способы и каналы их связи, задания. Совместно с другими подразделениями КГБ и органами безопасности социалистических стран принимает меры по пресечению их подрывной деятельности;

— осуществляет мероприятия по компрометации и дезинформации вражеских спецслужб, отвлечению и распылению их сил;

— обеспечивает за границей сохранность государственной тайны, безопасность советских учреждений и командированных советских граждан, а также деятельность разведывательных резидентур КГБ;

— накапливает и анализирует информацию о подрывной работе спецслужб главного противника, на базе полученных материалов разрабатывает рекомендации по совершенствованию разведывательной и контрразведывательной работы за кордоном.

В области активных операций проводит мероприятия, способствующие:

— решению внешнеполитических задач Советского Союза;

— разоблачению и срыву идеологических диверсий противника против СССР и социалистического содружества;

— консолидации международного коммунистического движения, усилению национально-освободительной, антиимпериалистической борьбы;

— росту экономической и научно-технической мощи Советского Союза;

— разоблачению военных приготовлений враждебных СССР государств;

— дезинформации противника относительно подготавливаемых или проводимых СССР внешнеполитических, военных и разведывательных акций, состояния военного, экономического и научно-технического потенциала страны;

— компрометации наиболее оголтелых антикоммунистических и антисоветских деятелей, злейших врагов Советского государства.

При проведении активных операций разведка, в зависимости от конкретных условий, использует не только свои силы, специфические средства и методы, но и возможности КГБ в целом, других советских учреждений, ведомств и организаций, а также вооруженных сил.

В области специальных операций, используя особо острые средства борьбы:

— осуществляет диверсионные акции с целью дезорганизации деятельности спецорганов противника, а также отдельных правительственных, политических, военных объектов в случае наступления особого периода или возникновения кризисных ситуаций;

— проводит специальные мероприятия в отношении изменников Родины и операции по пресечению антисоветской деятельности наиболее активных врагов Советского государства;

— осуществляет захват и негласную доставку в СССР лиц, являющихся носителями важных государственных и иных секретов противника, образцов оружия, техники, секретной документации;

— создает предпосылки для использования в интересах СССР отдельных очагов антиимпериалистического движения и партизанской борьбы на территории зарубежных стран;

— обеспечивает по специальным заданиям связь и оказывает помощь оружием, инструкторскими кадрами и т. п. руководству братских коммунистических партий, прогрессивных групп и организаций, ведущих вооруженную борьбу в условиях изоляции от внешнего мира.

Исходя из возможности возникновения кризисной ситуации и развязывания агрессивными кругами ракетно-ядерной войны против Советского Союза, внешняя разведка КГБ заблаговременно и планомерно обеспечивает живучесть и действенность аппаратов разведки, их размещение в важнейших пунктах и странах, внедрение агентуры в главные объекты,

бесперебойность получения информации о противнике. В этих целях она постоянно ведет соответствующую подготовку агентурной сети и других сил, поддерживает их боеспособность, а также обеспечивает подготовку всего личного состава разведки, и особенно ее нелегального аппарата».

Шлифовка документа затянулась из-за бесконечных колебаний Мортина. К тому же он сам недолго задержался в начальственном кресле. В конце декабря 1974 года Андропов пригласил руководящий состав разведки и представил нового шефа ПГУ — невзрачного Владимира Крючкова. О причинах скоротечной замены и обстоятельствах, ей сопутствовавших, будет рассказано далее, по ходу повествования. Здесь же уместно изложить оценки деятельности разведки, высказанные Председателем без стеснения и обиняков.

«В последние годы, — сказал Андропов, — информация, исходящая из ПГУ в инстанции, улучшилась. Строже стал отбор направляемых сообщений, меньше общих мест. Учитывая сведения, поступающие по линии дешифровального управления, наши сводки выглядят насыщенными фактами, воспринимаются как достаточно полновесные. Вместе с тем остается много «белых пятен». Так, по научно-технической линии очень хорошо освещается подготовка к производству бомбардировщиков Б-1, но по американским космическим исследованиям дельного ничего нет. По США — много неясностей. Например, с американо-советской торговлей. Как будут развиваться события, как относятся к ним деловые круги США? Что думают в конгрессе?»

По ФРГ материалов побольше, хотя мы так и не знаем, кто будет у власти в стране в 1976 году. Надо искать контакты с перспективными политическими деятелями разных партий.

О Франции много разговоров, а знаний мало.

В отношении Японии большой разброс идей. Какая-то чересполосица. Может быть, японцы сами не знают, чего хотят?

По-прежнему большой загадкой остается Китай. Посол Толстиков прислал в Политбюро письмо с предложениями, но как будет реагировать Политбюро, если не ясна ситуация в Китае? Острый вопрос. Политбюро перегружено бумагами, и я часто слышу ворчание, горькие упреки. Арабский мир в кризисном состоянии. Садат по-прежнему хитрит. Визита Леонида Ильича туда не будет, но надо все равно прояснять обстановку. Возьмите Южный Йемен. Вроде бы ближе к нам, чем другие, а его почему-то тянет к Саудовской Аравии и КНР. Целый ворох загадок по Ближнему Востоку. Можно назвать еще сотню проблем, по которым идет мутный поток, но нет сути. Так что в информационной работе есть крупные недостатки, много вопросов без ответов. Надо озадачить резидентуры. От них много идет стихийной, нерегулируемой информации. Им следует больше работать с ценными источниками.

Процесс разрядки идет не гладко. Наша политика испытывает сильное сопротивление со стороны реакционных кругов США, ФРГ и Англии. Сначала противник растерялся, почувствовав привлекательность наших мирных инициатив, но сейчас оправился. Это надо было предвидеть. В нынешних условиях крайне важно свести к минимуму риск провалов. Поэтому необходимо

реже встречаться с ценной агентурой, но вместе с тем не терять с ней контакта. Желание избежать осложнений может дать противоположный эффект.

Важно совершенствовать взаимодействие внутри ПГУ и КГБ, а также с другими ведомствами. Нередко посольская информация по качеству лучше и приходит быстрее, чем наша. Резидентурам нельзя зевать. Пусть пишут коряво, но вовремя, содержательно. Идут переговоры — а от них ничего нет. Неужели каждый раз выбивать от них информацию?»

В связи с арестом в ФРГ Гюнтера Гийома, офицера МГБ ГДР, внедренного в близкое окружение канцлера В. Брандта, Андропов сказал: «В условиях разрядки разведке нужно приспособливаться. Она не должна снижать активность. Этой же позиции придерживается и министр Мильке. Но видны и последствия провалов. Некоторые меня спрашивают: зачем нам неудачи, может быть, без них обойдемся? Ведь насмарку идет огромная работа наших партийных и политических деятелей! Вон даже Би-би-си говорит, что это провал КГБ.

Это провокация, но надо подумать, как нам работать, чтобы не мешать внешнеполитической деятельности Советского государства. Разведка всегда связана с риском, без него работы не будет, но свести его до минимума — это наша задача.

В резидентурах необходимо ограничить число людей, связанных с агентурой и особенно вербовочной работой. Сегодня слишком многие имеют доступ к этим делам. Вербовать лучше в третьих странах, где обстановка полегче. Кое-где, особенно в Нью-Йорке, надо сократить сотрудников. Ударив по ГДР, американцы могут ударить и по нас. Они заинтересованы в

дальнейших скандалах, чтобы показать миру, что разговоры о разрядке не имеют под собой реальной почвы. Поэтому предлагаю:

- разобраться с людьми, имеющими на контакте агентуру;

- расширять институт доверительных связей;

- тяжесть вербовочных мероприятий перенести на территорию СССР и социалистических стран;

- больше внимания уделять молодежи, студентам, готовить их на перспективу;

- активизировать использование оперативных возможностей служб безопасности социалистических государств, в том числе их заделы по эмиграции;

- разнообразить прикрытия для разведчиков, не злоупотреблять «крышей» МИД. Есть много других ведомств: торговая палата, смешанные с иностранными компаниями общества, корреспондентский корпус. Дипломатический паспорт — это благо, но он не всегда помогает. Его обладатель рассчитывает на спокойную жизнь. Но не надо бояться работать и без диппаспорта;

- выращивать новую поросль резидентов. У нас есть десятки хороших, талантливых разведчиков. Надо создавать из них резерв выдвижения. Учить искусству строить отношения с послами. Провести с ними специальные беседы. Вовлекать в это дело офицеров безопасности, являющихся помощниками послов.

В общем, думайте. Нельзя ставить наше государство в такое положение, в котором оказалась ГДР».

Хотя в задачу Управления «К» номинально не входило получение информации по политическим

вопросам, все сотрудники ориентировались на рачительное отношение ко всему, что полезно для разведки. Внешняя контрразведка вербовала и шифровальщиков, и дипломатов, и офицеров вооруженных сил, и таможенников, передавая их затем, нередко в порядке обмена, в линейные (географические) отделы. От одного агента из числа сотрудников госдепартамента США в течение двух лет мы получали многочисленные секретные ориентировки и депеши, которыми обменивался Вашингтон со своими посольствами.

Зная мой вкус к политическим проблемам, некоторые резиденты в личных посланиях держали меня в курсе дел в расчете на то, что их точки зрения могут быть доведены до руководства КГБ. Резидент в Вашингтоне писал, в частности: *«На днях мы отметили семнадцатилетний срок пребывания совпосла на этом посту...»*

В беседах со мной посол откровенно говорил, что впервые за эти годы он встречается с таким представителем американской администрации, как Бжезинский, с которым у него полностью отсутствует хотя бы малейший человеческий контакт. Хотя у них имеют место личные встречи, они по существу превращаются в озлобленные стычки. Мне приходилось наблюдать посла после этих встреч, и всегда его настроение бывало самым отвратным.

Как известно, посол в переговорах с американцами неоднократно давал им резкий отрицательный ответ по вопросу освобождения Щаранского, Орлова и Гинзбурга.

Он был против нашего решения о включении в список диссидентов, которых мы освобождаем в обмен на наших товарищей, Гинзбурга.

Совпосол считает (как об этом он и писал в Москву, и излагал нашему руководству), что мы ни в коем случае не должны идти американцам на уступки в вопросе о Щаранском, так как это будет политической ошибкой.

У посла имеются опасения, что при возобновлении переговоров с американцами в настоящее время они могут потребовать от нас дальнейшего увеличения числа освобождаемых диссидентов и, в частности, включить в их число Щаранского.

При обсуждении со мной этой проблемы совпосол указывал, что за время своей работы ему неоднократно приходилось вести переговоры с американцами по вопросам деятельности нашей разведки или «военных соседей», в том числе выручать арестованных наших товарищей. Однако впервые ему приходится идти на те уступки, на которые мы сейчас идем. В определенной степени это раскрывает его субъективное отношение к ведущимся сейчас переговорам с американцами».

Другие резиденты присылали полные жалоб письма на своих подчиненных. Один из них, Виктор Владимиров, многие годы работавший в Финляндии, никак не мог найти общий язык со своими заместителями по контрразведке. Из-за склоки в Хельсинки мне приходилось лично ездить туда, чтобы примирить Владимирова с Анатолием Шальневым — зятем всемогущего зампреда Цинева.

И все же главное никогда не выпадало из нашего поля зрения, не заслонялось пустопорожней перепиской и разбором бесконечных взаимных претензий.

Дело завербованного в Вашингтоне Николая Артамонова, проходившего под псевдонимом «Ларк», велось внешней контрразведкой уже восемь лет, а отдача от него была мизерной. Хотя он числился сотрудником Разведуправления министерства обороны (РУМО) США и консультантом ЦРУ, я, знакомый с документами этих организаций в прошлом, чувствовал какое-то разочарование, читая его донесения. Когда Сахаровский в 1970 году обронил фразу, что «Ларк» — американская подстава, я воспринял его слова как признак старческого брюзжания ветерана разведки. Теперь я вынужден был задумываться над его характеристикой «Ларка». Он числился в разряде особо охраняемых источников, но явно не тянул на это. Подозрения усилились, когда «Ларк», ссылаясь на дефекты нашей секретной фотоаппаратуры, закамуфлированной под портсигар, не смог сделать для нас копию телефонного справочника РУМО.

В то время наша резидентура в Канаде располагала первоклассным агентом из числа сотрудников местной контрразведки (РСМП), и мы решили воспользоваться его услугами, зная о высокой степени доверия и взаимодействия между американскими и канадскими спецслужбами. Чтобы преодолеть возможные сомнения ФБР, «Ларку» было сказано, что в Монреале с ним хочет встретиться руководящий работник Управления нелегальной разведки КГБ. Когда «Ларк» прибыл в Канаду, ФБР информировало о нем РСМП и просило организовать контроль за его пребыванием в стране. Через месяц у меня на столе лежал отчет РСМП о встрече

моего помощника с «Ларком». И так, все стало на свои места: «Ларк» сотрудничает с американскими спецслужбами и внедрен в нашу агентурную сеть по их заданию.

Несмотря на то, что КГБ устроил его сына в Военную академию, создал условия благоприятствования для всей семьи, дал гарантии возвращения на родину и прощения, он обманывал нас все эти годы, играл роль «двойника», фактически работая на ФБР. Значит, выход один: приводить в исполнение смертный приговор, вынесенный ему еще в 1960 году.

Мы засели за план вывода «Ларка» в СССР. Для этого нужна была хорошая приманка. И мы ее забросили в пасть ФБР: «Ларку» предложили встречу в Австрии для обучения его приемам радиосвязи с целью последующей передачи на контакт офицеру нелегальной разведки КГБ в США. «Ларку» для пущей убедительности было обещано личное знакомство с нелегалом в Вене до их рабочей встречи в Америке.

Приманка сработала. В декабре 1975 года «Ларк» прибыл в Австрию с женой якобы в отпуск для катания на горных лыжах. В течение двух дней его познакомили с основными приемами работы на радиопередатчике, на третий — обещали встречу с нелегалом. Когда он вышел на обусловленное место в машине, ему набросили на лицо маску с хлороформом, сделали усыпляющий укол для гарантии и повезли в сторону чехословацкой границы. Там его перетащили на свою территорию, но обнаружили, что он, не выдержав стресса, скончался от острой сердечной недостаточности. Смерть констатировал словацкий врач, которого мы пригласили через пограничников, а позже в Москве, куда труп был

доставлен на спецсамолете КГБ, начальник 4-го Главного управления Минздрава СССР Е. Чазов подтвердил первоначальный диагноз. При вскрытии оказалось, что у «Ларка» развивался рак почки и жить ему оставалось недолго. Похоронили его под латышской фамилией на одном из московских городских кладбищ.

Исчезновение Артамонова — Шадрина вызвало на Западе большой шум, видные юристы, государственные деятели требовали от американской и советской сторон публичного отчета о его судьбе. Помимо Киссинджера и Бжезинского в дело вмешался президент Форд, обратившийся с посланием к Брежневу. На просьбу Форда ответить, где Артамонов, Брежнев сказал: «Мы бы сами хотели знать, где он сейчас находится».

Так закончилась эпопея с двойным агентом, вокруг имени которого в течение почти двух лет не стихали страсти, взаимные обвинения и упреки. «Литературная газета» опубликовала по этому поводу статью Генриха Боровика «Загнанных лошадей пристреливают, не так ли?».

Неожиданная кончина «Ларка», из которого мы надеялись вытрясти полезную информацию о местонахождении других предателей, смешала наши карты. Не предвидя такого финала, мы строили планы обработки «Ларка», с тем чтобы позже выставить его на международной пресс-конференции с покаянием и рассказом о чудовищных провокациях, организуемых ЦРУ. Теперь все пошло прахом, и мы несколько приуныли.

Но Москва недолго горевала о происшедшем. Через пару месяцев, когда шум немного улегся, Крючков пригласил меня и без предисловий, в лоб спросил:

«Какой вам дать орден — Октябрьской Революции или боевое Красное Знамя?» Я растерянно замолчал, не зная, как реагировать. «Ну, что же вы стесняетесь, какой вам больше нравится? Я уже договорился с Андроповым. Выбор за вами». Я проямлил, что дело руководства решать, что я заслужил.

Крючков махнул рукой. Последовавшим вскоре Указом Президиума Верховного Совета СССР я был награжден орденом Красного Знамени. Боевых наград были удостоены в другие участники операции.

Все чаще приходилось задумываться над жилищной проблемой. Кооперативная квартира, где я поселился после возвращения из Вашингтона, могла меня устроить лишь как крыша над головой. Новое служебное положение, взрослеющие дети требовали большего пространства и комфорта. Просить руководство об улучшении жилищных условий, зная, что многие живут гораздо хуже меня, не хотелось, и я вступил в другой, по тем временам почти роскошный ведомственный кооператив на Ленинском проспекте. Отговорил меня Борис Иванов. Он сообщил, что через год войдет в строй отличный кирпичный корпус в Кунцево и следует подать документы на получение там государственной квартиры. На том и порешили. Деньги, внесенные за кооператив на Фестивальной, я, в соответствии с существовавшим тогда порядком, не получил, а перевел их по указанию руководства на счет Фонда мира. В начале 1976 года я получил просторную трехкомнатную квартиру в доме, возведенном строительным управлением КГБ. На 42-м году жизни я ощутил наконец покой и домашний уют, о котором давно мечтал.

С должностью начальника пришла и государственная дача. Раньше, как заместитель, я тоже пользовался этой привилегией, но дачные места, где я жил с детьми, находились далеко от Москвы, а строения, которые мы снимали за сто рублей в сезон, были ветхими и без коммунальных удобств. Теперь мне достался вполне приличный домик с ванной и горячей водой в районе Химок.

Повышение в чекистской иерархии добавило забот, связанных с приемами гостей из дружественных спецслужб и ответными визитами в страны социалистического содружества. Отношения с разведками этих стран, носившие на первых порах скорее протокольный характер, сопровождавшиеся обильными ужинами и клятвенными заверениями в дружбе, постепенно переросли в деловые, включая совместное ведение оперативных игр.

Особенно плодотворным было сотрудничество с разведкой ГДР. Как старый, преданный друг Советского Союза, ее глава Маркус Вольф выходил за рамки официального протокола, регламентировавшего отношения между МГБ ГДР и КГБ. Благодаря настойчивости и высокому профессиональному мастерству, он сумел сделать из своей службы модель для всех «братских» разведок. Полагаясь в основном на нелегальную засылку своих людей в ФРГ, а затем и в другие западные страны, Вольф обеспечил себе доступ к основным политическим и оборонным объектам, разведке, контрразведке и научно-исследовательским центрам Западной Германии и некоторых стран НАТО. Кое-что мы позаимствовали у Вольфа, например нелегалов, охотившихся за одинокими женщинами — сотрудницами государственного аппарата. Нередко

выступая «под чужим флагом» — от имени социал-демократов или наоборот, реваншистских формирований, эти люди ухитрялись проникать к самым сокровенным секретам федерального правительства в Бонне. Иногда, читая донесения «с поля боя», я искренне сочувствовал довольно молодым мужчинам, с германской аккуратностью описывавшим не только оперативную часть своих встреч с перезревшими фрейлейн, но и то отвращение, с которым они, женатые люди, выполняли функции «любовников». Но социалистический фатерланд требовал жертв, а КГБ лишь стриг купоны, ничем не рискуя.

Правда, и КГБ помогал чем мог, если агенты Вольфа попадали в ловушки. Так, в 1978 году в ФРГ начались аресты агентов Вольфа; двое из них укрылись в советском посольстве в Бонне, два других в советской военной миссии. Что делать? Не выдавать же их властям?

Можно было попытаться переправить нежданных гостей посольства в машине с дипломатическим номером прямо в Берлин, но резидент в Бонне Н. Калягин категорически возражал против этого, опасаясь скандала. Я считал, что немцы, всегда уважавшие порядок, не осмелятся проверить документы пассажиров машины с дипномером, но на всякий случай необходимо изготовить для них липовые паспорта. Мой вариант получил одобрение Андропова, и вскоре офицеры Вольфа обнимали их на границе ГДР. По такому же «официальному» варианту, в автомашине военной миссии, были вывезены в ГДР без досмотра два других сотрудника Вольфа.

КГБ было известно, что МГБ ГДР дает приют на своей территории левым экстремистам, в том числе

участникам террористических групп. Это гостеприимство рассматривалось, однако, в контексте интернациональной солидарности со всеми борющимися против империализма силами, а не как попытка приручить и использовать их в оперативных целях. По крайней мере, немцы не ставили нас в известность о своих планах в отношении Красной Армии и аналогичных ей банд. Без их ведома дважды в семидесятых годах в СССР побывал знаменитый террорист Карлос. С ним любезно беседовали наши контрразведки, спрашивали о намерениях, держали под наблюдением, но не трогали. Вел он себя в Москве вполне лояльно.

Несомненно, МГБ ГДР можно отнести к наиболее эффективной, неосталинистски сориентированной полицейской организации в Восточной Европе. Ее тяготение к политическим установкам прошлого находило отражение и в высокомерной, оторванной от жизни позиции Хонеккера, и в поведении копировавшего его министра госбезопасности Мильке, и в общении с нами их нижестоящих товарищей.

Когда я впервые встретился с Вольфом и его первым заместителем Фруком, бывшим начальником уголовной полиции всего Берлина после войны, они с настороженным вниманием отнеслись к представителю «нового поколения», как выразился Фрук. Лед растопился, после того как в тосте я вспомнил слова Сталина, что образование ГДР явилось «поворотным пунктом в истории Европы и существование миролюбивой демократической Германии наряду с существованием миролюбивого Советского Союза исключает возможность новых войн» на континенте.

Как часть советских оккупационных сил, дислоцировавшихся на территории ГДР, КГБ располагал по соглашению с МГБ ГДР особыми привилегиями. В отличие от других стран Восточной Европы, где официальные представительства КГБ имели в среднем около дюжины офицеров, в берлинском аппарате их насчитывалось несколько сотен. В окружных управлениях МГБ также имелись советские представители, наблюдавшие за состоянием политической и оперативной обстановки на местах и культивировавшие на всякий случай неформальные отношения с провинциальными «чекистами».

В семидесятых годах представительство КГБ в Берлине получило статус Главного управления КГБ и превратилось в излюбленное место отсидки провалившихся разведчиков вроде генералов А.Лазарева, И.Фадейкина, Г.Титова или бывшего шефа Ленинградского КГБ, в прошлом секретаря обкома комсомола Шумилова. Старший персонал представительства получал часть зарплаты в твердой валюте и мог в любое время выехать в Западный Берлин за покупками, в кино или на рюмку мозельского с форелью. Из-за «стены» в ГДР приезжали агенты ПГУ из разных стран, лица, изучавшиеся КГБ и МГБ ГДР. Многие годы Берлин служил перевалочным пунктом и самым безопасным местом встреч, пока предпочтение не было отдано Вене и Хельсинки.

КГБ практически не вмешивался во внутреннюю жизнь республики (для этого достаточно было Международного отдела ЦК). Его устраивала информация, поступающая официально от Мильке и частично перекрывавшаяся сведениями от

доверительных источников в аппарате МГБ в Берлине и округах.

Некоторые члены руководства СЕПГ несколько раз намекали Мильке, что надо сокращать присутствие КГБ в стране, о чем в Москве, разумеется, знали. По этой причине готовились планы постепенного перемещения части персонала в культурные, экономические и внешнеторговые учреждения СССР на территории ГДР, совместные советско-германские предприятия, в штабы группы советских войск.

Не менее преданными социалистическому выбору, но более покладистыми, готовыми отдать все, чем они располагали, были болгарское Министерство внутренних дел и входившие в них автономно органы госбезопасности. Если Хонеккер втайне претендовал на роль самого верного защитника чистоты марксистского учения, то Живков «колебался вместе с линией» Кремля. Его верность Москве определяла и настроения в аппарате МВД, да и во многих слоях болгарского общества. Бывая неоднократно в Софии по делам, на зимних и летних курортах во время отдыха, включавшего не только осмотр достопримечательностей, но и охоту, я всегда чувствовал искреннее дружелюбие, исходившее от хозяев. Пожалуй, болгары даже слишком опекали своих старших славянских братьев. На охоте они норовили выстрелить за самого гостя, чтобы не позорить его случайным промахом. В одном уголье, желая сделать приятное гостю, они высыпали из мешка едва оперившихся фазанов и предложили тут же их застрелить.

Аналогично поступали они и со своими оперативными делами, раскрывая их, в отличие от

немцев, полностью. Их возможности, однако, были скромными. Турция и Греция числились среди главных противников Болгарии, хотя наш интерес к ним не выходил за рамки обыденного.

Значительное внимание в своей деятельности болгарская разведка уделяла выходцам из страны, осевшим на Западе, и западным туристам, посещавшим Черноморское побережье. Болгары предложили содержать группу офицеров КГБ в Варне с тем, чтобы она с помощью местных органов госбезопасности могла подыскивать подходящих кандидатов на вербовку. (Об особом случае, связанном с просьбой Живкова физически устранить одного из своих политических оппонентов, рассказано ниже.)

Органы госбезопасности Чехословакии по стилю и содержанию работы во многом напоминали КГБ. Их разведывательный аппарат, однако, после 1968 года существенно ослаб в результате проведенной там чистки. Начальник разведки Милош Гладик постоянно ощущал давление со стороны гусаковской партийной номенклатуры, прежде всего министра внутренних дел Обзины и его заместителя Грушецкого, использовавших валютные ассигнования разведки в личных целях. Болезненный Гладик, частенько прибегавший к спиртному, чтобы заглушить тоску, не выдержал напряжения и скончался прямо в кабинете Грушецкого в восьмидесятом году.

По нашей инициативе ПГУ ЧССР создало у себя внешнюю контрразведку, и вскоре мы провели совместные оперативные игры. Одна из них закончилась разоблачением внедренного в агентурную сеть МВД ЧССР агента ЦРУ, бывшего гражданина Чехословакии.

Побочным результатом этой игры стал арест в Москве еще одного агента ЦРУ, ответственного чиновника МИД СССР Огородника.

Прага и Карлови-Вари использовались нами как пункты встреч с интересующими КГБ лицами из числа эмигрантов, активистов сионистского движения. Здесь же проводились крупные совещания спецслужб стран Восточной Европы, Кубы и Монголии. В последнем таком совещании мне пришлось участвовать в апреле 1979 года; тогда советскую делегацию возглавлял зампред КГБ Виктор Чебриков.

Наши польские коллеги всегда выделялись своеобразием подходов и внешней безалаберностью в решении стоявших перед ними проблем. Их отличала от южного соседа повышенная агрессивность, акцент на диаспору, активное использование ее для добычи технологии и образцов по линии научно-технической разведки. Однако их оценки внутреннего положения в собственной стране грешили поверхностностью, что несомненно способствовало ускоренному политическому краху польской модели социализма. Несмотря на очевидные трудности в экономике, польская служба безопасности и разведка, кажется, не испытывали недостатка в финансировании. Желтый «мерседес» всегда был наготове для советского гостя, поездки в Ченстохов, Краков, Гданьск, Катовице сопровождались обильными угощениями, везде царило радушие с налетом залихватской удали. Начальник разведки, а позже министр Мирослав Милевский, подростком воспитывавшийся как сын полка в советской воинской части, сохранил все достоинства национального характера, однако хорошо усвоил советский стиль

доклада высшему руководству страны, настроенный на смеси правды, полуправды и лжи.

Совсем незначительную роль среди разведок играли венгры. Под руководством Шандора Райнаи они обрели некую респектабельность, но их вклад в общее дело был незначителен. Возглавивший затем разведку Янош Боде, считавшийся специалистом по Ватикану, привнес мало нового в развитие советско-венгерского делового сотрудничества. Однако по протокольной части венгры шли ноздря в ноздю с поляками. И тон в этом задавал не скрывавший своих эпикурейских наклонностей сам министр внутренних дел Бенкеи. Несмотря на ограниченные возможности венгров, мы сумели взять у них полезную информацию о настроениях венгерской эмиграции и возможностях ее использования в обоюдных интересах.

Особняком стояла кубинская разведка. Ее почерк определялся бесшабашно смелыми вылазками против ЦРУ, невысоким уровнем профессионализма, компенсированным энтузиазмом и верой в конечную победу над империализмом янки. Их главные усилия были направлены на Центральную и Южную Америку, но в упорном противостоянии США они опережали все восточноевропейские службы, вместе взятые.

Эмоционально кубинцы оказались нам ближе, чем братья славяне. Да и практические дела свои они доверяли нам без утайки. Их откровенные признания несовершенства и даже примитивизма в работе не только подкупали своей искренностью, но и помогали нам самим лучше видеть собственные просчеты.

С кубинцами мы завели ряд совместных дел и оперативных игр с выходами на ЦРУ. Некоторые из них получили впоследствии широкую публичную огласку.

Руководивший кубинской разведкой Мендес Коминчес был известен в кругах разведывательного сообщества как человек непредсказуемый. На приемах он шокировал коллег неумеренным потреблением спиртного, на совещаниях — внезапным исчезновением с рабочего места. Его нечасто заставляли и в своем кабинете в Гаване. Он месяцами то руководил операциями в Анголе, то путешествовал по Европе или Азии, то совещался с вьетнамскими друзьями.

Кстати, с вьетнамскими коллегами мы установили рабочий контакт лишь в середине семидесятых годов. Через министра внутренних дел Фам Хунга нам удалось добиться разрешения принять участие в опросе американских военнопленных, еще не репатриированных на родину после войны. Собственно опрос вели вьетнамцы, сотрудники же внешней контрразведки давали советы и рекомендации, разрабатывали опросные листы, помогали закрепить показания, с тем чтобы в последующем использовать их как компрометирующий материал для вербовки.

Так, с помощью вьетнамцев удалось добиться согласия на продолжение работы в США сотрудника ЦРУ и военнослужащего Пентагона высокого ранга. Попытки связаться с ними после возвращения в США успеха не имели, и ценность их показаний осталась под сомнением.

Довелось мне иметь дело и с румынской разведкой, но при необычных обстоятельствах. В 1972 году мне поручили возглавить группу сотрудников КГБ с женами, отправившихся на отдых в Монголию — курортное

местечко на Черноморском побережье, недалеко от болгарской границы. К тому времени все рабочие контакты с румынами по линии госбезопасности были прерваны, но руководство МВД всячески старалось продемонстрировать свою верность советским друзьям. На вилле МВД нас принимал и обнимал, хотя мы были всего лишь отдыхающими, руководитель госбезопасности Почепа, сбежавший на Запад несколько лет спустя, затем нас пригласил сам министр Станеску. После получасовой аудиенции меня отозвали в сторону и повели по длинным темным коридорам, пока наконец мы не уперлись в массивную, с бронзовыми ручками дверь. В кабинет я вошел один, еще не понимая, к чему вся эта доброжелательная таинственность. Пока я разглядывал шикарную меблировку с толстым китайским ковром на полу, в открытом дверном проеме смежной комнаты неожиданно появилась знакомая фигура. Ба! Кого я вижу!

Навстречу мне шел, радостно улыбаясь, мой старый знакомый по Вашингтону Виктор Доробанту. Я и тогда подозревал, что он работает в разведке, прикрываясь должностью пресс-атташе. Кто же он теперь? «Заместитель начальника разведки», — представился Доробанту. Мы сели за маленький столик, открыли коньяк, официант тут же принес кофе.

«Знаешь ли ты, что происходит в нашей стране? — начал Виктор. — Не верь официальным улыбкам. Чаушеску дал команду на полный разрыв с вашим КГБ. Вы последняя группа, которую мы приняли в Бухаресте. Чаушеску — предатель, он самовлюбленный маньяк. Его жена и все окружение — властолюбцы, продажные шкуры. Им наплевать на страну и ее народ, на социализм, на дружбу с Советским Союзом. У нас в

органах зреет понимание необходимости смещения Чаушеску.

Слушая страстный монолог заместителя начальника разведки, я тихо столбенел. Что это? Крик о помощи или провокация? Ведь, будучи гостем страны и ее МВД, я не имею права поддерживать мятежные, антиправительственные высказывания кого бы то ни было, даже если сочувствую им. Не верить Виктору было невозможно. Значит, нужно установить с ним негласные отношения и работать на перспективу.

Этими мыслями, уже в Москве, я поделился с начальником 2-го отдела генералом Бурдиным, координировавшим работу со спецслужбами восточноевропейских стран. Но в тот момент я ответил Виктору, что трудности будут преодолены и мы еще будем жить в дружбе и согласии. Как сложилась дальнейшая судьба высокопоставленного диссидента в рядах МВД, мне неизвестно.

Оценивая опыт взаимодействия со спецслужбами стран социалистического содружества, можно сказать, что оно не было односторонним. КГБ выкачивал у них все что мог по части информации и оперативных наводок; в свою очередь наши коллеги получали обильную, хотя и крайне идеологизированную информацию по политическим и контрразведывательным вопросам плюс обучение кадров в советских спецшколах, техническое оснащение, методические указания по организации активных мероприятий за границей и против внутренней оппозиции. В политическую жизнь этих стран КГБ вмешивался лишь косвенно, выполняя волю Политбюро ЦК КПСС и проводя через надежных людей в органах безопасности предписанную партией линию.

Середина семидесятых годов — расцвет межгосударственных контактов, последовавших вслед за окончанием вьетнамской войны и потеплением отношений между Востоком и Западом.

Внешняя контрразведка все чаще привлекалась к организации встреч на высшем уровне. Офицеры безопасности в посольствах получали указания связываться с местными властями для проработки планов поездок советских руководителей в той или иной стране. Им передавались списки лиц, известных своей террористической деятельностью, или потенциальных возмутителей спокойствия и общественного порядка. Кто-либо из моих заместителей непременно выезжал в страну вместе с представителями правительственной охраны — 9-го управления КГБ, — для того, чтобы проконтролировать на месте организационную сторону подготовки к визиту. В особо ответственных случаях к этой работе подключался Борис Иванов.

Незадолго до намеченной встречи все резидентуры ориентировались на сбор информации о ходе визита. Одновременно им предписывалось прекратить разведывательные операции, связанные с риском провала, а также любые другие действия, чреватые угрозой отвлечения внимания мировой общественности от исторической поездки Леонида Ильича.

Накануне государственных визитов в КГБ создавался специальный штаб, который координировал деятельность различных ведомств, участвовавших в подготовке и проведении встреч с главами государств и правительств. Обычно работу штаба возглавляли первые зампреды С. Цвигун или Г. Цинев. На его заседаниях заслушивались доклады всех ведущих служб КГБ, в первую очередь

Управления охраны, 7-го управления, УКГБ по Москве и Московской области. Сообщалось, сколько тысяч человек будет приветствовать заграничного гостя на трассе от Внуково до Кремля, какие имеются сигналы о возможности террористических акций, что произошло или может произойти в городе в эти дни. Типичный доклад руководства московского КГБ в октябре 1976 года накануне приезда президента Франции Жискара д'Эстена:

— на трассе задержан пьяный тунеядец Панков, допуская угрозы в адрес Хонеккера;

— обнаружены листовки с призывами «Долой партийную клику во главе с Брежневым!»; задержаны учащиеся, подозреваемые в распространении листовок;

— по доносу дочери задержан некто Красовский, у которого изъято оружие;

— из воинской части похищено 5 винтовок и 9 тысяч патронов. Ведется розыск;

— в Лужниках на почве безответной любви подорвал себя студент.

От имени ПГУ на штабе с пятнадцатиминутным сообщением о подрывной деятельности западных спецслужб и антисоветских эмигрантских центров приходилось выступать и мне.

Аналогичная процедура совершалась каждый раз, когда с визитом за границу направлялся Брежнев. Эти поездки заканчивались массовой раздачей подарков и грамот сотрудникам КГБ, имевшим отношение к организации визита.

Видное место в работе Управления занимали проблемы обеспечения безопасности советских колоний

за границей. Понятие колонии трактовалось расширительно. Речь шла фактически о всех гражданах страны, находившихся в длительных и краткосрочных командировках по линии дипломатических и торговых представительств, экономической и военной помощи, а также моряках и рыбаках заграничного плавания, служащих Аэрофлота, представителях деловых кругов, ученых, гастролирующих художественных коллективах, спортсменах, туристах. Сотни тысяч людей, попавших в орбиту контрразведывательного обслуживания, не могли, разумеется, быть охваченными одними лишь офицерами КГБ. Каждый из них имел на связи от трех до десяти агентов, внедренных в соответствующую среду или завербованных в ней. Они-то и делали основную грязную работу, систематически поставляя донесения об образе жизни и мыслей своих сослуживцев. В многочисленных группах, приезжавших за границу на короткое время, как правило, находились сотрудники внутренних органов КГБ, также опекавшие нескольких включенных в группу агентов.

Ежегодно внешняя контрразведка фиксировала сотни сигналов, свидетельствовавших об интересе западных разведок к тому или иному гражданину, готовящихся задержаниях, попытках проникнуть в советские учреждения, подслушивании и провокационной слежке. Любой мало-мальски серьезный сигнал грозил досрочным отзывом из-за границы попавшей в поле зрения противника жертвы. По крайней мере так все выглядело в теории. В действительности же, как и во всей советской жизни, существовала двойная шкала измерений патриотизма и стойкости людей. Только в должности начальника Управления я столкнулся с плохо скрываемым обманом и ханжеством,

исходившими сверху. До этого Бояров брал на себя большую часть деликатных дел, что избавляло меня от вмешательства во многие неблагоприятные истории.

Как-то от одного агента к нам попал документ ФБР, из которого следовало, что сотрудник американской резидентуры проявлял повышенный интерес к молодым американкам, а с некоторыми имел близкие отношения. Документ считался подлинным, ибо был передан наряду с другими, не вызывавшими сомнений. Указанный сотрудник в то время готовился в заграничную командировку, и было решено на всякий случай пригласить его на беседу. Несмотря на известный либеральный подход в ПГУ к интимным связям, особенно если планировалось их использование в оперативных целях, наш сердцеед неожиданно заупрямился и, вопреки фактам, попытался начисто их отместить. Такое поведение ставило под сомнение подлинность добытых материалов, а значит, и доверие к источнику. С другой стороны, сам сотрудник, нагло отрицая очевидное, терял доверие руководства.

Выслушав доклад группы безопасности, Бояров не только отказался визировать рапорт о поездке провинившегося за границу, но и письменно зафиксировал свое отрицательное отношение к ней. Давление со стороны первого заместителя начальника ПГУ не возымело действия. Бояров стоял на своем: если человек нечестен с руководством по частному вопросу, он может обмануть и по крупному счету. Никто тогда не осмелился возражать, но потом запрет с обманщика сняли.

Другой, но уже при моем участии близкий по жанру случай произошел в Канаде. Проверенный агент из местных спецслужб передал ворох информации,

свидетельствующей о моральном разложении, поразившем часть советской колонии. Среди постоянных клиентов одной замужней дамы оказались сотрудники резидентуры, в том числе офицер безопасности. Вызванные в Москву резидент и офицер безопасности категорически отрицали участие в амурных похождениях, однако согласились отдать на закление двух рядовых работников резидентуры. Тот же, кто вел агента, обрабатывал его материалы и объективно сообщал о происходящем, был отстранен руководством ПГУ от работы и затем направлен преподавателем в Институт. Никто не пожелал выносить сор из избы. К сожалению, и я не сумел его защитить.

Особенно трогательно относились в ПГУ к грешкам высокопоставленных лиц из партийно-советской номенклатуры. Посол СССР в одной африканской стране ухитрился перевести свою любовницу из Африки в Латинскую Америку, куда он получил неожиданно новое назначение. Резидент КГБ докладывал, что в коллективе на этой почве зреет скандал, тем более что посол не скрывает наличия у него второй жены. Крючков, находившийся с послом в дружеских отношениях, приказал замять дело.

Дочь секретаря ЦК КПСС Русакова, пожелавшая обзавестись новым мужем, через отца организовала откомандирование силами КГБ своего первого мужа из Токио.

Дочь посла в ГДР Абрасимова, принимавшая участие в оргиях в Варшаве, будучи задержана с контрабандой в Киевском аэропорту, устроила скандал и добилась возвращения в Польшу после того, как ее грозный отец

телеграфировал Брежневу, что КГБ нарушает права человека.

Не менее снисходительно воспринимались случаи злоупотребления служебным положением и заимствования из государственного кармана, если дело шло о важных персонах. Тот же Абрасимов, будучи в ГДР, закупал на огромные суммы подарки для нужных людей в Москве. Однажды он дал указание своему помощнику закупить 150 мужских рубашек для отправки в столицу. Не брезговал Абрасимов и «дарами», доставлявшимися из конфискованных таможеней вещей. В ходе расследования уголовного дела на германского коммерсанта Брауна были получены многочисленные показания на причастность Абрасимова к контрабанде, однако никто в КГБ не осмелился ввязываться в грязные делишки брежневского ставленника.

Во время моей поездки в Италию посол Рыжов пожаловался на невнимательное отношение КГБ к его сигналам о злоупотреблениях отдельных должностных лиц. По его словам, начальник Главного управления Минвнешторга Сушков, бывая в Италии, всякий раз вывозил домой целый вагон подарков. «На какие средства он все это приобретает? — возмутился посол. — Я несколько раз говорил об этом вашим коллегам. Никакого толку. Может быть, вы разберетесь?»

По возвращении в Москву я подготовил записку на имя Андропова по этому поводу, но никакой реакции не последовало. Вскоре Сушков стал заместителем министра. Его арестовали и осудили за взяточничество несколько лет спустя, уже после смерти Андропова.

Между прочим, из Италии, по свидетельству римской резидентуры КГБ, с ведома и при участии

руководства посольства были вывезены в Советский Союз под предлогом реставрации художественные ценности, в частности картины старых итальянских мастеров, находившиеся в резиденции посла, на так называемой «Вилле Гарибальди». Их заменили искусно сделанными в СССР копиями. Утверждают, что подлинники осели в частных коллекциях любителей живописи из высшего эшелона советской элиты.

О случаях такого рода судачили в чекистских кулуарах, но никто не осмеливался дать им официальный ход. Да и как могли некоторые руководители КГБ с чистой совестью кивать на других, когда сами были охочи до чужого добра!

Зять Председателя КГБ Украины Виталия Федорчука, работавший корреспондентом ТАСС в Уганде, в пьяном виде разбил служебную машину и пытался отремонтировать ее за счет ТАСС, но получил отказ. Тогда Федорчук обратился к руководству ПГУ с просьбой оплатить ремонт из сметы КГБ. На имя Андропова была изготовлена докладная, в которой говорилось, что некий сотрудник ТАСС (подразумевалось, что это прикрытие работника ПГУ) попал в тяжелое положение в связи с аварией автомашины, чем могут воспользоваться вражеские спецслужбы. Во избежание провокаций предлагалось выплатить 1700 долларов за ремонт поврежденной автомашины. Андропов, не глядя, подписал рапорт, и зять Федорчука вздохнул свободно.

Мой старый друг Сергей Лосев, ставший к тому времени заместителем генерального директора ТАСС, удрученно вздыхал по этому поводу: «Мы хотели уволить бездельника и пьяницу. Ваша контора, оплатив его долг, оказала плохую услугу ТАСС». Не знал Сергей, что через

два года, когда он станет главой всего ведомства, всемогущий КГБ уговорит его начать оформление зятя Федорчука в очередную заграникомандировку.

Крупным делом о хищениях и взятках в системе КГБ, не получившим огласки, был процесс над майором Хвостиковым. С 1972 года в течение нескольких лет он путем вымогательства получал взятки от священнослужителей Ростовской епархии. Военный трибунал, инкриминировавший ему взятки на сумму около 150 тысяч рублей, приговорил Хвостикова к расстрелу — мере чрезвычайной, учитывая характер преступления. В суровой расправе были заинтересованы высокопоставленные начальники, стоявшие за спиной Хвостикова и поспешившие избавиться от него раз и навсегда.

Не лучше вели себя чекисты, работавшие по церковной линии за границей. Частые поездки по восточноевропейским столицам свели меня с некоторыми священниками местных православных церквей. Все они в той или иной мере сотрудничали с органами госбезопасности, и мне пришлось выслушать немало их упреков и жалоб на самоуправство и злоупотребления, допускавшиеся офицерами КГБ. Чаще всего речь шла о бесконечных выпивках за счет пожертвований местных прихожан, вымогательстве валюты и хищении церковной утвари. Мне трудно было защищать «святых отцов», ибо вербовались они на территории СССР аппаратами всемогущего 5-го управления, ведавшего политическим сыском, и отчитывались перед ним. Разведка их использовала слабо по причине упорного стремления 5-го управления сохранить свою монополию над телами и душами священнослужителей. Между тем среди них чаще, чем в мирской жизни, попадались люди

высокообразованные, но зацепившиеся за крючок КГБ в молодые годы из-за проступков; чаще всего на почве сексуальных отклонений, оглашение которых было для них смерти подобно. Они тяготились зависимостью от недалеких, хамоватых чекистов и во встречах с представителями разведки находили некоторую отдушину для своих излияний. Давали они и дельные советы. Так, рекомендовали развивать отношения с венским кардиналом Кёнигом, благосклонно, по их мнению, относившемуся к сближению Запада с Востоком. В Москве я поднял этот вопрос перед начальником 5-го управления Филиппом Бобковым, человеком эрудированным и достаточно гибким. Однако, к моему удивлению, он отверг идею пригласить Кёнига в СССР в качестве гостя патриарха Пимена. Католиков на дух не выносили ни на Елоховском подворье, ни в КГБ.

Добрые отношения с церковными иерархами сохранились у меня и после возвращения их в Москву. Это позволило мне приблизиться, разумеется в неофициальном качестве, к окружению Пимена и узнать кое-что из закулисной стороны деятельности епископата и клира.

Как выяснилось, самой могучей фигурой в церкви был не патриарх всея Руси, а полковники КГБ Романов, а затем Тимашевский, возглавлявшие специальный отдел в 5-м управлении КГБ. Последний — выходец из Днепропетровска, по слухам близкий к тогдашнему зампреду КГБ В. Чебрикову, отличался особой лютостью, расставлял через Совет по делам религии кадры в епархии и имел своих агентов чуть не во всех приходах. Святая братия ненавидела его, но боялась пуще огня и вслух свои мысли старалась не высказывать.

Невеселые страницы из жизни церкви, с которыми меня знакомили ее служители, иногда перемежались и забавными.

Как-то Джордж Блейк пожелал присутствовать на пасхальной службе, и я организовал ему посещение Богоявленского собора, где традиционно проходит служба под руководством самого Святейшего. Случилось так, что мы зашли за алтарь, в покои патриарха, и в момент выхода процессии в храм оказались впереди ее, как бы возглавив пасхальный ход. Блейк сумел юркнуть в толпу прихожан, а я, пройдя с десятков метров, обнаружил, что узкий проход для процессии огорожен по краям и деваться мне некуда. Я не мог себе позволить суесться на глазах многотысячной толпы в столь торжественный момент и был вынужден идти во главе хода. В трех-пяти метрах за мной следовали Пимен и члены Синода с хоругвями и крестами в руках.

Я двигался медленно, опустив вниз голову, чтобы не встретиться взглядом с кем-либо из знакомых. Это была бы сенсация: генерал КГБ возглавляет пасхальный крестный ход! К счастью, на мне была черная кожаная куртка, а взоры всех были устремлены на красочно одетых епископов. И все же я слышал шепот из толпы: «Смотри, впереди охранник Пимена идет».

Когда процессия, наконец, достигла своего конечного пункта и патриарх трижды прокричал: «Христос воскрес!» — я столкнулся нос к носу с начальником латиноамериканского отдела ПГУ Борисом Коломяковым. Он не очень удивился, увидев меня рядом с Пименом, а я на всякий случай изобразил таинственное лицо, как будто выполнял приказ самого Андропова. Ту памятную пасхальную ночь с благословения патриарха

Пимена мы провели за праздничным столом на антресолях Богоявленского собора.

Одной из функций Управления «К» являлось обеспечение внутренней безопасности разведки, ее персонала, помещений и сооружений. По заведенному порядку все сигналы негативного свойства в отношении офицерского и технического персонала подлежали проверке силами отдела безопасности Управления. В этом подразделении имелась небольшая группа офицеров, в обязанности которых входило выявление нелояльных или сомнительных сотрудников. А сигналов поступало немало: в здании ПГУ в Ясенево крали меховые шапки в гардеробе, импортные часы в спорткомплексе, колеса с машин на автостоянке. Многие считали, что орудует кто-то из обслуживающего персонала или шоферов. Когда в бассейне пропали двенадцатые по счету часы, Крючков возмутился: куда смотрит отдел безопасности? Пришлось нанести радиоактивную метку на специально закупленные в Японии часы, чтобы по излучению найти злоумышленника. Им оказался капитан из Управления научно-технической разведки. Его сразу же уволили из КГБ без огласки и передачи дела в суд!

Если бы все ограничивалось мелкими кражами! В Управление систематически поступали сведения об утечке секретной информации к противнику. Ряд крупных провалов нельзя было квалифицировать иначе, как предательство со стороны кого-то из офицеров. Проверялись многие люди, вызвавшие подозрения по тем или иным причинам, с использованием слежки, подслушивания и других специальных средств. В ходе этих мероприятий нередко выявлялись неблагоприятные поступки отдельных лиц, и их без шума и объяснений

выпроваживали из органов. Политическую неблагонадежность относили к самым опасным преступлениям. За «нездоровые» разговоры под микрофоном или в кругу друзей поплатились карьерой весьма толковые офицеры ПГУ, в том числе ставший впоследствии министром торговли РСФСР А. Хлыстов, в котором я учился в школе № 101.

По подозрению в шпионаже подвергалось проверке крайне малое число офицеров, но в мою бытность ни один из них не был разоблачен как агент иностранной державы. Сказалась слабая контрразведывательная подготовка и отсутствие надлежащего опыта у отдела безопасности. Несомненно, влияло и психологическое неприятие идеи, что в собственной чекистской среде может действовать шпион.

Многочисленные аресты офицеров ПГУ в восьмидесятых годах произошли не по причине внезапно «прозревшего» отдела безопасности — о том, как он сумел проворонить побег Гордиевского, рассказывают анекдоты, — а вследствие показаний, полученных от бывшего сотрудника ЦРУ Ли Говарда. Даже Ветров, офицер научно-технической разведки, находившийся в поле зрения отдела в связи с полученными на него компрометирующими материалами из Канады, сумел безнаказанно войти в контакт с французской разведкой в Москве, не прячась встречался с военным атташе Франции почти в центре города, на Кутузовском проспекте, и передавая ему документы ПГУ. Он попал в тюрьму потому, что, пытаясь убить любовницу, отправил на тот свет случайного прохожего. Уже отсидев несколько месяцев, Ветров неожиданно решил признаться в шпионаже, но ему не поверили, считая, что

его шаг продиктован тщеславием. В конце концов он был расстрелян.

Однажды вечером из Вашингтона пришла срочная шифротелеграмма, в которой офицер безопасности Соболев сообщал о приходе в посольство некоего Чеботарева. Посетитель назвался бывшим офицером ГРУ и просил помочь ему вернуться на Родину. В Центре дело майора Чеботарева отшумело несколько месяцев назад, когда он таинственно исчез в Брюсселе и, как выяснилось позже, получил политическое убежище на Западе. Теперь предстояло разбираться во всей этой истории. Соболеву незамедлительно телеграфировали задержать Чеботарева, опросить совместно с резидентом ГРУ и обеспечить его безопасную доставку в Москву.

С утра начались бесконечные телефонные звонки. Зампред Цинев, курировавший военную контрразведку, настаивал на немедленном аресте и допросе Чеботарева в Лефортовской тюрьме. Руководство ГРУ требовало первоначально побеседовать с ним с глазу на глаз у себя в штаб-квартире. Затем от Цинева поступила команда ни в коем случае не отдавать Чеботарева в руки ГРУ. Окончательное решение принял Андропов. Он дал указание Второй службе ПГУ организовать прием беглеца и его опрос на вилле КГБ в окрестностях Москвы.

Когда я вместе с еще одним сотрудником прибыл в аэропорт Шереметьево, там уже толпилась группа старших офицеров ГРУ во главе с генерал-лейтенантом. Мы представились друг другу. «Чеботарев поедет с нами, — безапелляционно объявил генерал-лейтенант. — Таково распоряжение Ивашутина». — «Нет, он поедет со мной, — ответил я. — Таково указание Цинева». Гээрушники насмешливо посмотрели на нас. Они явно

рассчитывали на свое численное превосходство. Но я уже знал, как надо действовать. Извинившись, я отошел в сторону и быстро взбежал на второй этаж в кабинет представителя КГБ в Аэрофлоте. У меня имелась предварительная телефонная договоренность об оказании им помощи в случае необходимости. Сейчас такая помощь была нужна. Надо просто просить открыть ворота аэропорта, и мы подведем к трапу самолета.

Через полчаса вместе с Соболевым и Чеботаревым мы выезжали с летного поля. Сгрудившись у ворот, нас ожидали генерал-лейтенант и его свита, запоздало обнаружившие исчезновение своих соперников. Пришлось выйти из автомашины, чтобы соблюсти декорум и пожелать военным коллегам доброй ночи. Однако генерал-лейтенант, сменив на этот раз тон, попросил заехать к Ивашутину. Я отказался. «Неужели мы будем ссориться из-за какого-то негодяя?» — уже примирительно сказал он. Не хотелось портить отношения с людьми, о которых у меня сохранились теплые воспоминания по Вашингтону. В конце концов, делаем одно дело. Я позвонил Циневу и, коротко доложив обстановку, предложил во изменение первоначального указания заехать на полчаса к Ивашутину. «Хорошо, — согласился Цинев, — но не упускай Чеботарева из виду ни на секунду».

В казарменного вида здании ГРУ на Хорошевском шоссе я никогда раньше не бывал. Мы шли по полутемным уютным коридорам, мимо обшарпанных дверей, и я невольно сравнивал интерьеры крупного военного ведомства со штаб-квартирой разведки КГБ. Наше здание на Лубянке отличалось добротностью и,

хотя было построено давно, всегда содержалось в порядке.

Мы вошли в приемную Ивашутина, и его адъютант немедленно скрылся за дверью, чтобы доложить о поздних гостях. Через мгновение он вернулся и попросил генерал-лейтенанта пройти вместе с Чеботаревым к начальнику. Я двинулся вместе с приглашенными, но был тут же остановлен адъютантом. «Вам не велено», — бросил он. «Что значит не велено, — грубо спросил я и дернул ручку двери. — Я выполняю приказ зам председателя КГБ Цинева, и вы не имеете права меня задерживать». Адъютант испуганно юркнул за дверь. По-видимому, упоминание Цинева подействовало на Ивашутина, в прошлом работавшего в КГБ и знавшего свирепый нрав брежневского ставленника.

Я вошел в кабинет и увидел ярость в глазах начальника ГРУ. Понять его было можно. Какой-то полковник из КГБ бесцеремонно ломится в покои руководителя военной разведки в то время, когда он хочет в доверительной беседе узнать подробности провокации, совершенной натовскими спецслужбами против его сотрудника. Эта удобная версия уже была заготовлена для внешнего употребления. Осталось лишь получить подтверждение из уст самого Чеботарева.

Но Чеботарев не оправдал надежд своего начальства. Он рассказал, как выехал из торгпредства на встречу с «оперативным контактом», как был задержан за нарушение правил уличного движения и доставлен в полицию из-за того, что не имел при себе водительских прав, как там ему неожиданно учинили допрос и он сообщил о своей принадлежности к ГРУ и характере выполняемой им разведывательной работы. «Тебя

пытали, били? Почему ты во всем признался?» — допытывался Ивашутин. Чеботарев отрицал какое бы то ни было насилие, но высказал мысль о том, что в выпитом им в ходе допроса стакане воды могло содержаться какое-то расслабляющее средство, ибо он чувствовал себя безвольно. Он не скрывал, что бельгийцы его завербовали и дали задание по сбору информации. Частично он их требование удовлетворил, собирался передать дополнительные сведения, но потом испугался и вместо того, чтобы встретиться с сотрудником бельгийского Сюрте в городе, попросил убежища в американском посольстве в Брюсселе. После длительных опросов в ЦРУ он, не сумев адаптироваться в новой обстановке и скучая по родным, решил вернуться домой.

По мере того, как Чеботарев рассказывал о своих злоключениях на Западе, Ивашутин все больше мрачнел. Он, кажется, понял, что перед ним сидит обыкновенный трус, раскисший при первом столкновении с опасностью. Нескрываемое раздражение, с которым он встретил меня, уступило место вежливой любезности. «Что будем с ним делать?» — спросил он почти дружелюбно, когда Чеботарев закончил свое повествование. «С недельку мы поработаем с ним у себя, а потом передадим органам военной юстиции», — сказал я, вставая и прощаясь с Ивашутиным.

На следующий день на загородной вилле, обставленной со вкусом и обслуживаемой поваром и официантом, мы с сотрудниками группы безопасности начали опрос Чеботарева. Он проявил полную готовность к сотрудничеству, и в течение недели работа была завершена. Предстояло сделать выводы и предложения. На мой взгляд, страх за допущенную ошибку явился

главной причиной предательства Чеботарева. Разумеется, сыграли роль и чисто человеческие слабости его характера, и неподготовленность к экстраординарной ситуации. Стоит ли жестоко наказывать за это человека, тем более что он набрался храбрости вернуться домой, заранее зная, что его ждет военный трибунал? Может быть, имеет смысл его помиловать и таким образом открыть путь к покаянию тем, кто уже оступился или в животном страхе за свою жизнь вот-вот соскользнет в пропасть? Я высказал свои соображения руководству. Не без возражений моя позиция в конце концов была одобрена. В докладной по этому вопросу на имя Андропова рекомендовалось:

— отдать Чеботарева под суд, как требовал того закон;

— по вынесении приговора ходатайствовать перед Президиумом Верховного Совета СССР о помиловании Чеботарева;

— в случае освобождения из-под стражи устроить его на работу по гражданской специальности за пределами Москвы, разрешив вернуться в столицу по истечении двухлетнего срока;

— широко довести до сведения сотрудников разведки КГБ и ГРУ, что всякий совершивший ошибку и даже преступление при исполнении служебных обязанностей не обязательно будет подвергнут наказанию, если он честно признается в содеянном и если нанесенный им ущерб будет носить ограниченный характер.

Мои предложения были приняты. Через полгода Чеботарев вышел из тюрьмы. КГБ помог ему получить место преподавателя французского языка в одной из

школ Рязанской области. Надо полагать, что сегодня он как о кошмарном сне вспоминает те черные дни.

С делами ГРУ мне приходилось сталкиваться еще не раз. В решении одного из них принимал личное участие Андропов.

Как-то из одной крупной азиатской страны от агента в местной контрразведке поступило тревожное сообщение о разрабатываемых планах шантажа жены резидента ГРУ. Эта уже немолодая дама очень любила свою собаку, огромного кобеля, исполнявшего не только сторожевые функции. Собака отвечала даме пылкой взаимностью, и на базе этой документально зафиксированной патологии контрразведка намеревалась завербовать неверную подругу резидента. Обычная мера против готовящейся провокации — отозвать предполагаемую жертву из страны. В данном случае прямолинейное решение было отвергнуто из-за опасения провала источника и трудностей реализации материала в ГРУ по чисто этическим соображениям.

Выход, как ни парадоксально, предложили не профессионалы, а политик Андропов. Он посоветовал отравить собаку и закончить на этом дело. Резидента же после отпуска за границу не выпускать под предлогом наличия информации о готовящейся против него грубой провокации. Курьезная часть в этой далеко не смешной истории выявилась после того, как специалисты КГБ, изготавливающие различные яды для уничтожения людей, не смогли порекомендовать какого-либо рецепта, пригодного для собаки. Опять выручил Андропов, подсказавший, что крысиный яд вроде стрихнина может сработать. Он действительно сработал, но не убил собаку, а лишь парализовал ее тазобедренную часть и

задние лапы. Такой исход всех, кроме главной виновницы, вполне устроил.

Еще одна сторона деятельности Управления «К» — компрометация лиц из числа бывших сотрудников ПГУ и членов их семей, чей выезд на постоянное жительство на Запад считался нежелательным. Совместно с внутренними органами КГБ искусственно создавались ситуации, в которые втягивали лицо, находившееся «в отказе». Документировали постельные сцены с подставленными «любовниками» и затем направляли за границу фотографии родственникам, мужьям, женихам. Изготавливали письма от реальных и несуществующих эмигрантов, которые засылали в Союз и перепечатывали «с разрешения» адресатов в советской печати. Одно такое письмо у меня сохранилось. Его «автор» писал из Тель-Авива: «Современный Израиль — страна лавочников, менял, мошенников и демагогов. В культурном отношении — это глухая русская провинция, если не хуже... Теперь у меня есть все, но нет широкого застолья, шумных споров. С кем я буду есть и пить? С соседом из Марокко, что живет напротив? Уже раз пробовал. Но меня интересуют пути развития литературы, а его — проблема обрезания в Марокко... Местные активисты соцпартии — безграмотные чиновники с четырехклассным образованием. Они поочередно мастурбируют идеями Маркса и Герцеля и строят социализм...»

В области так называемых активных мероприятий упомянутые выше составляли относительно невысокий процент. Основной упор, конечно, делался на дискредитацию ЦРУ и его союзников, внесение разлада и подозрительности в их отношения, изготовление с помощью Филби соответствующих фальшивок и

распространение их через западную печать с тщательной маскировкой подлинного источника дезинформации. Как правило, все эти акции проводились совместно со Службой «А».

Внешняя контрразведка имела прямой выход и на советскую печать. Излюбленной газетой в те годы была «Литературка», руководство которой с удовольствием брало любые материалы с клеймом «сделано в КГБ».

Накануне очередного съезда КПСС я удостоился чести стать автором сборника «ЦРУ глазами американцев», построенном на реальных материалах, взятых из американской прессы, но должным образом препарированных и поданных под соответствующим углом. В начале 1976 года Крючков мимоходом заметил, что Андропов хотел бы сделать подарок делегатам съезда в виде книги, разоблачающей ЦРУ. Через день он спросил, может ли Управление «К» сделать такую книгу за две недели. Я ответил утвердительно и в течение этого срока, работая с утра до поздней ночи с начальником отдела О. Нечипоренко и двумя машинистками, подготовил ее к публикации в издательстве «Прогресс». В день открытия съезда книга распространялась в фойе Дворца съездов, потом вышла вторым изданием, в том числе в Восточной Европе. Позже под моей редакцией и с предисловием в издательстве «Международные отношения» под тем же псевдонимом О. Кедров была опубликована книга французских авторов «Заговоры ЦРУ».

В 1979 году Центральная киностудия документальных фильмов с участием внешней контрразведки создала фильм «Тихие американцы», показывавший ЦРУ в самом неблагоприятном свете. До

выхода на экран презентация фильма руководству КГБ была поручена мне. В малом просмотровом зале на Лубянке собрались зампреды, начальники главков. После демонстрации посыпались упреки и замечания: почему президент Картер показан как простой симпатичный человек? Почему директор ЦРУ Тернер выглядит эдаким добряком и скромником? Зачем показывать на экране, как в телефонную трубку закладывается «жучок» для подслушивания? Наши граждане начнут развинчивать все телефонные аппараты. Почему ЦРУ преподносится как богатая организация, щедро оплачивающая своих агентов? Это может вызвать у граждан ненужный соблазн. Общий вывод: фильм нуждается в серьезной доработке. Его пропагандистский накал слаб, хотя текст Генриха Боровика вполне пригоден.

Слушая своих старших коллег, я приходил в тихий ужас. Эти люди в лучшем случае не понимали особенностей документального жанра. О другом думать не хотелось, спорить тоже. Понуро я выходил из зала. Неужели вся работа насмарку? Неожиданно при выходе я столкнулся с помощником Андропова Игорем Сеницыным. Он отозвал меня в сторону и негромко сказал: «Председатель видел этот фильм, и он ему понравился. Пускайте на экран». Через полгода фильм прошел по всем экранам страны.

Как начальник Управления, я регулярно принимал участие во всех крупных совещаниях по актуальным внешнеполитическим проблемам. После апрельского переворота Афганистан занимал все возрастающую роль во всех дискуссиях с призывами вносить предложения об укреплении режима Тараки. К одному такому совещанию я подготовил развернутый план активных мероприятий.

Он включал в себя следующие рекомендации афганскому правительству:

- публично обвинить Пакистан в развязывании агрессивных действий против Афганской республики;

- для придания убедительности этим обвинениям систематизировать факты, свидетельствующие о подготовке вооруженных партизанских групп на территории Пакистана, представить их в Совет Безопасности ООН;

- обратиться к лидеру Ирана Хомейни с письмом о поддержке Иранской революции, с выражением надежды на укрепление и развитие традиционных дружественных связей;

- мятежников в районе Герата квалифицировать как наемников империализма США, сионизма, остатков свергнутой в Иране монархии, жаждущих реванша в Афганистане и его расчленения;

- выдворить из Кабула американских граждан, подозреваемых в связях с ЦРУ, под предлогом сокращения численности посольства США. Аналогичные действия предпринять в отношении китайцев;

- через сторонников правительства среди духовенства обратиться с воззванием к народу, обвинив сионизм и империализм в попытках расколоть мусульман;

- создать народную милицию или дружины, вооружить ее наиболее преданные части;

- провести митинги молодежи, крестьян, представителей рабочего класса в поддержку революции по всей стране с личным участием Тараки в ряде мероприятий;

— создать повсеместно комитеты по защите революции из числа молодежи, рабочих и крестьян; из подразделений вооруженных сил выделить две-три ударные части, наиболее верные правительству, вооружить их самой современной техникой и оружием для использования в боевых действиях;

— осуществить рейды в тылы повстанцев с целью уничтожения их радиостанций, баз и складов вооружения;

— развернуть несколько мобильных радиостанций на территории страны, особенно в тех районах, где активизируется контрреволюция, для проведения интенсивной радиопропаганды в пользу Тараки и одновременно создания помех для враждебных радиопередатчиков;

— существенно усилить мощность и объем радиовещания с территории СССР от имени правительства Тараки;

— привести в боевую готовность советские воинские подразделения на границе с Афганистаном с целью их возможного десантирования в те районы страны, где поставлена под угрозу безопасность советских граждан и необходима их физическая защита или эвакуация. Предусмотреть участие этих подразделений в действиях по охране объектов и учреждений афганского правительства;

— направить наших советников в районы боевых операций для оказания помощи командованию афганской армии;

— регулярно осуществлять разведывательные полеты в районах боевых действий для оценки сил и передвижений мятежников;

— провести встречу с афганскими руководителями в Ташкенте или Душанбе для изложения этих и других предложений.

Часть из предложенных мной пунктов вошла в общий план, доложенный затем Андропову, а позже одобренный Политбюро.

В 1978 году в жизнь неожиданно ворвались события, имевшие далеко идущие последствия для моей судьбы.

Однажды позвонил Евгений Примаков и сообщил, что КГБ готовит какую-то пакость против одного из сотрудников Института мировой экономики, которого я должен знать. Он назвал фамилию «Кука» и просил выяснить, что стоит за возней моих коллег из Московского управления КГБ и нельзя ли дать им по рукам, ибо речь идет о талантливом ученом с неортодоксальным мышлением и высокой профессиональной отдачей. Ранее Примаков обращался ко мне с другими просьбами, в том числе связанными со снятием ограничений на выезд за границу некоторых его коллег. Такие обращения встречали понимание, и Примаков, очевидно, рассчитывал на мое деятельное участие в решении вопроса о «Куке».

Я связался с Московским УКГБ и получил оттуда весьма тревожное сообщение: «Кук» вот-вот будет арестован, и ПГУ не следует вмешиваться в это дело. Пока я раздумывал над тем, что предпринять, стало известно, что «Кук» схвачен с поличным при попытке совершения сделки, включавшей валютные операции,

скупку и попытку вывоза за рубеж художественных ценностей.

Что я мог сделать, если человек, хотя бы в прошлом и агент разведки, совершил преступление? Ответ был ясен — он должен нести наказание по закону. С тех пор как я видел в последний раз Анатолия, много воды утекло, он мог переродиться за это время. Наша действительность в состоянии скрутить кого угодно, даже такого в прошлом идеалиста, как «Кук», в пух и прах разносившего пороки буржуазного строя. Я горестно вздохнул и попытался забыть о происшедшем.

Напомнило о нем снова письмо Селены, переданное мне через Дональда Маклина, работавшего с «Куком» в том же институте. Жена «Кука» писала: «...во время допросов в Лефортовской тюрьме Анатолию сказали, что он получит срок в восемь лет и его отправят в лагерь, где он не проживет и месяца. В течение некоторого времени я знала, что Анатолия подозревают как американского шпиона. Я не думаю, что из деликатности мне следует молчать об этом, ибо подозрения беспочвенны. Анатолия неоднократно допрашивали о нашем знакомстве. Следователи не могли поверить, что мы встретились случайно. Они хотели знать, как мы «нашли» Вас...»

Холодок пробежал по коже, когда я закончил чтение письма. Выходит, преступление, за которое посадили «Кука», — для отвода глаз. В основе всего дела — подозрения в шпионаже.

Я вспомнил, как Московское УКГБ, возглавлявшееся многие годы Виктором Алидиным, маленького росточка генералом с тупым бульдожьим лицом, прихвостнем Брежнева и Гришина, корчившим из себя Бонапарта,

сфабриковало групповое шпионское дело «Стая», по которому проходили десятки видных советских литераторов и деятелей культуры. Основанием для заведения дела послужили показания одного рабочего, впоследствии признанного сумасшедшим, якобы наблюдавшего высадку парашютиста на территории Белоруссии. В поисках парашютиста возникла фантастическая по здравым понятиям версия, согласно которой родственник известного советского писателя выехал нелегально в Англию, а в СССР с его документами выброшен английский разведчик-нелегал для внедрения в советское общество, сбора секретной информации и идеологического разложения его изнутри. Этим делом Алидин долгое время морочил голову руководству страны, пока последнее слово — «липа» — не сказали специалисты из 2-го Главного управления КГБ.

Другой фабрикацией было дело еврейского отказника Анатолия Щаранского, обвиненного в шпионаже в пользу США. Следователи, занимавшиеся этим делом, рассказывали мне, что с трудом, под давлением Алидина, сумели свести концы с концами и передать дело в суд. А суды в те времена отказать КГБ просто не могли.

Пока я думал над тем, что и как можно предпринять для вызволения «Кука», Маклин, несмотря на свой возраст и болезнь, продолжал настойчиво добиваться пересмотра судебного приговора. Он обратился ко мне с просьбой передать Андропову, что не верит в шпионскую подоплеку дела. В письме, переданном Крючкову, Маклин, в частности, писал: «...на основе полученной от Селены информации у меня сложилось впечатление о значительном несоответствии сурового наказания, вынесенного Анатолию, и обстоятельств, в которых он

нарушил советский закон. На последнем этапе его деятельности переплелись два различных фактора — моральная неустойчивость Анатолия, спекуляция валютой и художественными ценностями и предположения органов госбезопасности о его возможном сотрудничестве с американской разведкой. Если последнее обстоятельство не подтвердилось, справедливости ради надо учесть это в определении меры наказания Анатолия».

Крючков согласился, что просьбу Маклина нельзя оставить без внимания, и предложил ознакомиться в архиве с судебными материалами на «Кука» прежде, чем докладывать о нем Андропову.

Когда я прочитал семь томов показаний, экспертиз и прочих документов, мне все стало ясно: люди Алидина, не видя выхода из тупиковой ситуации, понимая, что собрать доказательств шпионской деятельности «Кука» не удастся, решили реализовать дело путем введения в окружение «Кука» своего агента из числа валютчиков. Он действовал как провокатор, втянув Анатолия в незаконную сделку и позволив КГБ схватить их обоих в момент ее заключения.

Один из сотрудников Московского УКГБ, знакомый с оперативной стороной дела «Кука», потом рассказывал мне, что «Куком» заинтересовались вскоре после его приезда из США. Внимание КГБ привлекли критические высказывания Анатолия о советской действительности, несогласие с методами руководства предприятием, на которое «Кука» устроили работать. Он был вынужден уйти из химии и переключился на проблемы экономики, в которых тоже стал преуспевать. Однако его неприятие многих сторон нашей жизни сохранилось. По этой

причине его рассматривали как скрытого врага советской власти, а возможно, и шпиона, засланного в Советский Союз на длительное оседание по заданию ЦРУ. С целью получить искомые доказательства заместитель Алидина генерал Новицкий подослал к «Куку» под видом западного бизнесмена своего агента, который «напомнил» «Куку», что тот давно не выходит на шпионскую связь и забыл о своих обязательствах перед Западом. «Кук» спросил, что ему надо конкретно делать, но бизнесмен больше не появлялся.

Прорабатывалась и другая версия: Анатолий и Селена заброшены в СССР через США как агенты разведки КНР. Повод для этого бдительным чекистам дали некоторые про-маоистские высказывания обоих во время обострения советско-китайского идеологического спора.

Пока я углублялся в подробности истории «Кука», в США завязался еще один сюжет, к которому я имел прямое отношение. Нью-йоркский резидент КГБ Юрий Дроздов в личном письме ко мне высказал мнение, что посол СССР, заместитель генерального секретаря ООН Аркадий Шевченко завербован ЦРУ и необходимо его как можно скорее отозвать из США. В обоснование своих подозрений Дроздов выставил ряд аргументов и личных наблюдений, не лишенных убедительности. Трудно было, однако, представить, чтобы чиновник столь высокого ранга, в прошлом помощник и доверенное лицо Андрея Громыко, оказался вдруг шпионом.

Примерно за год до командировки в Нью-Йорк Борис Иванов принимал Шевченко в Ясенево, а затем поручил мне переговорить с ним об анонимке, обвинявшей Шевченко в получении взятки в валюте за помощь в

выезде одной советской гражданки в США. Шевченко зашел ко мне в кабинет, мы мило побеседовали, выпили кофе с коньяком, и я пообещал разобраться с авторством подметного письма.

Сообщение Дроздова свидетельствовало о ненормальной обстановке, складывающейся вокруг Шевченко, происхождение которой было неясно. Возможно, тут продолжалась травля его со стороны того же, все еще не раскрытого анонима. Тем не менее материал был доложен Крючкову, не придавшему ему большого значения.

Через месяц пришло еще одно послание Дроздова, на этот раз выдержанное в панических тонах. Резидент писал, что Шевченко запил, избегает встреч с советскими людьми и принятие мер уже не терпит отлагательства. Информация на этот раз ушла в МИД и ЦК КПСС.

Тревожные сигналы из КГБ побудили руководство МИД вызвать Шевченко из Нью-Йорка для профилактической беседы. Текст телеграммы готовился в МИД, но составили его там столь неуклюже и неубедительно, что Шевченко, действительно сотрудничавший с ЦРУ, с испугу воспринял ее как приглашение на смертную казнь. В результате — побег, просьба о политическом убежище и крупный международный скандал. В тот поздний вечер, когда пришло известие об исчезновении Шевченко, я позвонил на квартиру первому заместителю министра иностранных дел Мальцеву и сообщил о происшедшем. Наутро завертелась телефонно-бумажная карусель. Громыко в беседе с Андроповым сказал, что, возможно, у него и был такой помощник, но всех он помнить не может. Председатель КГБ среагировал тем, что стал корить

своих подчиненных за непроверенную информацию о якобы близких отношениях между Шевченко и Громыко. И только после того, как заместитель начальника Второго Главка Федор Щербак показал изъятые на квартире Шевченко семейные фотографии, на которых Шевченко и его жена поедали шашлыки на пикнике в загородной вилле Громыко, Андропов смущенно пробормотал: «Ах, Андрей Андреевич!»

Весной 1979 года я съездил в Финляндию на встречу с одним из агентов ЦРУ, завербованным в Греции. Встреча не внесла полной ясности в причины, побудившие его пойти на контакт с советской разведкой. Тем не менее настроение у меня было приподнятое до тех пор, пока поезд Хельсинки — Москва не остановился на маленькой пограничной станции Вайникала. Разглядывая через окно вагона уютные одноэтажные домики, пробивающиеся вдоль шпал ранние зеленые стебельки, я неожиданно почувствовал какую-то внутреннюю тревогу, как будто я расставался навсегда со свободным миром, с его противоречивой, но увлекательной и красочной жизнью.

Через час поезд подошел к перрону Выборгского вокзала. Серые, грязноватые будни вечерними сумерками закрыли все, что осталось позади.

А дома все шло своим чередом. Гремели фанфары победных рапортов об успехах развитого социализма. Критиков режима упрятывали за решетку или в психбольницы. С тех пор, как Андропов на коллегии КГБ в 1976 году объявил, что Андрей Сахаров является внутренним врагом номер один, Пятое управление подключило ПГУ к разработке совместных планов, направленных на дискредитацию и разложение

немногочисленного диссидентского движения в СССР. От внешней контрразведки требовалось вербовать новых агентов, добывать информацию на радио «Свобода», в «НТС», «Международной амнистии», других антисоветских организациях, действующих на Западе.

Управление «К» занимало теперь подобающее место в системе КГБ во всем, что касалось организации работы контрразведки за границей. Пора было обобщать накопленный опыт, и я сел за написание учебника «Внешняя контрразведка». Несколько лекций о ЦРУ, прочитанных в Высшей школе и Краснознаменном институте КГБ, подтолкнули меня на мысль о диссертации. Я сдал на отлично экзамены кандидатского минимума и приступил к отбору материалов на тему «Подрывная деятельность американской разведки против СССР с территории третьих стран». Изобилие открытой и оперативной информации по этому вопросу позволило мне в краткие сроки подготовить объемистый труд, шлифовкой которого я занимался в выходные дни, каковых у меня практически не было, ибо несколько часов каждой субботы и нередко воскресенья я проводил в Ясенево. Но когда появлялись «окна», я вырывался в лес, на подмосковные водоемы, где с ружьем в руках отдыхал в тростниковых зарослях или на опушке, поджидая кабана или утку.

Я все еще жил радостным ощущением полезности и необходимости своего труда. Великие иллюзии, с юных лет определившие мое восприятие мира, не позволяли трезво оценивать происходящее. Я видел собственную страну из окна автомашины, отвозившей меня утром на работу и возвращавшей поздно вечером домой. Фортуна

благоволила мне, и, за что я ни брался, все образовывалось и решалось самым наилучшим образом.

Иногда, правда, резким, отталкивающим диссонансом звучали, скажем, сообщения из Афганистана. В ночь на 22 января 1979 года начальником службы безопасности страны Сарвари лично были убиты руководитель мюридов Хазрат Моджадеди, четверо его сыновей и шесть племянников. Это уже походило на резню, а не политическую борьбу. Я вспоминал Сарвари, с которым встречался за полгода до этого, и не мог понять, как он решился пойти на такое зверское преступление.

А потом из Пномпеня поступили подробности массовых расправ «красных кхмеров» с гражданским населением. По телевидению показывали гигантские захоронения жертв полпотовского режима, трупы детей в школах, измученных, голодных людей.

Что-то не вязалась революционная поступь народов Востока с гуманистическими началами, заложенными в социалистической идее. Невольно напрашивались аналогии с нашим недавним прошлым, с нацистской Германией, с маоцзэдуновской «культурной революцией». Почему везде один почерк, один кровавый след, насилие, жестокость, бесчеловечность?

Я отмахивался от набегавших сомнений, стараясь находить объяснения: все это трудности роста, преодоление вековой отсталости, специфика азиатских народов, их психического склада. Мы, будучи страной евроазиатской, уже прошли эту фазу развития, и нам не грозит возврат к прошлому.

Оставалось три месяца до официального объявления о моем переводе на работу в Ленинград. В

ритме повседневной жизни не отмечалось никаких тревожных перемен. В августе секретарь парткома предложил мне написать статью в журнал «Разведчик» по проблеме бдительности в партийных организациях загранрезидентур. Как раз в это время в первичных партячейках обсуждалось очередное постановление ЦК КПСС «О мерах по дальнейшему повышению политической бдительности советских людей» и надо было «отреагировать». Свою статью я решил проиллюстрировать примером из жизни одной резидентуры, где провинился работник внешней контрразведки — протеже Цинева.

За год-полтора до этого происшествия Цинев позвонил мне и рекомендовал направить в Англию сына своего старого друга Ярцева. Молодой Ярцев ни в чем пока не преуспел и, судя по отзывам его непосредственных начальников, едва ли в чем когда отличится. Я связался с Циневым и сказал, что с Англией у нас имеются затруднения по части вакансий, особенно после изгнания 105 сотрудников советских представительств и лимитов, установленных англичанами. Однако есть свободная должность в Дании, и мы готовы оформить туда Ярцева. Но старик заупрямился: его «приемный сын» всегда мечтал об Англии, надо помочь ему осуществить свою мечту. Делать было нечего. Я нашел ход, который мог бы со временем все поставить на свои места: раз мальчик хочет в Лондон, дадим ему должность представителя Совэкспортфильма — самостоятельная точка, финансовая и юридическая ответственность. Если сумеет оседлать, добиться результатов в работе — дай Бог ему здоровья и нам тоже. Если завалится, значит, туда ему и

дорога. По крайней мере нас не обвинят в сопротивлении воле начальства и сдерживании роста молодых кадров.

Как я и предполагал, Ярцев завалился, но так, что начисто опроверг мнение своих кураторов о неспособности в чем-либо отличиться.

При подготовке статьи я исходил из того, что «дело Ярцева» должно стать уроком для руководителей, бесцеремонно подыскивающих теплые местечки для своих родственников и друзей в ущерб интересам службы, а кроме того, не дает повода для недоброжелателей обвинять Управление «К» в замазывании собственных грехов и выпячивании чужих.

В статье я, в частности, писал: «Если тщательно и беспристрастно рассмотреть анатомию наиболее серьезных проступков, имевших место в ПГУ в последние годы, то станет очевидным, что они совершались не внезапно, они подготавливались всем ходом эволюции того или иного работника. Эта «подготовка» выражалась, как правило, в пьянстве, моральной распущенности, систематическом нарушении порядка и дисциплины. Нередко им сопутствовали разлады в семейной жизни, неприязненные отношения в коллективе. Такого рода явления происходили на протяжении достаточно длительного периода времени, и не заметить их было нельзя. Совершенно ясно, что они становятся возможными чаще всего в тех коллективах, где отсутствует должная требовательность к подчиненным, где слабо осведомлены об их поведении в быту, где круговая порука, нежелание «выносить сор из избы» приводят к тому, что болезнь загоняется внутрь, а это, в свою очередь, неизбежно ведет к эксцессам. Руководители некоторых резидентур, особенно в

небольших точках, не всегда объективно освещают положение в своих коллективах, прилагают немало усилий к тому, чтобы в Центр не попали сведения об имеющихся проступках со стороны того или иного разведчика. В результате имеют место случаи, когда оперативная нечестность, необъективная оценка фактов и ситуаций, замазывание недостатков приводят к резкому осложнению положения вокруг отдельных сотрудников разведки, а то и во всем коллективе.

Разумеется, никто не застрахован от неприятностей, но именно своевременная, решительная, если надо «хирургическая», операция способна быстро разрядить обстановку, создать нормальный климат в резидентуре. Поучительный пример — история, разыгравшаяся недавно в Лондоне, где главным «героем» был сотрудник линии «КР» Ярцев. Резидентура получила сигнал о том, что к Ярцеву проявляет повышенный интерес английская контрразведка. Изучение обстановки вокруг оперработника показало, что он имеет сомнительные связи среди местных граждан, нарушает трудовую дисциплину, не докладывает руководству о своем времяпровождении, прибегает к обману с целью сокрытия своих знакомств. По указанию Центра за Ярцевым было установлено агентурно-оперативное наблюдение, которое выявило факт сожительства Ярцева с англичанкой, подделку счетов, систематическое присвоение государственных средств, кражу принадлежащего государству имущества. Отозванный под благовидным предлогом в Советский Союз, Ярцев при опросе признался в совершении этих позорных проступков, был уволен из органов КГБ и исключен из рядов КПСС».

Секретарь парткома, прочитав мой материал, засомневался: стоит ли упоминать Ярцева? Ведь навлечем на себя ярость Цинева.

Я настаивал на сохранении текста без изменений, но в конце концов пошел на компромисс, смягчив некоторые выражения и убрав такие подробности, как проверка багажа Ярцева, в котором обнаружили бронзовые ручки от дверей и другие детали интерьера бюро Совэкспортфильма, выкраденные незадачливым чекистом при отъезде из Лондона.

Я не знаю, была ли опубликована моя статья. Не хватало времени, чтобы поинтересоваться. Незавершенное дело «Кука», поездки в Польшу и Венгрию, напор текущих рабочих забот и какая-то неопределенность, повисшая в воздухе, выбивали меня из нормальной колеи. Настораживало и отсутствие приглашений к Андропову.

Часть II

По плодам их узнаете их.

Собирают ли с терновника виноград

или с репейника смоквы?

Евангелие от Матфея, 7:16

Длительная работа в аппарате неизбежно столкнула меня с сильными мира сего — руководителями госбезопасности, министрами, чиновниками различных рангов из ЦК КПСС.

До возвращения из США контакты с высшим начальством ограничивались протокольными приемами у заместителей председателя КГБ, курировавших кадры. Один из них, Тикунов, принимавший меня накануне отъезда в Нью-Йорк, откровенно позавидовал: «Я в вашем возрасте тоже впервые поехал за границу, но это была Монголия». Другой зампред, Перепелицын, проявил исключительное дружелюбие, повышенное внимание к семейным и квартирным делам. Это были люди хрущевской школы — обходительные, улыбчивые, понимавшие все как будто с полуслова.

Впервые лицом к лицу я увидел своих руководителей — Сахаровского, Захарова, Семичастного и Шелепина — в декабре 1964 года, на приеме в Георгиевском зале Кремля, где большой группе чекистов тогдашний глава Президиума Верховного Совета СССР Микоян вручал правительственные награды. К тому времени Хрущев уже был отстранен от власти, и, очевидно, торжественная церемония награждения символизировала особую благодарность новой кремлевской верхушки «вооруженному отряду партии» за услуги, оказанные при свержении своевольного и непредсказуемого лидера. Она же предвещала, что трудная пора для КГБ осталась позади, что Брежнев и его команда не позволят больше принижать значение и роль госбезопасности в жизни страны.

Так оно и получилось на деле. К 1967 году Семичастный, не пользовавшийся авторитетом ни в чекистской среде, ни в партаппарате, был заменен Юрием Андроповым — проверенным коммунистом, имевшим в послужном списке комсомольскую и партизанскую работу в Карелии, «заслуги» в бурные дни будапештского восстания 1956 года, в незаметной для

внешнего мира организаторской работе по «сплочению» международного рабочего движения и, как пишут современники, в подготовке заговора против Хрущева.

До того, как я повстречался с Андроповым, мне приходилось иметь дело лишь с руководством разведки. Александр Михайлович Сахаровский, возглавлявший ПГУ с середины 50-х годов, несомненно, был профессионалом высокого класса. Правда, оттачивал он свое мастерство не в заграничных резидентурах. До назначения в разведку он работал в Ленинграде, командовал агентурной сетью советских граждан — моряков заграничных плаваний. Еще раньше, в конце войны, вместе с частями Красной Армии оказался в Бухаресте, где, видимо, содействовал приходу к власти прокоммунистического Земледельческого фронта во главе с П. Гроза. Когда Сахаровский пришел в разведку, она переживала тяжелые времена. Создававшиеся годами агентурные группы разваливались на глазах. Серия предательств сотрудников КГБ, разочарованных хрущевской политикой свертывания разведывательной деятельности и ущемления привилегий чекистов, помогла западным контрразведкам ликвидировать ценнейшие источники информации, внедренные в высшие правительственные и научные учреждения США и Европы. Но Сахаровский обладал волей, энергией, организаторскими способностями, умением подчинить себе и сплотить большой коллектив. Обычно сумрачный, как будто отягощенный постоянными думами, он являл собой тип начальника, имя которого произносили с благоговением или страхом. Ни от кого в КГБ я не слышал худого или пренебрежительного мнения о шефе разведки.

При моем назначении во Вторую службу он принял меня всего на несколько минут. Мой жизненный путь был ему хорошо известен. Держался он дружелюбно, располагаяще. Его суровое лицо осветилось сердечной, отеческой улыбкой, когда он пожелал мне успехов на новом месте.

Я очень редко докладывал ему лично — это была прерогатива начальника Службы, но знал, что к кадрам контрразведки он придирчив и усиления ее роли не желает. Тем не менее, возможно по причине моего перевода с линии «ПР», относился он ко мне подчеркнуто уважительно.

Свой жесткий, авторитетный характер Сахаровский в полной мере проявил после побега на Запад в 1971 году сотрудника лондонской резидентуры КГБ Лялина. Почти все руководители Лялина были уволены из разведки, а некоторые и из КГБ. В той или иной степени пострадали десятки людей, знавших предателя, еще добрых полторы-две сотни стали невыездными. Отдел «В», занимавшийся главным образом вербовкой агентуры для специальных акций и углубленным изучением уязвимых для саботажа и диверсий экономических объектов, был расформирован. После разгрома в ПГУ воцарилась тревожная тишина, нарушенная лишь подготовкой к переезду в новый комплекс зданий, выстроенный в Ясенево. Сахаровский был инициатором перемещения, принимал личное участие в разработке генерального плана строительства. Он же пригласил в качестве главного архитектора известного в Москве М. Посохина. На последнем этапе, когда проект находился в стадии утверждения, Сахаровский предложил убрать два верхних этажа центрального корпуса, чтобы не допустить его демаскировки. Мог ли подумать тогда начальник

разведки, что заимствованная им у ЦРУ идея передислокации за город штаб-квартиры разведки — в целях конспирации ее личного состава — потерпит полное фиаско и многочисленные фотографии и даже поэтажное размещение всех служб появятся в западной прессе!

Думаю, что в тяжелом взгляде и необщительности Сахаровского скрывалась одна тайна, о которой у нас предпочитают помалкивать и поныне. Александр Михайлович нес на себе груз ответственности за «мокрые дела» советской разведки. При нем и с его ведома были физически ликвидированы лидер украинских националистов С. Бандера и активист НТС Л. Ребет, совершено покушение на заартачившегося исполнителя «мокрых дел» Н. Хохлова, готовились убийства руководителей антисоветской эмиграции Г. Околовича и В. Поремского, бывших сотрудников НКВД — КГБ А. Орлова, В. Петрова, П. Дерябина, А. Голицына, Ю. Носенко, О. Лялина, рассматривался вопрос о повторном покушении на Н. Хохлова. Сахаровский лично отдал приказ ввести в организм ирландца Шина Берка отравляющее вещество, постепенно разрушающее здоровье, и прежде всего деятельность головного мозга. Это произошло накануне отъезда Берка из Москвы. Сахаровский опасался, что бывший участник операции по вызволению из английской тюрьмы агента КГБ Дж. Блейка, вернувшись на Запад, расскажет подробности пребывания Блейка в Советском Союзе и таким образом поставит его жизнь под угрозу.

Берк скончался в Ирландии в возрасте 47 лет.

По натуре Сахаровский был подозрителен и осторожен. Он первый обратил внимание на

непоследовательность в поведении агента ПГУ Артамонова — Шадрина, в прошлом командира эсминца на Балтике, приговоренного военным трибуналом за измену Родине к расстрелу, но пожелавшего впоследствии искупить вину добровольным сотрудничеством с советской разведкой в США. Он беспощадно расправлялся с теми, кто терял в его глазах доверие, но в то же время слепо шел на поводу у примазавшихся, сумевших доказать свою преданность боссу. Его упрямство, готовность постоять за себя и защитить разведку от нападок вызывали раздражение наверху. Вот почему ему не пришлось долго задержаться в начальственном кресле после прихода в КГБ Андропова и откровенных брежневских ставленников С. Цвигуна, Г. Цинева и В.Чебрикова. Бывший секретарь ЦК Андропов косо смотрел на профессиональных чекистов. Партия требовала укрепить органы безопасности надежными работниками своего аппарата, проводниками идей засевавшей в Кремле днепропетровской мафии.

Под крылом Сахаровского давно сидел первый заместитель Федор Константинович Мортин, в прошлом ответственный сотрудник аппарата ЦК КПСС. Его-то и решено было назначить на место сникшего в результате перегрева страстей вокруг «дела Лялина» Сахаровского, хотя последнему в то время еще не исполнилось шестидесяти лет.

Как и подавляющее большинство партаппаратчиков, Мортин ни морально, ни профессионально не подходил для должности начальника разведки. Ему не хватало общей культуры, эрудиции, знания предмета и проблем. Он был неуверен в себе и, очевидно, признавал эту слабость, не пытаясь выдать себя за того, кем он не являлся. Он пугался начальства, вздрагивал при звонках

Председателя, и особенно если звонили из ЦК. Тут он преображался, изгибался, торопливо с легким заиканием заверял звонившего, что все будет сделано моментально. Снимал трубку и громогласно требовал от подчиненных немедленного исполнения очередной блажи такого же безграмотного аппаратчика, как и он. Спокойные разъяснения, что указание не может быть выполнено по вполне объективным причинам, воспринимал болезненно, но не спорил, а жалобно смотрел в глаза и уговаривал что-то предпринять, дабы «закрыть вопрос».

Мортина было нетрудно уговорить на острую операцию, если он верил инициатору. Когда же у него возникали сомнения, он начинал обзванивать своих замов и выяснять их отношение к делу. В какой-то мере его нерешительность развязала руки наиболее агрессивно настроенным начальникам подразделений, хотя позволила другим спокойно приходить в девять утра и уходить в восемнадцать, не приложив ни к чему своих усилий.

Один эпизод достаточно хорошо характеризует начальника разведки того времени. Офицер контрразведки в Турции после ссоры с женой загулял на пляже и вернулся домой под утро. Перепуганная жена побежала к резиденту, а тот, узрев возможную провокацию турецких спецслужб, шифровкой информировал об инциденте Центр. Телеграмма попала на глаза Андропову, и он наложил резолюцию: отозвать из страны и примерно наказать.

Тот офицер пришел в разведку из погранвойск с отменной характеристикой, имел неплохие заделы в вербовочной работе, резидентом оценивался как перспективный сотрудник.

Я зашел к Мортину и попросил его передоложить телеграмму Андропову с нашим мнением: пожурить, но не отзываться, дать возможность человеку проявить себя. Мортин замахал руками: «Ты что, с ума сошел, я этого делать не буду». Я настаивал, убеждал, что мы не имеем права так легковесно расправляться с кадрами, тем более знающими турецкий язык. Наконец Мортин сдался: докладывай сам, а я посмотрю, что из этого выйдет.

На очередной встрече с Председателем после обсуждения текущих оперативных дел я обратился к нему с просьбой пересмотреть принятое им решение по инциденту в Стамбуле, аргументы выдвинул те же, что и в разговоре с Мортиным. Андропов внимательно выслушал краткий доклад, взял из моих рук документ и зачеркнул свою резолюцию об отзыве. Так, одним взмахом пера, решались судьбы людей.

Мягкотелость Мортина, слабая сопротивляемость внешним обстоятельствам и, несомненно, личная порядочность сыграли немалую роль в его преждевременном падении. Но главное, конечно, его фигура не устраивала Андропова. Нужен был свой человек, выпускник той же аппаратной школы, но проверенный на практике, не боящийся звонков из ЦК, лично преданный и послушный. Выбор пал на Владимира Александровича Крючкова, корпевшего в то время над бумагами в секретариате КГБ. С Крючковым Председателя эмоционально связывала Венгрия, где они оба укрощали революцию 1956 года. Возвращаясь из посольства в Будапеште в ЦК КПСС, Андропов прихватил туда с собой и Крючкова. Там он проработал помощником Андропова вплоть до 1967 года, когда

партия в очередной раз бросила своих людей на «укрепление правоохранительных органов».

Впервые я встретил Крючкова в огромном кабинете начальника секретариата в начале семидесятых годов. Он поразил меня своей неопределенной внешностью, нечетким выражением глаз, скрытых за стеклами очков. Он жаловался на неопрятность оформляемых в ПГУ документов, упрекал сотрудников Второго главного управления в нелестных отзывах о разведке. Неоднократно в течение разговора он по звонкам выбегал из своего кабинета в находившийся в нескольких шагах кабинет Председателя.

Затем он появился в Ясенево в качестве первого заместителя Мортина по политической линии. Из выступлений Крючкова на совещаниях сразу стало ясно, что он имеет весьма отдаленные представления о разведке. В его бесцветных речах было много общих, пустых слов и призывов. Он явно тяготел к европейским делам и с первых дней попал под влияние откровенного демагога Н.Четверикова, возглавлявшего отдел романских стран. Позже в обойму его фаворитов вошел обходительно-вкрадчивый бывший дипломат В. Грушко, только что вернувшийся из Норвегии. К американистам Крючков относился прохладно. Видимо, его отпугивала профессиональная эрудиция другого первого зама, куратора Первого отдела и внешней контрразведки Б. Иванова.

Прошло несколько месяцев, прежде чем Крючков оценил специфику Управления «К» и его оперативные возможности. В то время группа внешней контрразведки в Париже располагала серьезными источниками информации во французских спецслужбах. Мы

систематически получали ценные сведения о готовящихся против советских учреждений акциях, затрагивавших интересы резидентуры. Поступали к нам разрозненные данные и о наличии у западных разведок, в частности ЦРУ, крупного агента среди советских граждан, находившихся в Европе. Крючков был заинтригован. Испросив разрешения у Андропова, он выехал во Францию, где ему организовали встречу с источником. Вернулся Крючков в волнении и немедленно вызвал меня к себе. «У нас в разведке сидит американский шпион. Агент назвал несколько фамилий. Надо срочно разобраться».

Через неделю-две поступили из резидентуры записи Крюčkова. Действительно, упоминались некоторые фамилии, но на шпионов они явно «не тянули» — скорее на болтунов, чьими разговорами в незащищенных помещениях пользовалась местная контрразведка. Я доложил свои соображения Крючкову, но он нетерпеливо отмахнулся: «Я вам сказал, что есть шпион, ищите». Тут же он назвал нашего резидента в Швейцарии, фамилия которого фигурировала в записях. «Но это невозможно, — возразил я. — Никаких оснований подозревать его в шпионаже нет». Крючков злобно посмотрел на меня и не терпящим возражений тоном приказал установить контроль за телефонными разговорами резидента, находившегося в то время в отпуске в Москве.

Я подчинился, и уже через сутки ко мне стали поступать сводки телефонных переговоров объекта. Как и ожидалось, ничего компрометирующего не фиксировали, но в одной записи вдруг проскочила фраза, придавшая всему делу пикантный оборот. Чей-то хрипловатый голос недвусмысленно предупредил

резидента, что их разговор может прослушиваться и поэтому надо проявлять осторожность. Доброжелатель, видимо, звонил из автомата, но по содержанию разговора было видно, что собеседники давно знают друг друга и являются выходцами из одной местности.

Я принес записи Крючкову. Он удовлетворительно хмыкнул и с деланным возмущением спросил, кто же мог разгласить такое ответственное мероприятие перед объектом проверки. Я развел руками: надо устанавливать.

Как я был наивен тогда! Оказывается, Крючкову уже была известна фамилия злоумышленника. Не кто иной, как Мортин, знавший от своего первого зама, что идет проверка сигнала из Парижа, предупредил своего земляка быть поосторожней. Он попался на удочку! Несчастный простофиля, теперь его судьба предрешена!

Мортин ушел в отпуск, а после возвращения получил назначение в резерв КГБ в ГКНТ на должность начальника главка, насчитывавшего около тридцати человек. Через несколько дней Крючков стал шефом разведки.

Шел декабрь 1974 года. Крючков уже переместился в другой кабинет, но к работе фактически не приступал. Он с головой окунулся в подготовку к совещанию разведок органов госбезопасности социалистических стран, где должен был впервые предстать в новом качестве. В Варшаву, где предстояла встреча, мы вылетели вчетвером. Помимо координатора КГБ по делам содружества генерала В. Бурдина, в нашу делегацию был включен начальник информационной службы ПГУ генерал А. Смирнов, добрейший человек и умница. Для меня поездка с Крючковым означала признание и,

возможно, благодарность за невольное соучастие в устранении Мортина. В польской столице мы не задержались, сразу проехали на виллу МВД «Магдаленка» в предместье Варшавы. Здесь с традиционным шиком нас принимали хозяева — заместитель министра М. Милевский и начальник разведки Я. Словиковский. В пленарных заседаниях и рабочих контактах участвовали начальники разведки: ГДР — М. Вольф, Чехословакии — М. Гладик, Болгарии — В. Коцев, Венгрии — Ш. Райнаи, Кубы — М. Коминчес, Монголии — П. Дэчин.

Первым с докладом о международной обстановке и вытекающих из нее задач для разведок социалистических стран выступил Крючков. Его блеклая, изобиловавшая трюизмами речь вызвала явное разочарование у присутствующих. Гораздо насыщеннее и динамичнее выглядело сообщение Вольфа. Обрадовал своим напористым тоном и конкретными предложениями Коминчес. Остальные шли в фарватере «старшего брата» с многочисленными реверансами по его адресу. В Варшаве нам удалось пробыть лишь один вечер. Мы с удовольствием послушали комическую оперу «Замок на Чертшине», затем со Смирновым заехали к его старым польским друзьям. Вернулись в «Магдаленку» за полночь. Спать не хотелось, и почти до утра просидели вдвоем, сопровождая дружескую беседу прихваченным из Москвы горячительным.

На пленарное заседание мы опоздали минут на пять. Крючков холодным взглядом удава изучал наши лица, а в перерыве сразу же спросил, где мы пропадали ночью. Смирнов объяснил, что заехали к ветерану польской разведки, потом обменивались впечатлениями о прошедшем дне. «Как вы могли уехать, никого не

предупредив! — взорвался Крючков. — Ведь в чужом городе находитесь, мало ли что могло случиться, провокация или еще что-нибудь».

Я внутренне сжался, готовя ответ. После двенадцати лет в Америке предупреждать меня о провокациях в Варшаве просто абсурдно. Но Смирнов опередил меня и, ничуть не смущаясь, парировал упрек Крюčkова словами: «Я вас старше на десять лет, Владимир Александрович, прошел войну и сам могу за себя отвечать. Калугин тоже не нуждается в наставлениях».

Это был вызов. Я поразился смелости моего коллеги. Потом я сказал ему об этом. «Шефа нужно воспитывать, иначе все мы будем жертвами его недоверчивости», — засмеялся Смирнов.

Вечером состоялся прощальный ужин, все поднимали тосты за дружбу, дальнейшее сплочение и укрепление, а затем мы погрузились в международный спальный вагон и двинулись на Москву. Через полчаса к нам в купе постучался Крючков и предложил посидеть у него, обсудить итоги совещания. После утренней выволочки в нашей группе чувствовалась некоторая напряженность. Очевидно, желанием разрядить обстановку и было продиктовано это приглашение. Разговор, однако, не клеился. Смирнов сидел мрачный как туча, Бурдин бросал отдельные нейтральные фразы.

«Давайте выпьем по рюмке за успешное завершение», — предложил Крючков. Все немного оживились, опять пошли тосты. «А теперь пусть каждый расскажет о себе, кто что хочет, неанкетно. Начну я». И Крючков неторопливо и как бы доверительно стал излагать свою биографию. Его рассказ не оставил в

памяти каких-либо ярких или неизвестных сегодня деталей, но тогда его попытка замять неприятный инцидент была должным образом оценена.

Между тем в Москве назначение Крючкова начальником ПГУ вызвало яростные пересуды. Наибольшее недовольство проявляли сотрудники внутренних органов КГБ, а также выдавшие виды разведчики, узревшие в этом шаге Андропова очередное наступление партаппарата на профессионалов. Особенно негодовал Второй главк, не забывший стычек с Крючковым еще в бытность его начальником секретариата.

Один эпизод, начавшийся бурным весельем в доме приемов МИД СССР, имел далеко идущие последствия для отношений между ПГУ и Вторым главком и лично для его руководителя Григоренко. Весной 1975 года КГБ и МИД приняли решение возобновить некогда существовавшую традицию взаимных встреч в гостях друг у друга. Для начала избрали особняк Морозова на улице А. Толстого, где был организован роскошный ужин. Принимающую сторону возглавлял зам министра по кадрам Н. Пегов, в прошлом крупный цековский чиновник, замминистра И. Земсков, секретарь парткома МИД В. Стукалин, начальники Консульского и других управлений. От КГБ присутствовали Крючков, Григоренко, его первый зам Бояров, вице-адмирал М. Усатов и еще два генерала, включая меня. С приветственным тостом выступил Пегов, призвавший крепить узы дружбы и взаимодействия между чекистами и дипломатами. Все ожидали, что от КГБ первым возьмет слово Крючков, и, судя по всему, он готов был уже подняться со стула, как вдруг с рюмкой в руках вскочил Григоренко и уверенно, с нажимом повел речь о давнем

сотрудничестве с МИД, о том, какую роль играет служба безопасности и т. п. Бестактность Григоренко нас покорила, но положение еще более усугубилось после того, как выступил Земсков, а за ним вновь Григоренко. Вслед за начальником Управления по обслуживанию дипломатического корпуса, рассказавшим несколько сальных анекдотов, здравицы пошли одна за другой, громкий смех и шутки перемежались звоном бокалов и новыми тостами, которые уже никто не слушал.

Крючков сидел красный как рак, глубоко уязвленный и растерянный, молчаливо ковыряя вилкой в подаваемых официантами блюдах. Наконец, когда веселье стихло и уже пора было расходиться, он предложил поднять бокалы за Андропова и Громыко. Все дружно захлопали. Те, кто представлял на вечере ПГУ, уходили подавленными. Дебют Крюčkова оказался как первый блин — комом. Это не предвещало ничего хорошего.

Надо же было так случиться, что летом этого года из Братиславы Крючкову позвонил наш венский резидент и попросил срочно вызвать его в Центр. В Москве он доложил, что у сотрудника контрразведки, прикрытого должностью замторгпреда, «случайно» обнаружена в личном портфеле огромная сумма денег, явно превышающая его заработка. При посещении квартиры сотрудника, находившегося в то время в отпуске в Союзе, выявлено наличие целого склада товаров, включая десятки пар обуви различных размеров, сотни кофточек, юбок, джемперов, ювелирные изделия. По мнению резидента, необходима тщательная проверка источников баснословных накоплений. Нельзя исключать, что за всем этим стоят западные спецслужбы.

По указанию Крючкова, Служба безопасности Управления «К» немедленно приступила к работе. Каково же было смятение проверяющих, когда они зафиксировали телефонные звонки руководству Второго главка, в том числе Григоренко, и щедрые подарки, привозимые им на квартиры объектом наблюдения.

Крючков знал о моих дружеских отношениях с Бояровым и весьма частых контактах с Григоренко. Не раз он, подозрительно осматривая меня, как бы невзначай спрашивал: «Ну, как там наши славные контрразведчики поживают, давно их не видели?» Я простодушно отвечал, что встречался на днях с Григоренко, его замами Ф. Щербаком, Бояровым, другими. Видя настойчивое стремление Крючкова знать больше об этих встречах, я периодически докладывал ему о переданных в контрразведку материалах, подчеркивая при этом, что считаю своим долгом и служебной обязанностью крепить и развивать связи с внутренними органами КГБ. Крючков одобрительно кивал головой, но чувствовалось его ревнивое отношение к моим вылазкам на Лубянку.

Очевидно, опасаясь утечки информации о слежке за поставщиком импортного дефицита, Крючков распорядился срочно направить меня в командировку в Швейцарию и Францию. Три недели спустя, когда я вернулся в Москву, проверка «венского миллионера» была уже завершена. Крючков встретил меня в своем кабинете с торжествующей улыбкой. «Как же так, — начал он, — ваши сотрудники, призванные блюсти порядок и дисциплину за границей, являть пример бескорыстия и честности, на деле ведут себя как барыги, одаривают начальство дорогими сувенирами, а потом еще занимаются демагогией, утверждая, что на Западе,

тем более через Торгпредство, можно по дешевке купить большое количество товаров. Да кто же на Западе вам это даст за так? Ведь надо же будет потом расплачиваться, и не деньгами. Ваш сотрудник, возможно, попал в вербовочную ситуацию. Теперь мы его вынуждены будем уволить из органов».

Тирадой Крючкова дело не ограничилось. Состоялось расширенное заседание парткома ПГУ с персональным делом «миллионера», сумевшего, по его объяснениям, путем экономии скопить десять тысяч долларов за три года. Он был исключен «за стяжательство» из партии. Далее дело переключалось в партком КГБ, куда на общий суд и порицание вызвали Григоренко, Боярова и других, приголубивших современного шейлока. Затем председатель Андропов подписал приказ о его увольнении, и опять прошли собрания с крикливыми осуждениями переродившихся чекистов, позорящих партию и КГБ. Не знали тогда чистоплюи из парткома, что главный вдохновитель всех их побед давно уже с ногами сидит в народном кармане, выкачивая из него вместе со своей челядью несметные богатства.

Итак, Крючков взял реванш, он публично отыгрался на своих недоброжелателях, продемонстрировал всему КГБ, что он не так прост и беззащитен, как может кому-то показаться. В одной из бесед со мной один на один он заметил как-то, что не имеет друзей в КГБ и не испытывает печали по этому поводу.

В середине семидесятых годов Крючков впервые выехал в США. Он побывал в Нью-Йорке и Вашингтоне, а затем, преодолев сопротивление Андропова, вылетел в Калифорнию. Вернулся он с новыми идеями, навеянными

встречами с американцами русского происхождения. Пригласив к себе, Крючков с ходу критически отозвался об организации работы по эмиграции. «Позвольте, — возразил я, — против антисоветской эмиграции, когда-то угрожавшей революции, органы безопасности, особенно разведка, действовали, и не безуспешно, с 1918 года. Сегодня в составе Управления «К» имеется отдел, продолжающий борьбу с центрами идеологической диверсии и враждебными националистическими формированиями за рубежом, там худо-бедно есть агентура, и многие процессы мы контролируем. Если мы начнем создавать самостоятельный отдел по эмиграции, то это будет воспринято как провал всех наших усилий в прошлом, признание эмиграции как политической силы, противостоящей советской власти». — «Вы меня не так поняли, — парировал Крючков. — Речь идет о прогрессивно настроенных бывших гражданах Российской империи и Советского Союза. Они обладают огромными возможностями в США, да и в других странах, многие готовы помочь нам. Я сам встречал таких людей в Сан-Франциско, в том числе молодежь». — «Но, — настаивал я, — в разведке работа строится по объектовому принципу. Прогрессивно настроенных людей любой национальности мы ищем в госдепартаменте, ЦРУ, Пентагоне, конгрессе, да где угодно, если есть перспектива их внедрения в интересующий разведку объект. Кстати, именно национальная принадлежность, как правило, является отправной точкой в поиске нужных нам лиц. Наличие родственников в Союзе или странах соцсодружества облегчает возможные подходы. Если мы создадим отдел по прогрессивной эмиграции, с таким же успехом можно создавать отдел по гомосексуалистам. Они тоже

располагают немалыми возможностями, но гораздо важнее находить уязвимые личности в учреждениях, которые мы изучаем годами, чем пятерней пытаться схватить нечто эфемерное и непредсказуемое». Мое упрямство вывело Крючкова из равновесия. «Идите, — сказал он, — и готовьте часть вашей агентуры к передаче в новый, Девятнадцатый отдел. Решение я уже принял».

По мере того как Крючков осваивался со своим положением, он становился все более нетерпимым к любым замечаниям, предложениям и инициативам, если они не отвечали его представлению о происходящем. Попал в немилость начальник Управления «С» А. Лазарев, осмелившийся покритиковать некоторые шаги руководства. Его направили в Берлин представителем КГБ при МГБ ГДР. Потом дошла очередь до М. Ломатина, возглавлявшего мощное Управление научно-технической разведки. Ему предложили теплое место в Военно-промышленной комиссии. Труднее было справиться с Б. Ивановым: на нем лежал основной груз оперативных дел и его оперативный опыт, возможно, не имел себе равных. Он обладал гибким умом, решительностью, поощрял самостоятельность, был доступен для всех, помогал любому, обращавшемуся к нему за помощью. Крючков наверняка втайне завидовал ему.

Как-то у Андропова шел доклад о работе резидентур КГБ в Канаде. Иванов выступил с основным сообщением, перечислял трудности, с которыми сталкиваются наши разведчики в Оттаве и Монреале. Я внимательно слушал и отдельными репликами дополнял выступление Иванова. «Так сколько же у нас агентов в Канаде?» — спросил Председатель. Иванов, быстро прикинув в уме

все линии работы, назвал цифру. Я вздрогнул. По моим представлениям, их было меньше полдюжины. Ошибка это или преднамеренная липа? Мое замешательство, видимо, не ускользнуло от взора Крючкова. Когда мы разошлись, он пригласил меня дать справку по какому-то незначительному поводу, а затем, как бы между прочим, вернулся к беседе у Андропова и поинтересовался численностью агентурного аппарата в Канаде. Я ответил, что точную цифру, учитывая специфическое положение Управления «С», назвать не могу, но, кажется, она минимум в три раза меньше упомянутой.

Вскоре Иванова, несмотря на его протесты, освободили от кураторства внешней контрразведки под предлогом «необходимости сосредоточения внимания на организации борьбы с главным противником», а через некоторое время направили в Афганистан в качестве специального представителя Андропова при правительстве Тараки — Амина.

Другой сильной личностью в ПГУ был Б. Соломатин, пользовавшийся заслуженной репутацией умелого организатора и вербовщика. Где бы он ни работал — в Индии, США или Италии, — везде под его руководством резидентуры добивались успеха. В Дели вербовали министров правительства, в США — Уокеров, в Италии — моряков 6-го флота США. Соломатина назначили заместителем начальника ПГУ в 1968 году и прочили на должность шефа разведки. Об этом однажды обмолвился Андропов. Неудивительно, что Крючков видел в Соломатине серьезного соперника. Получив через своих осведомителей информацию, что Соломатин не дурак выпить, Крючков тут же донес об этом Андропову. Карьера еще одного аса разведки закончилась. Он

завершил свою деятельность в резерве КГБ под прикрытием Госплана СССР.

Недолго пришлось поработать в разведке и бывшему резиденту КГБ в Финляндии В.Степанову. Карел по национальности, он отличался самостоятельностью и независимостью суждений, иногда граничивших с упрямством. Крючков терпел его лишь потому, что Степанов пользовался симпатиями Андропова. Но когда президент Кекконен обратился к советскому руководству с просьбой назначить Степанова послом, Крючков настоял на увольнении Степанова из КГБ, мотивируя это невозможностью совмещения двух должностей. Когда пришло время возвратиться в Москву, Степанову предложили пост заместителя председателя общества «Знание». Гордый карел предпочел уехать в Петрозаводск, где впоследствии занимал высокие должности в государственных и партийных органах республики.

Недолго удержались в седле и другие старые кадры, не сумевшие вовремя сориентироваться. Пользуясь поддержкой Андропова, Крючков все смелее вторгался в складывавшиеся годами отношения внутри аппарата разведки. Он существенно поднял роль освобожденных партийных секретарей Управлений, взял их под личную опеку. Когда у меня возник конфликт с секретарем парткома Н. Штыковым, отъявленным бездельником и краснобаем, Крючков предупредил, что, если бы такой конфликт произошел на предприятии, освободили бы от должности начальника, а не партсекретаря. «Хотите, я вам дам совет, как избавиться от вашего партайгеноссе, не марая при этом рук?» — спросил Крючков. Я

отказался от предложенной помощи, заявив, что открытая критика мне импонирует больше.

Расправляясь с американской, азиатской, латиноамериканской «хунтами» (а именно так называл Крючков формировавшиеся десятилетиями коллективы), он постепенно спланировал вокруг себя свою собственную группировку, главным отличием которой является умение вовремя услужить, поддержать и похвалить генеральную линию начальника разведки. А суть этой линии состояла в беспримерном расширении функций аппарата, резком увеличении его численности, создании новых подразделений, строительстве небоскребов на некогда скромной территории в Ясенево, роскошных дач для руководства разведки и вилл для приемов иностранных гостей, спецмагазинов для рядовых сотрудников. Особо отличился Крючков в обновлении легкового автопарка. Он убедил Андропова, что разведчики должны быть готовы управлять автомашиной любой марки, и под этим предлогом израсходовал сто тысяч долларов для покупки за рубежом «мерседесов», «вольво», «пежо» и даже «ягуара».

Никто из сотрудников ПГУ, разумеется, никогда не сел за руль этих машин, но зато каждое утро они могли наблюдать подъезжающие к специально отведенному для руководства подъезду роскошные иномарки со знакомыми начальственным лицам в качестве пассажиров.

Благоустройство и проблемы самообеспечения, естественно, отодвинули на задний план цели, ради которых была создана и существовала разведка. При Крючкове начался устойчивый спад агентурной деятельности, особенно в линейных отделах. С

вербовочной работы центр тяжести переместился на приобретение «доверительных» связей, что по сути своей предрекало депрофессионализацию службы и превращение ее в филиал МИД. Бывший резидент в Финляндии В. Владимиров при благосклонном соучастии Крюкова и Грушко в диссертации на эту тему «научно» обосновал необходимость свертывания вербовочных мероприятий в странах со сложной контрразведывательной обстановкой. Финляндию он тоже относил к числу «трудных» стран, хотя вся финская контрразведка СЧОПО насчитывала в то время около 100 офицеров.

Кто-то может подумать, что Крюков и его приспешники уже тогда предвидели радикальные перемены в международных отношениях и, отказываясь от традиционных методов, сопряженных со всякого рода осложнениями, прокладывали дорогу «новому мышлению». Недаром ведь сегодня раздаются голоса, что КГБ якобы стоит у истоков перестройки. Но тогда зачем ему был такой гигантский аппарат, такая многофункциональность, такие знакомые до боли речи о кознях империалистических спецслужб и антисоветских подрывных центров? Я думаю, что все обстоит гораздо проще. К руководству ПГУ, а затем КГБ пришли люди, никогда не отличавшиеся ни самостоятельностью суждений, ни целеустремленностью, ни жаждой реализовать свои способности. Типичное порождение застойных времен, они превыше всего ценили преданность личностям, но не идеалам; информированность, но не знания; умение приспособливаться, но не изменять обстоятельства; житейский и душевный комфорт, но не горение и самопожертвование. В отличие от других деятелей

брежневской эпохи Крючков обладал по меньшей мере еще двумя индивидуальными качествами, которые помогли ему впоследствии выплыть на волне перестроенной бури. Я не имею в виду очевидную связь в цепочке Андропов — Горбачев — Крючков и возможную зависимость Горбачева от Крюčkова, обусловленную не столько их единомыслием, сколько предполагаемым наличием в КГБ материалов о ставропольском периоде в жизни Президента СССР. Речь идет, во-первых, о психологии Крюčkова, сформировавшейся в течение длительного пребывания в аппарате ЦК КПСС в качестве помощника Андропова, то есть о психологии человека, познавшего искусство дворцовой интриги, но всегда знавшего свое место — исполнителя чужой воли. И, во-вторых, о несомненной его способности собирать вокруг себя себе подобных или уязвимых и зависимых, а значит, бесконечно благодарных за милость прощения и верных до гроба.

Лучшей иллюстрацией могут служить скандалы, разразившиеся в семидесятые годы в ПГУ и задевшие многих высокопоставленных лиц.

В спортивном комплексе немалым успехом пользовалась массажистка, которая, как потом выяснилось, не только растирала начальству спины. Дело было поставлено на конвейер, и в нем оказались замешаны два заместителя Крюčkова, один начальник управления и другие начальники меньшего калибра. За все шалости пострадала, конечно, массажистка, которую срочно уволили, но после угроз рассказать о своих клиентах устроили на работу в другом месте. Крючков провел воспитательные беседы с шалунами и удовлетворился заверениями, что черт их никогда больше не попутает. С тех пор один из провинившихся,

нередко за спиной разносивший Крючкова в пух и прах, превратился в покладистого исполнителя. Он доработал в аппарате разведки до 70 с лишним лет, покрывал нескольких резидентов, торговавших африканскими «камешками» на черном рынке в Москве, о чем тоже стало известно Крючкову, но последнее обстоятельство лишь окончательно превратило его в марионетку шефа.

Невзрачного начальника Управления активных мероприятий Крючков превратил в рыдающую бабу, когда пригласил «на ковер» в связи с поступившей из УКГБ по Московской области информацией о его тайных встречах с женой подозреваемого в шпионаже сотрудника КГБ. Как выяснилось, тихоня начальник два раза в неделю, задолго до окончания рабочего дня, уезжал якобы на Лубянку «для проработки перспективных планов», а дома появлялся в обычное время, как положено, сильно утомленный. Завербовав очередного шалуна на компромате, Крючков обеспечил себе его рабскую покорность.

На фоне мелких прегрешений уже немолодых разведчиков, отделавшихся испугом, более зловеще выглядит история становления и возвышения начальника Службы безопасности Управления «К» ПГУ С. Голубева. Его биография, о которой я узнал, к сожалению, с запозданием, должна была бы стать приманкой для любой контрразведки мира. Еще в шестидесятые годы, когда Голубев работал в консульском отделе советского посольства в США, он в пьяном виде на машине сшиб осветительный столб и попал в полицейский участок. Обычного советского гражданина откомандировали бы незамедлительно. Но разведчика Голубева простили. В семидесятых годах он учинил пьяный дебош в общественном месте в Каире. Опять полиция, протоколы.

Но жив курилка Голубев. Возвращается как ни в чем не бывало в Москву и становится начальником направления по вопросам внутренней безопасности Второй службы. В этом-то качестве я его и застал в Центре. Никогда не предполагал, что человека с подобной послужной анкетой можно назначить заниматься деликатной сферой обеспечения безопасности в разведке. Перед своим отъездом в Ленинград я неоднократно указывал Голубеву на низкую результативность в работе, увлечение сбором информации о несущественных проступках сотрудников разведки, подглядываниях в замочные скважины. Крючкову я предложил переместить Голубева на менее сложный участок, учитывая состояние его здоровья. Но к тому времени любая моя рекомендация имела противоположный эффект.

Голубев же продолжал жить по своим канонам. Однажды его нашли мертвецки пьяным в пять утра в собственном кабинете. Сейф был открыт. Стол заставлен грязными стаканами. Комендатура доложила о происшествии Крючкову. Случилось это незадолго до известного закона о борьбе с алкоголизмом, а то бы недобровать начальнику Службы безопасности. Крючков же вызвал Голубева «на ковер». Как утверждают, последний упал на колени и со слезами молил о пощаде, клялся в верности до конца дней своих. Простил его Крючков. Весть о грехопадении «грозы» ПГУ молниеносно разнеслась по КГБ. На отчетной партийной конференции ПГУ какой-то шутник внес его кандидатуру в списки партийных руководителей, что вызвало дружный смех всего зала. Для Крюčkова же то был дар божий. Теперь он знал, что Голубев будет служить ему, и только ему.

Как раз, когда тучи еще не рассеялись над головой незадачливого контрразведчика, бежал на Запад его бывший заместитель В. Юрченко. И тут бы, казалось, конец нашему герою. Но Юрченко, разочаровавшись в оказанном ему ЦРУ приеме, неожиданно вернулся домой с версией о похищении. Голубев знал, что Юрченко — предатель, и, не стесняясь, говорил об этом в своем окружении, но он поддержал публично вздорную выдумку Юрченко, потому что она устраивала Крючкова. К тому времени на Запад ежегодно бежали сотрудники разведки, ранее это случалось раз в восемь-десять лет. Крючков чувствовал: скоро придется нести ответственность за происходящее. И вдруг Юрченко вернулся! Это было спасение. На глазах изумленного, морально убитого ПГУ Крючков вручает ему в торжественной обстановке «Почетного чекиста».

Но удачи, как и беды, приходят скопом. На оперативном горизонте замаячил доброволец — изгнанный из ЦРУ за баловство с наркотиками Ли Говард. Он передает ценные сведения об организации работы американской разведки на территории СССР. Один за другим следуют аресты советских граждан, завербованных в разное время ЦРУ, среди них значительное число сотрудников ПГУ.

Не дожидаясь окончания следствия и частных определений Военного трибунала в адрес КГБ, Крючков спешит упредить возможную негативную реакцию смелым представлением в ЦК списка лиц, заслуживающих правительственных наград. В послевоенной истории такой массовой раздачи орденов Ленина сотрудникам разведки не было. Среди

награжденных и С. Голубев. Теперь он становится генералом и заместителем начальника Управления «К».

Поучительна история появления на свет партийного лидера КГБ Н. Назарова.

Жил-был скромный, незаметный Николай Иванович, инженер по профессии. Немного потрудился в разведке и, как все никому не мешающие люди, ушел на партийную работу. В админотделе ЦК КПСС прошел школу инструктора и через несколько лет вернулся в ПГУ в качестве начальника Управления кадров и секретаря парткома. При нем произошла страшная история с Ветровым, убийцей и французским шпионом, при нем посадили в тюрьму или расстреляли еще несколько офицеров разведки за шпионаж в пользу США, при нем изменили Родине, сбежав за границу, полтора десятка сотрудников ПГУ. Какую ответственность понес за это духовный наставник и главный кадровик советской разведки? Он вырос до уровня секретаря парткома всего КГБ и мог в любое время, скромно постучавшись в дверь, прийти пить чай к своему благодетелю Председателю Крючкову.

А разве не интересен взлет бывшего начальника ПГУ и зампреда КГБ Л. Шебаршина? В разведку он пришел из осведомителей. Это не означает, конечно, что ему обязательно нужно было стучать на своих коллег из МИД, где он работал до КГБ. Он мог просто снабжать органы госбезопасности политической и иной информацией, проходящей через его руки, выполнять разовые задания. Во всяком случае, поступив на работу в органы, он неплохо проявил себя как резидент в Индии, хотя я никогда не слышал, чтобы кто-нибудь плохо себя показал в Индии. Сложнее было в Иране. Хомейни и его

стражи революции бесчинствовали повсеместно. В любой момент они могли напасть на советское посольство и ворваться в резидентуру. Шебаршин приказал подготовить все документы к возможно быстрому уничтожению. Один из сотрудников его резидентуры, майор В. Кузичкин, по согласованию с Шебаршиным спрятал свои записи о нелегалах и способах связи с ними в укромном месте, не доступном никому, кроме самого Шебаршина. Неожиданно из Москвы пришло сообщение о предстоящем приезде в Тегеран комиссии, проверяющей состояние секретного делопроизводства. Кузичкин решил срочно изъять спрятанные записи и, к своему ужасу, их не обнаружил. О месте хранения знал только резидент. Что делать? Кузичкин решил бежать, ибо знал, что его ждет дома Военный трибунал. Что стало с резидентом? Он вместе с руководством Управления «С» выдвинул удобную версию о похищении Кузичкина, а сам благополучно вернулся в Москву и получил хорошее назначение, несмотря на то что в разгроме иранской подпольной компартии Тудэ и гибели сотен ее членов немалую роль сыграли и предательство Кузичкина, и головотяпство Шебаршина. Крючков Шебаршина простил, вскоре назначил своим заместителем в ПГУ.

Аналогичная ситуация прослеживается и в феерической карьере бывшего дипломата и давнего фаворита Крюčkова В. Грушко. В разведку он пришел немолодым человеком, в Норвегии завалил ценного источника КГБ, пригрел английского шпиона Гордиевского, сделав его начальником направления и правой рукой по снабжению руководства дорогостоящими сувенирами. О других профессиональных достоинствах Грушко в ПГУ не

слышали, но и сделанного оказалось достаточно, чтобы стать первым заместителем Крючкова, а затем, в возрасте 60 лет, возглавить контрразведку страны, о славных делах которой он читал в романах Юлиана Семенова. Разумеется, Грушко одновременно заместитель Председателя Крючкова, а затем уже и первый заместитель.

Итак, везде присутствует одна схема — порочный круг, к которому очень подходят слова публициста Ивана Васильева: «...в выдвиненцах застойного времени совесть уже трудно обнаружить было, на все непорядочное они шли с легкой душой... Они прощали друг другу согрешения и теряли принципиальность. Прощенный грех — это средство давления на совесть. Попустил начальник подчиненному — попустит и подчиненный начальнику, возникает личная, скрытая от глаз взаимозависимость, связывает грешников крепкой цепочкой поруки. Попустительство всегда безнравственно, но кто его вкусил, тот добровольно уже не откажется. Да ведь и страшно...»

В партитуре Крючкова, как видно из сказанного, ключевую роль играли кадровые вопросы. Оперативные же были отданы на откуп первым заместителям ПГУ. Иногда и сам шеф проявлял интерес к текущим делам, если видел в них выигрышные для себя лично моменты. Первая встреча с живым агентом в Париже придала ему определенную уверенность при решении возникавших проблем. Однако он еще не чурался и советов со стороны.

Однажды из-за трагического инцидента на Дальнем Востоке возник острый спор внутри руководства КГБ. Оперативный работник местного управления

госбезопасности, исполняя роль помощника капитана по пассажирской части на советском теплоходе, зафрахтованном японскими туристами, изнасиловал у себя в каюте, а затем зверски убил и выбросил в иллюминатор молодую японку. Через некоторое время ее тело было подобрано японскими рыбаками. Преступника нашли довольно быстро, но японской стороне о нем не сообщили. Чья-то светлая голова на высоком уровне предложила честно признать, что убийца — не только советский гражданин, но и чекист. Вот тут-то и разгорелись страсти. В контрразведке считали, что ничего признавать не следует, что, обнародовав факт принадлежности преступника к КГБ, мы расшифруем используемые на флоте прикрытия и к тому же опозорим органы. Втянули в это дело и ПГУ, поскольку затрагивались отношения с Японией. Крючков поинтересовался моим мнением на этот счет. Я поддержал позицию честного признания, заявив, что престиж КГБ только повысится, если все увидят, что мы не прячем негодяев от справедливого возмездия и всенародного осуждения. Несмотря на сопротивление внутреннего аппарата КГБ, дело все же получило огласку, по-видимому вмешался сам Андропов.

Крючков продолжал брать меня с собой в заграничные поездки. До конца семидесятых годов я побывал в его команде в Чехословакии, на Кубе, в Венгрии, Афганистане и снова в Польше. Два забавных и сходных по характеру эпизода имели место на Кубе и в Венгрии.

Гостеприимные кубинцы, несмотря на зимнее время, решили вывезти нас на курорт Варадеро. На пляже было пустынно, температура воздуха плюс двадцать пять, воды — около этого. Мы тут же окунулись в набежавшую волну, пригласили отведать февральской атлантики и

нашу кубинскую переводчицу. Стоило нам отплыть от берега на двадцать-тридцать метров, как с берега раздался зычный окрик Крючкова — «назад». Мы обернулись и увидели, как он с перекошенным лицом отчаянно машет руками, требуя нашего возвращения на берег. Мы еще немного подумались и, решив не гневить бога, поплыли обратно. В нескольких метрах от берега мощная волна накрыла нас с головой, но когда мы вынырнули, то не обнаружили переводчицы. Через несколько секунд я увидел ее голову, показавшуюся на поверхности и снова исчезнувшую в пучине. С трудом я нашел ее тело под водой. На берегу в течение нескольких минут она лежала бездыханно, пока мы суетились вокруг, приводя ее в чувство. Через полчаса она уже была в полном здравии. Но зато шеф исходил гневной яростью. Он запретил нам впредь до конца поездки лезть в океан.

На Балатоне, где нас потчевал на своей даче собственноручно приготовленным гуляшом министр внутренних дел Венгрии А. Бенкеи, мы с начальником Управления информации Н. Леоновым, преемником умершего А. Смирнова, изъявили желание искупаться в озере. Стоял роскошный сентябрь, после изнурительных, в жару, заседаний прохладная озерная голубизна манила к себе с необыкновенной силой. Мы, откланявшись, уже готовы были исполнить свое намерение, как из-за стола вскочил Крючков и потребовал остановиться. Наши робкие возражения он воспринял как непослушание и тут же скомандовал посадить обоих в машину и направить в Будапешт. Под сочувственными взорами венгерских и советских гостей нас проводили до ворот виллы и оттуда увезли в столицу. Вечер был испорчен, и мы, не стесняясь водителя, кляли Крючкова на чем свет стоит.

Сохранилась в памяти прогулка по Дунаю в окрестностях Братиславы. На пограничном катере мы пронеслись с ветерком по реке, а потом высадились и прошли по тропинке вдоль проволочных заграждений, отделявших Чехословакию от Австрии. Лето стояло в разгаре. На противоположной стороне реки, на полуострове, всего в ста-полтора метра от пограничных сооружений, расположились на траве отдыхающие австрийские семьи. Резвились дети, взрослые распаковывали коробки с едой и напитками, разводили костер, кто-то запускал воздушного змея. Перед нами развернулась идиллическая картина покоя и благополучия.

На нашей стороне — сторожевые вышки, суровые лица чехословацких пограничников с карабинами в руках и ни души, кроме почетных советских гостей. Молча стояли мы и смотрели издали на эту картину нормальной достойной жизни, и, наверное, у каждого из нас тогда возникла одна и та же мысль: на свободе — они, а мы — в лагере, в концлагере. Крючков, тоже долго наблюдавший за другим берегом, задумчиво произнес: «Мм-да».

В Праге на прощальном ужине, устроенном начальником разведки М. Гладиком в знаменитой швейковской пивной «У Калиха», наступила разрядка после многочисленных протокольных встреч и деловых бесед. Мы самозабвенно поглощали бочковое пльзеньское пиво, заедая его ребрышками по-путимски. Довольный Гладик созерцал, как его советские коллеги аппетитно уплетали приносимые блюда. Тогда в нашем лагере еще было чем закусить.

Наконец, насытившись, мы откинулись в креслах и начали светский разговор. Гладик, поблескивая в полумраке стеклами очков и видя хорошее настроение гостей, полушутливо спросил Крючкова, как бы он коротко охарактеризовал сопровождающих его лиц. Крючков, почти не задумываясь, ответил: «Я их хвалить не буду. Скажу только, как они реагируют на критику. Леонов обещает тут же исправиться, Иванов молчит и дуется, Калугин огрызается». — «И кто же вас больше устраивает?» — продолжал Гладик. «Каждый по-своему хорош», — бросил лаконично Крючков и отхлебнул демонстративно пива, как бы давая понять, что продолжать разговор на эту тему не желает.

Но для меня эта тема только начинала получать развитие. Крючков все более подозрительно относился к моим встречам с руководством контрразведки. У нас же в то время полным ходом шли оперативные игры с ЦРУ и требовалась постоянная корректировка проводимых операций. На каком-то этапе Крючков и сам поощрял мою самостоятельность в общении с внешним миром. Он направил меня на заседание коллегии Министерства морского флота, где я выступил с сообщением от имени КГБ. По его поручению я сделал часовой доклад на всесоюзном совещании в ЦК КПСС, организованном отделом заграничных кадров и выездной комиссией. С аналогичным сообщением позже я выступил на ежегодной встрече послов и секретарей парторганизаций МИД СССР.

Что касается контрразведки, то я не скрывал своих симпатий ни к Григоренко и Боярову, ни к Ф. Бобкову и А. Бесчастнову, возглавлявшим в то время соответственно Пятое и Седьмое Управления КГБ. Не сложились у меня отношения лишь с начальником

Третьего Управления Н. Душиным, пришьельцем из админотдела ЦК, пренебрежительно и даже с издевкой оценивавшего информацию ПГУ о наличии в ГРУ Генштаба крупного американского шпиона. Впрочем, за это его недолюбливал и Крючков.

Примечательный случай произошел однажды при моем посещении зампреда В. Пирожкова, курировавшего тогда кадры КГБ. В доверительной беседе он пожаловался на отсутствие достаточных сведений о положении личного состава ПГУ и без обиняков предложил мне сигнализировать ему напрямую о всех заслуживающих внимания негативных происшествиях в разведке. Я уклонился от роли осведомителя, сказав, что такие вопросы следует согласовывать с Крючковым. Пирожков остался недоволен. Но некоторое время спустя Управление кадров КГБ получило заявление от сотрудника ПГУ, находившегося на курсах резидентов, который обвинял учившихся с ним коллег в морально-бытовом разложении и политической неблагонадежности.

В отсутствие Андропова, не уведомив о письме Крюčkова, Пирожков назначил комиссию для проверки заявления. Началось форменное расследование состояния работы с кадрами в ПГУ. Этого Крючков стерпеть не мог. По его указанию собрали курс и информировали его о клеветническом заявлении, поступившем в Управление кадров. Будущие резиденты тут же осудили клеветника и рекомендовали проверить состояние его психики. Прошло немного времени, и Пирожкова переместили на другую работу в КГБ. Андропов, отвечавший за состояние дел в разведке, в

том числе за кадры, не мог позволить кому бы то ни было вмешиваться в сферу его ответственности.

Между тем в разговорах со мной у Крючкова зазвучали жесткие нотки. Несколько раз он в завуалированной форме намекал на некие мои связи, которые мне вредят. Я спрашивал прямо, о ком идет речь, но почему-то все сводилось к сакраментальной фразе: «Ну, а как там наши контрразведчики поживают?» Как-то, вернувшись с совещания у Андропова, он доверительно сообщил, что при обсуждении кандидатуры представителя КГБ в Эфиопии Григоренко назвал меня, как самую подходящую кандидатуру, но он, Крючков, отстоял меня, да и Андропов посоветовал меня не трогать.

Сообщение Крючкова меня несколько встревожило. До этого Григоренко в беседе один на один предложил мне стать своим замом. Я поблагодарил его за честь и доверие, но сказал, что предпочитаю разведку, хотя, если будет указание Андропова, я, естественно, с удовольствием поработаю с Григоренко.

Одна мелкая стычка с М. Котовым, начальником Управления «Р» (бывшим резидентом в Финляндии и представителем КГБ в Чехословакии в 1968 г.), ведавшего долгосрочным планированием и анализом, добавила масла в огонь. В то время я усердно корпел над коллективной монографией о внешней контрразведке, которая несколько лет спустя, уже в 80-х годах, на конкурсе была признана лучшей научной работой в разведке. Но тогда Котов высказал на ученом совете ряд сомнений в изложенных мной в монографии тезисах. При этом он добавил, что я оперировал данными, явно полученными от подставы спецслужб противника. При

всем уважении к возрасту Котова, а он был старше меня лет на 15, я не сдержался и бросил реплику, суть которой сводилась к тому, что с финляндским и чехословацким опытом Котову не стоило бы брать на себя ответственность давать оценки по вопросам, в которых он разбирается слабо. Буквально через час меня вызвал Крючков и отчитал за допущенную грубость по отношению к ветерану разведки.

Но текущие события отвлекли от мелочей жизни.

Летом 1978 года личным самолетом Андропова Крючков вылетел в Кабул для заключения с афганским МВД соглашения о сотрудничестве. В нашей группе было всего три работника, включая помощника Крючкова.

Мне эта поездка представлялась интересной, ибо я никогда не был в Афганистане, к апрельской революции относился весьма сочувственно, хотя знал, что она пришлась не по вкусу Брежневу из-за скоропалительного и несогласованного решения Тараки захватить власть в стране.

Остановились мы на территории посольства. А с утра начались встречи с афганским руководством. Организатор успешного мятежа не произвел на меня впечатления. Был он по-стариковски суетлив, много говорил общих фраз. Гораздо больше понравились молодые, энергичные офицеры: начальник госбезопасности А. Сарвари, начальник жандармерии Д.Тарун и особенно зампреьера и министр иностранных дел Х. Амин. Все они говорили по-русски, а Тарун по всякому поводу и без повода самозабвенно цитировал Маркса и Ленина. Амин показался мне наиболее грамотным и интеллигентным человеком. Когда же выяснилось, что мы вместе с ним учились почти в одно

время в Колумбийском университете, между нами сразу установилось взаимопонимание. Мы перешли на английский, стали вспоминать знакомые места и достопримечательности Нью-Йорка. Глаза Амина блестели от радости, как будто он встретил родственную душу. Мы обнялись на прощание, а вечером я узнал от своих коллег из резидентуры, что Амин подозревается в связи с ЦРУ, что его якобы завербовали в США во время учебы на почве гомосексуальных наклонностей.

В течение пяти дней мы обсуждали различные аспекты сотрудничества с афганскими официальными лицами, мне пришлось выступить перед офицерами госбезопасности с докладом об организации работы против ЦРУ США.

Тогда в Кабуле еще царило спокойствие. Восточный базар, хотя не столь красочный, как в Рабате или Танжере, поражал изобилием всякой всячины, начиная от антиквариата и кончая диковинными фруктами. Для нас устроили пикник на территории бывшей королевской виллы, но поездку в Джелалабад отменили, объяснив, что на дорогах иногда постреливают.

На пути в Москву мы сделали посадку в Ташкенте. Там с аэродрома нас сразу же увезли по дворец приемов, где тогдашний узбекский вождь Рашидов устроил для нас обед. За столом Крючков поделился впечатлениями об обстановке в Афганистане. Рашидов в свою очередь долго говорил об успехах Узбекистана, развивал планы превращения его в маяк для всех азиатских народов.

Не успели мы сесть в самолет для продолжения полета, как Крючков, достав из портфеля бутылку шотландского виски, предложил выпить. Я с удивлением посмотрел на него. Он никогда не отличался

инициативностью в этих делах, пил всегда умеренно и осторожно. «Вы же любите виски, наливайте», — приказал Крючков, заметив мое недоумение. «Я совсем не против, но на вас это не похоже», — отшутился я, наливая по полстакана «Джонни Уокера» двенадцатилетней выдержки. «За успешное завершение», — коротко сказал Крючков и залпом проглотил свою порцию. Я не успел открыть рта, чтобы похвалить чудесный напиток, как Крючков предложил повторить. Видя мое изумление, он разъяснил: «Афганская пища может вызвать расстройство желудка и отравление. Надо профилактироваться». На следующее утро Крючков не вышел на работу. Виски не помогло. Несколько дней он приходил в себя.

Потом Крючкову еще не раз придется иметь дело с Афганистаном. Летом 1979 года, когда в Персидском заливе накалились до предела политические и военные страсти, в кабинете начальника ПГУ состоялось совещание с руководителями ГРУ Генштаба, на котором была сделана попытка выработать совместные рекомендации в связи с надвигающимися событиями. Первым взял слово П. Ивашутин. Он обстоятельно изложил взгляды ГРУ и, очевидно, Генштаба на обсуждаемые вопросы и однозначно высказался за ввод советских войск в Афганистан. Крючков дал происходящему более спокойную оценку, подчеркнув при этом, что Андропов выступает против военного решения.

Как известно, несколько месяцев спустя позиция Андропова изменилась. Более того, КГБ взял на себя тяжелейшую ношу, связанную с постоянным и прямым вмешательством в афганские внутренние дела, включая физическое уничтожение Амина и насаждение своих креатур — Кармаля и Наджибуллы на высшие посты в

государстве. Роль Крючкова во всем, что происходило в Афганистане и вокруг него, исключительно велика. Еще на первом этапе войны он выступил с инициативой объединить информационные потоки, исходившие из Кабула в Москву. Существовавшие до той поры параллельно линии информации, отражавшие различие позиций посольства, советника ЦК КПСС, КГБ и ГРУ, утратили свою самостоятельность. Дабы не раздражать и не огорчать Брежнева, ему на стол теперь ежедневно давали согласованные в Кабуле сводки, искажавшие фактическое положение дел, представлявшие все в розовых, оптимистических тонах. Основанная на ложной информации оценка перспектив афганской войны привела к ее затягиванию на долгие годы, к бессмысленным жертвам и страданиям. Советская разведка во главе с Крючковым, как и весь КГБ, несут огромную долю вины за афганскую трагедию.

В том же 1978 году Крючков пригласил меня на очередную встречу с Андроповым. В конце встречи, после обсуждения текущих вопросов, Крючков сообщил, что получил от министра внутренних дел Болгарии Стоянова просьбу помочь в реализации указания Т. Живкова о физическом устранении Георгия Маркова, в прошлом близко общавшегося с семьей Живкова, а потом эмигрировавшего на Запад и работавшего на Би-би-си. Когда Крючков доложил суть дела болгарского лидера, Андропов, терпеливо слушавший сообщение своего подчиненного, неожиданно резко встал и зашагал по кабинету. Несколько секунд длилось молчание. Затем так же резко Андропов сказал: «Я против политических убийств. Прошли те времена, когда это можно было делать безнаказанно. Мы не можем возвращаться к прошлому. Я против». Крючков заерзал на стуле: «Юрий

Владимирович, но товарищ Живков просит. Войдите в положение министра Стоянова. У нас с ним очень теплые отношения. Если мы не пойдём ему навстречу, Живков расценит это либо как признак нашего недоверия к МВД, либо как сигнал, свидетельствующий об охлаждении советского руководства к Живкову. Поймите, это личная просьба Живкова».

Председатель молча продолжал широкими шагами ходить по кабинету. Затем, остановившись, сказал: «Хорошо, но никакого нашего участия. Дайте болгарам все, что нужно, научите их пользоваться, направьте в Софию кого-нибудь для инструктажа. Но не более. На большее я не согласен». Крючков удовлетворенно кивнул головой. Я лишь слушал и наблюдал происходящее, не вымолвив ни слова.

Через неделю-две в Софию вылетел С. Голубев и один из технических специалистов для обучения болгар практическому использованию специальных ядов, не оставляющих следов после убийства. По возвращении Голубев рассказывал, как вместе с будущими исполнителями они опробовали яд на лошади. Миллиграммовая доза свалила животное без труда.

Потом болгары решили испытать смертельное оружие на одном из приговоренных к смерти заключенных. Эксперимент провели, симулируя реальную обстановку. Сотрудник МВД подошел на расстояние около метра к избранной жертве и произвел бесшумный выстрел из вмонтированного в зонтик механизма. Заключенный вздрогнул, как от укуса пчелы, и страшно закричал — не столько от боли, сколько от сознания, что приговор приводят в исполнение.

Прошли сутки, двое, потом еще несколько дней — «отстрелянный» заключенный, не ощущая никакого расстройства здоровья, успокоился и вел обычный образ жизни. Болгары с тревогой обратились к инструкторам с просьбой объяснить причины отсутствия результатов. Голубев был вынужден вылететь домой для дополнительных консультаций.

В Москве предложили альтернативный способ устранения Маркова, испытанный в прошлом: смазать ручку двери автомобиля специальным составом, вызывающим инфаркт у прикоснувшегося к ручке через день-два. Однако у кого-то из «гуманистов» лаборатории № 12 Оперативно-технического управления КГБ возникло опасение, что за ручку может взяться любой гражданин, в том числе друзья или близкие Маркова. Решили вернуться к первоначальному варианту. Голубев отправился в Софию для продолжения инструктажа.

Вскоре болгары начали охоту за Марковым. Сначала они намеревались совершить убийство на одном из пляжей в Италии, где проводил отпуск Марков. Однако разработанный план дал осечку, и пришлось операцию завершить осенью в Лондоне. Исход ее известен.

Ободренные успехом задуманного предприятия, наши братья выбрали новую мишень — бывшего сотрудника парижской резидентуры своего МВД В. Костова, оставшегося во Франции и выдавшего все, что он знал о деятельности болгарской разведки в этой стране. На сей раз они сами планировали операцию и пользовались уже приобретенным опытом и средствами. Предпринятая в парижском метро попытка убийства Костова оказалась, однако, безуспешной из-за некачественного наполнения ядом крохотной пули и

оперативного вмешательства врачей. Костова спасли, а история покушения на него стала международной сенсацией. Она же позволила другими глазами взглянуть на странную смерть Маркова и сделать вывод о его преднамеренном убийстве.

С созданием отдела по борьбе с экономическими и финансовыми диверсиями мне пришлось изредка бывать в Кремле в аппарате первого заместителя Предсовмина Н. А. Тихонова. Внешняя контрразведка, взявшая под контроль некоторые формы валютных операций советских учреждений за рубежом, неоднократно докладывала о злоупотреблениях в торгпредствах, Морфлоте и Аэрофлоте, банковских и коммерческих предприятиях со смешанным капиталом. Поток информации особенно усилился по мере приближения Олимпийских игр в Москве. Стало известно, в частности, что некоторые европейские банки скупают в большом количестве по черному курсу советские рубли, имея в виду обеспечить ими участников Олимпиады и туристов. Таким образом, речь шла о перспективе недополучения организаторами Игр значительного количества валюты. По поручению Андропова я доложил об этом лично Тихонову, с которым встречался ранее перед его поездкой в Канаду. Тихонов внимательно прочитал сообщение и без всяких комментариев спросил: «Что же нам делать?» Заданный просто и бесхитростно вопрос меня слегка озадачил. Я думал, что Тихонов предложит какой-то план действий, в котором КГБ будет отведена соответствующая роль. Поскольку же такого предложения не поступило, я бодро ответил будущему премьеру: «Мы подумаем и представим вам план контрмероприятий». — «Даю вам срок две недели», — сказал Тихонов, и мы распрощались.

В тот же день Крючков позвонил по прямому проводу «Вы понравились Тихонову. Радуйтесь». Но в голосе Крюčkова радости я не обнаружил.

Через два дня в кабинете министра финансов В. Гарбузова собрались полномочные представители Госбанка, МИД, МВТ, КГБ и других заинтересованных ведомств. Через две недели план мероприятий, оказавшийся весьма солидным, был доложен Тихонову и затем одобрен Совмином СССР. Его реализация началась незадолго до моего отъезда в Ленинград.

В 1979 году я последний раз побывал в Польше в составе делегации, возглавлявшейся Крючковым. Мы разместились на той же «Магдаленке» под Варшавой, посетили Гданьск и судовой верфь им. Ленина. Когда на черных лимузинах мы подкатили к воротам верфи, встречавший нас директор предупредил: «На территорию в автомашинах лучше не въезжайте. Рабочие у нас неважно настроены к начальству».

А перед отъездом снова был банкет, и каждому за столом дали возможность выступить. Находясь под впечатлением тревожных слов директора судовой верфи, я в своем тосте пожелал польским друзьям преодолеть трудности и еще сильнее крепить узы дружбы с Советским Союзом. Банальный по содержанию тост, как ни странно, вызвал отрицательную реакцию замминистра внутренних дел М. Милевского. В своем ответном слове он напомнил присутствующим, что польские органы безопасности успешно справлялись с гораздо большими трудностями, чем сейчас, и напрасно у некоторых появляются опасения за судьбу Польши. «Мы знаем всех диссидентов по именам, — хвастливо заявил Милевский, — и, если надо, одним махом сметем никого

не представляющую горстку крикунов. Советские товарищи могут в этом не сомневаться».

До выхода «Солидарности» на польскую и мировую арену оставалось меньше года.

К лету этого же года получило некоторое развитие дело «Кука». После обращения Дональда Маклина к Крючкову с просьбой о смягчении приговора «Куку», я подготовил докладную на имя Андропова с предложением досрочно освободить «Кука» из заключения и вернуть отнятые у его жены вещи — магнитофон, проигрыватель, пластинки и магнитные пленки с музыкальными записями, три тысячи рублей и другие предметы личного обихода, не занесенные в протокол при конфискации имущества.

Андропов дал устное согласие на внесенные предложения, но рекомендовал провести предварительную встречу с «Куком». Летом «Кука» привезли из Сибири в Лефортовскую тюрьму.

Перед встречей с ним Крючков, обеспокоенный ходом дела, поставил передо мной одну задачу: добиться признания от «Кука», что он был завербован ЦРУ. Я не стал спорить и отправился в Лефортово с миниатюрным магнитофоном в кармане.

Когда «Кука» ввели в комнату для беседы, где я находился один, он растерянно огляделся по сторонам, потом увидел меня у окна и попросил разрешения сесть. Он не очень изменился с тех пор, как я его встретил почти двадцать лет назад, только ссутулился и еще больше поседел, не было блеска в глазах, и речь показалась мне покорной и безразличной. Меня он не узнал, но, когда я назвал его по имени, он вздрогнул и, как будто очнувшись от летаргии, воскликнул: «Олег, это

ты?» Он бросился ко мне, но я остановил его жестом. «Как же ты мог связаться с уголовниками, — начал я, — ведь ты всегда защищал высокие идеалы, мечтал о светлом будущем, проклинал общество, в котором все продается и покупается, а сам принес его худшие обычаи в нашу жизнь». Он прервал меня словами: «Не надо, я все понимаю. Я действительно нарушил закон, но мне нужны были деньги. Жена больна после аварии, мы хотели купить дачу, недорогую, а денег не хватало. Но меня посадили не за это. Валютные нарушения — это лишь предлог. Меня обвиняли в шпионаже, они хотели и тебя притянуть, все спрашивали, как мы встретились, кто был инициатором». — «Так может быть, Анатолий, тебе стоит наконец признаться, что ты был шпионом, — вставил я, следуя предписанной Крючковым линии. — Все равно тебе сидеть восемь лет, признавайся лучше сейчас, и мы что-нибудь придумаем для облегчения положения».

Реакция «Кука» была мгновенной. Глаза его бешено сверкнули, и он разразился ругательствами: «Вы идиоты, все ваше заведение, КГБ, — это сборище дураков и идиотов. Вы хотите, чтобы я повесился и доказал вам, что невиновен, никогда ни на кого не работал, кроме советской разведки». Неожиданно он осекся, а потом судорожно зарыдал. Я успокаивал его как мог, но чувствовал себя гадко — именно одним из тех идиотов.

Я доложил Крючкову о встрече. Он приказал срочно сделать расшифровку магнитофонной записи для Андропова. Но с Лубянки повеяло холодом. Крючков вызвал меня снова и стал расспрашивать в деталях, когда и сколько раз мы виделись с «Куком» в Америке. Потом приказал еще раз съездить в Лефортово и попытаться добиться от «Кука» признания. Тут уже я не

вытерпел. Я возбужденно доказывал Крючкову, что это бессмысленно, что «Кука» не шпион, что я не хочу быть посмешищем. «Это в ваших интересах, — ответил Крючков, — поезжайте».

Вторая встреча в Лефортово длилась менее получаса с тем же результатом. Для меня все было ясно. Я поднял голос в защиту жертвы системы, но система не прощает заступников, осмелившихся усомниться в ее праведности.

6 сентября Крючков пригласил меня поехать на Лубянку. Там, в большом кабинете, я увидел созвездие начальственных светил: Григоренко, зампред по кадрам В. Лежепеков, начальник Следственного управления А. Волков, начальник Московского УКГБ В. Алидин и другие. Вел совещание Лежепеков, и, как я понял, оно было посвящено моей персоне. «Что вас побудило встать на защиту «Кука»?» — спросил Лежепеков. «Гуманные мотивы, — ответил я. — На мне лежит ответственность за него как человека. Благодаря моим усилиям он бросил все, что имел в США, — карьеру, материальное благополучие, покой. Его арест — фабрикация Алидина. Он не шпион, хотя закон нарушил, но его на это спровоцировал Алидин». Главный московский чекист не выдержал, одернув меня громовым голосом: «Ты не знаешь дела. Он антисоветчик, он готов предать Родину, а ты его защищаешь». Перепалка могла бы длиться бесконечно, но прервал Волков, обратившись с вопросом к Григоренко. Последний промямлил что-то невнятное, но не в пользу Алидина. Крючков молчал, другие тоже.

Лежепеков закончил совещание словами: «Вам не следует больше заниматься этим делом, Олег Данилович. А «Кука» мы, возможно, отпустим пораньше.

Поздравляем вас с днем рождения, желаем здоровья и дальнейших успехов. И хорошо отдохнуть. У вас, кажется, с завтрашнего дня отпуск?»

Я откланялся и пошел к выходу. Через день я нырнул в обожаемую морскую волну. Через сорок пять суток вернулся в Москву на работу. Потом прошли ноябрьские праздники, а 11 ноября Крючков вновь пригласил меня пойти вместе к Лежепекову. Очередной поход к кадровому начальству не предвещал ничего хорошего. Сердце учащенно билось, когда я вошел в кабинет. «Мы предлагаем вам должность первого заместителя начальника Ленинградского управления КГБ, — сухо сказал Лежепеков. — Вы ленинградец, знаете контрразведку, коллектив там большой, и проблем много, так что скучно вам не будет». Я посмотрел на Крючкова. Он сидел, склонив голову, никак не реагируя. «Но почему территориальные органы? всю жизнь я связан с разведкой, хотя она мне в последнее время стала порядком надоедать», — сказал я, взглянув на Крючкова. При этих словах Крючков встрепенулся, заметив: «Не плюйте в колодец, пригодится воды напиться».

«Мы вам не закрываем возможность вновь вернуться в разведку, — продолжал Лежепеков, — но невредно и набраться опыта внутри страны. За вами сохраняется московская квартира, ну а в Ленинграде у вас будет отличное положение».

Делать было нечего — я дал согласие.

Всю ночь я не спал, не давала покоя мысль: что произошло, как понять это неожиданное перемещение? Моя служба продолжала набирать силу, появились новые источники; орехи были, но на фоне других мы

выглядели весьма неплохо. Трения с Крючковым усилились, отношения все же сохранились. Правда, на одной из встреч до отпуска он опять обронил фразу о моих связях, добавив, что на чьем-то юбилее я неудачно выступил, и об этом донесли Председателю. Кроме того, Председатель выразил недовольство по поводу одного из моих докладов зампредсовмина Николаю Тихонову, в котором в неблагоприятном свете предстали руководители Аэрофлота, увлекшиеся личным благоустройством за государственный счет. Кто-то доложил Андропову и о моем выступлении в Высшей школе КГБ, где я упомянул бывшего посла А. Шевченко как протеже Громыко, несущего ответственность за неприятие своевременных мер по отзыву Шевченко из США.

2 января 1980 года, накануне отъезда в Ленинград, Андропов принял меня в своем кабинете. «Ну что, отмучился?» — приветствовал он меня, встав из-за стола и протянув руку для пожатия. Не уловив смысла его слов, я ответил невпопад, что, напротив, работа в ПГУ, при всей ее напряженности, приносила мне удовлетворение. «Да я не о том, — поморщился Председатель. — Я имею в виду «Кука». Ну что ты взялся защищать шпиона? Зачем тебе это было нужно?»

Смысл произнесенного с трудом доходил до моего сознания. «Какой же он шпион, если побирается из-за нехватки денег, вступает в контакт с валютчиками? ЦРУ обеспечило бы его до конца жизни материально и никогда бы не позволило рисковать из-за грошей, — выпалил я, чувствуя, как во мне растет нервное раздражение. — Я не поленился прочитать девять томов дела «Кука» — это типичная стряпня Алидина и его следователей!»

«Ну ладно, оставим это, — миролюбиво кивнул Андропов. — Что я тебя, проверять буду? Давай оставим. Езжай в Ленинград, годик-полтора там побудешь, пыль здесь осядет, и вернешься. Москва от тебя никуда не уйдет. Ты знаешь Носырева, ленинградского начальника?» Я ответил, что знаю о нем, видел раз-два на коллегии и потом он помогал с устройством тещи в больницу.

«Теща, — усмехнулся Андропов. — Он мужик с норовом, нелегко тебе будет поначалу. Ну ничего, все обойдется».

В это время зазвонил телефон ВЧ. На проводе был Кабул. В трубке раздался голос Б.Иванова, докладывавшего обстановку в Афганистане после ввода туда советских войск. Андропов напрягся, вслушиваясь в булькающие звуки, потом прервал доклад и закричал в трубку: «Борис Семенович! Скажи Кармалю, чтобы он выступил по телевидению с обращением к народу. Прошло уже несколько дней, а он молчит. Надо же показаться людям, изложить программу. Скажи ему, чтобы не тянул. Окажи необходимую помощь в подготовке».

Председатель бросил трубку и обратил ко мне усталый взгляд.

«Все же у меня нет ясности, почему мне надо ехать в Ленинград, — проговорил я, воспользовавшись наступившей паузой. — Мне что, не доверяют здесь?» — «О чем речь, какое недоверие? — возразил Андропов. — Мы тебя назначили первым заместителем, чтобы не обижать. Ты же в Ленинград едешь, не куда-нибудь к черту на кулички. Там все есть: и разведка, и

контрразведка, и пограничники. Это же целый комитет, намного больше республиканских».

Я пробормотал положенные в таких случаях слова благодарности. Аудиенция закончилась. Больше я Андропова никогда не видел, хотя он в 1982 году интересовался моей судьбой. И как ему было не интересоваться, если бывший начальник внешней контрразведки не раз обращался к нему с нелегкими вопросами, требовавшими его решения, и только его.

Впервые я увидел Андропова в марте 1970 года на заседании коллегии КГБ СССР, куда меня пригласили в связи с утверждением в должности заместителя начальника Второй службы. Он сидел на председательском месте, крупный, с семитскими чертами лица, слегка сутулый и, не поднимая головы, слушал доклад Сахаровского с изложением моей биографии. Единственный вопрос, заданный мне Андроповым в тот день, не отличался от вопроса, который слышали из его уст сотни других номенклатурных работников КГБ: «Вы согласны с назначением на предлагаемую вам должность?» Я ответил односложно, как рекомендовали в Управлении кадров: «Согласен». — «Есть ли у кого-нибудь из членов коллегии возражения или замечания по данной кандидатуре?» — спросил Андропов, обводя глазами зал. «Нет. Вы свободны — можете идти», — кивнул он мне и приготовился слушать очередного докладчика.

В последующие годы мне нередко приходилось присутствовать на заседаниях коллегии, обсуждавших различные вопросы, и всякий раз я с удовольствием наблюдал за тем, как работает председательствующий. В

зал коллегии Андропов входил точно в назначенное время, как правило в десять утра. Без разминки и общих слов сразу приступал к повестке дня. Вел заседание энергично, жестко, строго следя за регламентом, безжалостно прерывая докладчиков, если они отклонялись от темы или лили воду. Различные точки зрения выслушивал терпеливо и тут же высказывал свое мнение. В спорных случаях предлагал поглубже изучить вопрос и вновь вернуться к его рассмотрению в разумно установленные сроки.

Свои мысли и резюме по итогам дискуссии Андропов высказывал в конце заседания. Они отличались четкостью изложения, критическим анализом событий и фактов, ставших предметом изучения коллегии, практическими выводами и рекомендациями, нередко оформлявшимися впоследствии в виде приказов КГБ.

Вообще Андропова отличали от его предшественников внутренняя собранность, несомненный организаторский талант, игра мысли, разносторонние знания во всем, что касалось международной политики. Он легко оперировал именами, событиями и датами, особенно когда затрагивались проблемы Восточной Европы, Китая, коммунистического движения на Западе.

Во всем его облике проглядывала суровость большевика, прошедшего выучку в сталинской аппаратной школе, сумевшего выжить в передрягах закулисных сражений, преодолеть барьеры, возведенные историческим безвременьем переходной эпохи, — от «оттепели» Хрущева до захвата власти Брежневым — и приспособиться к новому лидеру, сохранив свою индивидуальность и одновременно приверженность

старым представлениям о мире. Несмотря на распространившиеся на Западе слухи о «либерале» Андропове, пьющем виски с содовой и читающем по вечерам романы Флеминга, он не отличался общительностью, от спиртного уклонялся по причине застарелой болезни почек, а к западным привычкам и традициям относился с большой подозрительностью и недоверием.

Внешняя сдержанность Андропова распространялась и на личные контакты. Лицо его редко озаряла улыбка, эмоции проявлялись лишь в компании «своих», где можно было расслабиться и даже матюгнуться. Но ему не была чужда патетика, когда речь заходила о личности Брежнева, «политического лидера ленинского типа, неразрывно связанного с народом и посвятившего ему всю свою жизнь...». Я не имею в виду такие официальные выступления Андропова, как речь на встрече с избирателями в 1979 году, где он говорил о «всенародном признании, государственной мудрости, прозорливости и большой человечности» Брежнева, или панегирик на Пленуме ЦК КПСС в 1982 году, сразу после смерти «крупнейшего политического деятеля современности», в котором Андропов восхвалял покойного, чья «беззаветная преданность делу, бескомпромиссная требовательность к себе и другим, мудрая осмотрительность в принятии ответственных решений, принципиальность и смелость на крутых поворотах истории, чуткость и внимание к людям» снискали любовь в партии и народе. Публичное славословие в адрес вождей пролетариата вошло в традицию большевиков с первых дней революции, и Андропов не особенно отличался от своих коллег по партии в части награждения пышными эпитетами

вышестоящих руководителей. Но что характерно для Андропова, он даже в относительно узкой среде не допускал отклонений от привычной фразеологии, неизменно выставляя Брежнева как отца-благодетеля, единственного и неповторимого защитника интересов партии и отечества.

В 1980 году на торжественной юбилейной встрече при весьма ограниченном составе участников, при «своих», Андропов предложил тост, в котором, в частности, сказал: «Это великое счастье, товарищи, что партию нашу и государство возглавляет Леонид Ильич Брежнев». Весной следующего года, выступая перед чекистами — делегатами XXVI съезда КПСС, Андропов заявил: «...главное, что характеризовало обстановку на съезде, — это слова любви к партии и Леониду Ильичу... вся суть нашей работы вытекает из выступления Леонида Ильича...»

Думается, Андропову было за что хвалить Брежнева: при нем, с его благословения органы госбезопасности полностью отреставрировали механизм подавления, частично демонтированный Хрущевым; при нем они не только восстановили утраченные после XX съезда позиции, но и набрали огромную силу и влияние, выходявшие за рамки их официального статуса; при нем КГБ получил щедрые ассигнования, позволившие перевооружить и заново оснастить свои технические службы, возвести десятки новых административных зданий в Москве и на периферии. Как из рога изобилия на сотрудников КГБ посыпались ордена и медали, сотни полковников стали генералами, а четверо из них даже генералами армии — прецедент, не имевший себе равных в истории полицейских служб мира.

Андропов, несомненно, был мастером компромисса, лавировавшим между реальными потребностями общества и прихотями своих бесталанных руководителей. Он остро чувствовал конъюнктуру и попеременно выступал в роли то либерала, то консерватора. Очевидно, в этом был секрет его живучести.

Г. Товстоногов рассказывал мне, как его спектакль «Балалайкин и К°» едва не попал под запрет, но в последнюю минуту получил «добро» от Андропова, посетившего премьеру и оценившего глубину и актуальность пьесы. Андропов, однако, не стал защищать Ю.Любимова, когда тот не подчинился диктату надсмотрщиков от культуры, и поддержал предложение о лишении мятежного режиссера с Таганки советского гражданства. В августе 1979 года Андропов был против военной интервенции в Афганистане. Но уже в декабре он выступил в качестве одного из главных организаторов афганской авантюры, поддавшись уговорам своего друга маршала Д. Устинова. Андропов, как правило, отвергал предложения о физическом уничтожении политических оппонентов, но он довел до совершенства аппарат политического сыска, сделавшего нормой моральный террор. Именно на годы его председательства в КГБ приходится разгул судебного произвола в отношении инакомыслящих. На то же время приходится и массовый исход интеллигенции, и изгнания из страны — это милосердие тиранов, ударившее по цвету советской культуры, и невиданные по масштабам и беспардонности злоупотребления психиатрией, грязная война против «сионизма», расцвет фашизоидной «молодогвардейщины».

При Андропове органы КГБ проникли практически во все поры нашего общественного организма, во все

сферы жизни. Без них не принималось ни одно крупное решение во внутренней и внешней политике, судьбы миллионов людей зависели от информации, которой КГБ манипулировал по своему усмотрению.

По инициативе Андропова ЦК и Совмином были приняты постановления об ужесточении режима секретности в стране. Под грифом «совершенно секретно» шли практически все документы партаппарата, начиная от проектов резолюций партийных пленумов и конференций и кончая решениями о местах и времени проведения субботников. Горы материалов ТАСС, иностранные журналы и газеты, книги «неблагонадежных авторов» хранились в специальных секретных помещениях. Перечень Главлита, равно как и недоступность большинства архивов, убивали желание исследователей заниматься серьезным научным трудом.

В ведомствах один за другим создавались режимные отделы и управления. Покровом секретности зачастую прикрывались серьезные провалы в работе, разгильдяйство, некомпетентность, расточительство, создавались искусственные препятствия, пагубно отразившиеся на развитии экономики, затормозившие научно-технический прогресс. Для усиления режима безопасности на границе у колхозников были изъяты сотни тысяч гектаров сельскохозяйственных угодий. Яхты и парусники перестали бороздить морские просторы. Пропускная система превратилась в абсурд, когда проход в гостиницу приравнивали к посещению военного объекта.

Унизительная процедура ограничений и запретов господствовала во всем, что было связано с выездом советских граждан за рубеж. В собственной стране советские служащие имели право встречаться с

иностранцами только вдвоем. Побывшие в гостях у иностранцев не могли ответить взаимностью у себя дома.

Что бы ни говорили сегодня об Андропове его апологеты, он никогда не был демократом. При нем общество жило в атмосфере запуганности, шпиономании, подозрительности в отношении каждого, кто вел себя неординарно, выделялся своими суждениями и внешним видом. Маразм достиг апогея, когда истребители ПВО расстреляли южнокорейский пассажирский авиалайнер, а на улицах начали отлавливать граждан, выбежавших в рабочее время купить кусок колбасы в магазине.

Сам Андропов испытывал острое недоверие к внешнему миру, усматривая повсюду козни империалистических разведок и их агентуры. В семидесятых годах, когда в ряде западных компартий усилились настроения в пользу большей независимости от КПСС, Андропов во многом воспринимал происходящее как результат работы спецслужб.

Один эпизод достаточно ярко характеризует умонастроение Андропова в конце семидесятых годов. Прибывший для отчета в Центр резидент КГБ во Франции был принят Андроповым вместе с руководителями подразделений, курировавшими парижскую резидентуру. Доклад руководителя крупнейшей в разведке точки шел вяло. Хвастаться было нечем, вербовочные результаты приблизились к нулю, агентурный аппарат, приобретенный в основном в сороковых — пятидесятых годах, старел, вымирал и с трудом мог выполнять ставившиеся перед ним задачи. Андропов со скучающим видом слушал пространные объяснения резидента о причинах неудовлетворительной работы, его холодно-пронзительный взгляд свидетельствовал о

низкой оценке способности резидента преодолеть кризис. Докладчик же, упиваясь собственным красноречием, не замечал скепсиса в глазах Председателя. Когда он дошел до анализа положения в компартии Франции, Андропов не выдержал и прервал резидента. «То, что вы здесь рассказываете о еврокоммунизме и его влиянии на взгляды Генсека Ж. Марше, — заметил Председатель, — не вяжется с моим представлением об истинных корнях проблемы. Неужели вам в голову не приходят более убедительные мотивы поведения Марше, объясняющие его приверженность еврокоммунизму в фактическую измену интересам рабочего класса? Ведь то, что он делает, — идеологическая диверсия».

Резидент замешкался в поисках ответа, и я решил подать голос с места: «Недавно директор ЦРУ У. Колби говорил о желательности развития нынешних процессов в европейских компартиях и готовности ЦРУ способствовать им. Может быть, стоит повнимательнее посмотреть на эту сторону проблемы?»

Глаза Андропова вспыхнули, он сразу оживился, как будто сбросив охватившую его дремоту. «Ну конечно, — воскликнул он. — Разве не ясно товарищу резиденту, что Марше мог попасть в ловушку. Ведь были же сведения о том, что он в годы войны как будто сотрудничал с немцами. Американцы наверняка заполучили эти материалы, могли его шантажировать и привлечь на свою сторону. Вот где надо искать истоки, а вы мне толкуете о традициях французской социал-демократии!»

В условиях потепления политического климата в Европе внешняя контрразведка выступила с инициативой налаживания контактов между спецслужбами СССР и

некоторых европейских государств, сначала через офицеров безопасности в посольствах, а затем путем неофициальных встреч руководителей соответствующих ведомств. Такие контакты получили развитие, в частности, с Бельгией и Финляндией. С последней в лице начальника финской контрразведки СУОПО дело шло в направлении неформального согласия ограничить деятельность западных спецслужб на территории Финляндии, направленную против СССР. Андропов благосклонно, хотя и настороженно относился к нашим шагам в этой области до тех пор, пока к идее сотрудничества с финнами не подключился Щелоков. Министр внутренних дел, имевший огромное влияние на Брежнева, съездил в Хельсинки и по возвращении подготовил документ, рассчитанный на скорое подписание протокола о сотрудничестве с финской полицией. Обращение Щелокова за поддержкой в ПГУ имело положительный резонанс. В разведке считали, что международные контакты МВД могут оказаться полезными и для КГБ. Но не тут-то было. На документе ПГУ, рекомендовавшем пойти навстречу просьбе Щелокову, Андропов написал следующую резолюцию:

«Считаю, что настоящее предложение ПГУ либо недоразумение, либо что-нибудь похуже (политическое недомыслие). Как же можно предлагать, чтобы советская милиция — орган пролетарского государства подписывала документ о сотрудничестве с финской полицией, защищающей интересы финской буржуазии. Надо же посмотреть вперед. Не исключено, что, несмотря на наши усилия, финский нейтралитет «потускнеет». Представьте себе случай, когда финская полиция окажется в силе подавлять рабочее движение, а это в истории Финляндии получалось много раз. Как

тогда будет выглядеть наш «протокол о сотрудничестве»?»

Если отношение Андропова к лидеру Французской компартии и сотрудничеству с органами правопорядка Финляндии формировалось под воздействием «классового чутья», то в деле Энгера — Черняева — двух сотрудников нью-йоркской резидентуры КГБ, арестованных в 1978 году за попытку приобрести секретную информацию у американского военнослужащего, — Председатель руководствовался устойчивым представлением об администрации США как о потенциальных мошенниках, способных на любое надувательство. Впервые в истории советско-американских отношений судебные власти в Нью-Йорке заломили цену за свободу арестованных советских дипломатов в размере одного миллиона долларов. На встрече с Андроповым я предложил немедленно внести требуемую сумму залога, чтобы выволить коллег из тюрьмы. «Но ведь они могут взять деньги, а потом показать нам фигу», — заметил Председатель. «Да нет, это невозможно, — возразил я. — Они знают цену деньгам и слову, и можно не сомневаться, что условия сделки будут точно выполнены американской стороной». Неожиданно для меня Андропов побагровел и недоуменно, глядя мне в глаза, с деланной расстановкой произнес: «Ну вот этого я от тебя не ожидал! От кого, от кого, но от начальника контрразведки такой сюрприз получить — это из рук вон. Ты что, всерьез им веришь или не соображаешь, что говоришь?» Я смутился, пытался объяснить, что специфика американского характера — деловая порядочность, тем более что мы имеем дело с правительством США, а не с частными лицами. Но

Андропов объяснений не принял. Он укоризненно покачал головой, посмотрел на меня тяжелым взглядом и приказал готовиться к синхронной передаче денег и освобождению арестованных.

Эрудиция Председателя в международных вопросах, хотя и окрашенная типичными изъянами тоталитарного мышления, как ни парадоксально, не распространялась на экономические и научно-технические проблемы страны. В конце семидесятых годов, когда рост советской экономики все больше терял темп и все явственней маячили впереди кризисные явления, Андропов считал, что главная причина надвигающегося спада — в ослаблении трудовой дисциплины и порядка на производстве. Тогда у него родилась идея закрытого письма к рабочему классу и всем трудящимся с призывом мобилизовать все ресурсы для выполнения планов пятилетки.

В ходе одной беседы, посвященной валютной задолженности Западу стран Варшавского Договора, я заметил, что польский долг (тогда он не достигал еще двадцати миллиардов долларов) может отрицательно сказаться на наших внешнеторговых отношениях, тем более что и наши долги Западу приближаются к этой же цифре. Выслушав мои рассуждения, Андропов снисходительно улыбнулся и сказал: «То, что поляки залезли в долги, — нехорошо. Но нам-то бояться нечего. Кстати, ты знаешь, сколько мы должны?» Я сослался на западные оценки: около двадцати миллиардов. Андропов вновь усмехнулся: «А в два раза больше — не хочешь? Но это ерунда. Мы — не Польша. Наш гигантский промышленный потенциал, тысячи заводов и фабрик — это надежная гарантия от разорения и кабалы Запада».

Приблизительно в то же время состоялся примечательный разговор, приоткрывший степень осведомленности Андропова о состоянии и уровне развития нашей науки и техники.

В ходе оперативной игры с ЦРУ через внедренного в агентурную сеть американской разведки нашего человека мы получили образец миниатюрного радиоустройства, используемого для связи ЦРУ с агентурой. С маленькой, изящной «игрушкой» в руках я пришел к Андропову для доклада и заодно продемонстрировал наше очередное приобретение. Председатель с любопытством повертел его в руках и поинтересовался у находившегося в кабинете руководителя внутренней контрразведки, имеется ли что-нибудь подобное у нас. Тот не замедлил ответить, что КГБ принцип работы аппарата известен и он имеется в распоряжении контрразведки. По моим данным, полученным из оперативно-технического управления, ничего подобного в КГБ до сих пор не видели. Об этом я тут же и заявил во всеуслышание. Тогда Андропов вызвал своего заместителя по технике Н. Емохонова и, вручив ему аппарат, попросил прокомментировать. Емохонов, выслушав мои пояснения, тут же дал заключение: принцип известен, у нас есть подобные изделия, но по габаритам и весу они в несколько раз крупнее. Это существенно снижает эффективность и конспиративность в работе, и поэтому аппарат практически не используется.

Выслушав спокойный доклад Емохонова, Андропов возмутился: «Мы столько средств затрачиваем на технику и до сих пор не можем создать современные образцы! Ну, а в состоянии мы тиражировать этот аппарат своими силами?» — «Нет», — так же спокойно ответил зампред по технике. «Но почему же? Чего вам не

хватает?» — еще более раздражаясь, спросил Андропов. «Нам не хватает технологии. По этой причине наши ракеты в два раза тяжелее американских, а повторить «мерседес» мы сможем только в единственном экземпляре». Емохонов говорил веско, со знанием дела, не поддаваясь эмоциональному давлению Председателя. Реакция Андропова на его слова была столь же неожиданна, сколь и беспомощна: «Давайте подготовим записку в ЦК, в Совмин. Как же мы запустили все! Надо поправлять дело».

Широкими, далеко не всегда безошибочными жестами определяя свое отношение к тем или иным внешним и внутренним проблемам, Андропов проявлял смелость в решении конкретных оперативных вопросов, доверял специалистам и полагался на их опыт. Не раз я наблюдал, как Крючков не мог решить элементарную проблему, не заручившись поддержкой Председателя, особенно когда на горизонте появлялись доброжелатели — лица, добровольно предлагавшие свои услуги нашим резидентурам за границей.

В истории Энгера — Черняева как раз имел место провал в работе с доброжелателем, санкцию на встречи с которым дал Андропов. Скандал, разразившийся вокруг этого дела в США, и крупная сумма залога, затребованная американской стороной, по-видимому, отбили охоту у Андропова легко соглашаться на подобные мероприятия в дальнейшем. По крайней мере, когда очередной перспективный источник уведомил нашего резидента в Вашингтоне, что готов передать ценную секретную документацию, Андропов квалифицировал это предложение как «новую провокацию» и отказался дать разрешение на встречу с доброжелателем. Последний, не зная настроений

Председателя КГБ и не дождавшись ответа, проявил инициативу и забросил мешок с секретными документами через забор на территорию советского посольства. Небезызвестный В. Юрченко, вместо того чтобы разобраться с содержимым мешка, срочно связался с местной полицией и, напугав ее возможным наличием взрывчатки в мешке, пригласил приехать в посольство с саперами. Мешок увезли в участок, и там обнаружили сотни совершенно секретных документов ЦРУ, Пентагона и других ведомств. Организованный ФБР поиск вскоре привел к аресту бывшего сотрудника ЦРУ и его последующему осуждению на двадцать лет тюрьмы. «Провокация» была предотвращена, но волну шпиономании в США эта история подхлестнула изрядно.

Видимо, Андропов имел неприятный разговор в Политбюро, ибо вслед за провалами последовало специальное совещание, на котором руководству ПГУ было рекомендовано проявлять больше осторожности в отношении доброжелателей.

Вообще проблема мотивации поведения людей, добровольно идущих на контакт с разведкой и рискующих при этом свободой и даже жизнью, немало занимала Председателя КГБ. На встречах с руководящим составом ПГУ он неоднократно подчеркивал необходимость поиска людей, готовых сотрудничать с разведкой ради высоких коммунистических идеалов, но не за деньги. Он как будто жил в другом, давно ушедшем мире — довоенном, коминтерновском, когда многие были готовы умереть за идею.

Побочным эффектом его заботы о «чистоте» агентурного аппарата стало повышенное внимание к бывшим ценным источникам советской разведки К.

Филби, Д. Блейку, Д. Маклину, осевшим в СССР. Именно Андропов дал указание вывести их из изоляции, подключить к обучению кадров, подготовке документов. Он позволил существенно увеличить расходы на их содержание, интересовался их жилищными условиями. В 1975 году он лично вручил Филби орден Дружбы народов. До этого в течение нескольких лет руководство КГБ ходатайствовало о награждении Филби орденом Ленина, но все усилия блокировались Суловым, считавшим, что это поставит в неловкое положение английскую компартию (!). Согласившись на Дружбу народов, Сулов, видимо, полагал, что именно укреплением дружественных отношений между народами Великобритании и СССР и занимался всю жизнь человек, чуть не ставший главой английской разведки. Так или иначе, во время ужина, устроенного на спецквартире КГБ по поводу вручения ордена Филби, Андропов поинтересовался численностью разведки Ее Величества. «Около пятисот человек оперативного состава и почти столько же технического», — ответил Филби. Председатель КГБ удивленно вскинул брови и, обращаясь к сидевшему рядом Б. Иванову, раздраженно заметил: «А что же мы так раздулись?» Неловкую паузу пришлось разрядить мне: «Англичане нам не ровня. Вот в ЦРУ почти 16 тысяч. Мы же американцев пока обогнали только по стали, цементу и обуви». Андропов улыбнулся и предложил тост за то, чтобы у Филби было как можно больше учеников и последователей.

Трогательное внимание к заслуженным ветеранам разведки сочеталось у Андропова с непреклонной решимостью добиваться исполнения смертных приговоров в отношении предателей из числа сотрудников КГБ, оставшихся на Западе. После побега в

1971 году Лялина эта тема не раз возникала в беседах с Андроповым, но мы не могли сообщить ему ничего утешительного. Правда, в середине семидесятых годов у нас появилась возможность физически устранить Хохлова и Петрова, но Андропов, выслушав мой доклад, махнул рукой: «Ты мне дай Лялина и Носенко — тогда получишь разрешение, а эти старички пусть доживают свой век». В те годы Андропову и не снилось в самом кошмарном сне, что с 1979 года одна за другой посыплются измены со стороны офицеров разведки и никто никакой ответственности за это не понесет.

При всей кажущейся жесткости Андропова ему случалось использовать свое влияние в гуманных целях.

В 1978 году резидент КГБ в одной из африканских стран сообщил, что, по имеющимся у него достоверным документальным данным, советский посол систематически прикарманивает государственные средства. Своего помощника он заставляет брать у торговцев счета за приобретенные товары и продукты с припиской нуля или других подходящих цифр, существенно увеличивающих сумму расхода. Подделанные таким образом документы он направляет в Москву, а разницу между счетом и реальным расходом берет себе. Резидента особенно беспокоило то обстоятельство, что посол договорился с французской фирмой, сооружавшей новое здание для совпосольства, выплатить ей сумму в 1 миллион 950 тысяч франков, а счет получить на 2 миллиона.

На основании этого сообщения Андропов подписал записку в ЦК КПСС, рассчитанную на принятие необходимых мер. Однако прошел месяц-другой, а посол продолжал спокойно заниматься воровством. Один из

заместителей Крючкова, курировавший Африканский континент, заметил в беседе со мной: «С кем ты связался, ведь он напрямую выходит на Политбюро и часть ворованного использует на покупки дорогих подарков для некоторых наших руководителей. Смотри, сломаешь шею».

Прошло еще несколько месяцев, и от резидента поступило новое сообщение, из которого следовало, что, несмотря на старческий возраст, посол пытается склонить к сожителю молоденькую секретаршу, только что прибывшую из Москвы. Прилагалась копия письма этой девушки своей матери.

Я прочитал письмо. Это был отчаянный крик души, истерзанной ежедневными угрозами, попытками принудить к интимной близости прямо в кабинете. Девушка писала, что, возможно, она уже больше никогда не увидит мать, что так она жить не будет.

Было около восьми вечера. Я снял трубку прямой связи с Крючковым и сообщил ему о письме. «Езжайте сами к Андропову и докладывайте», — предложил он.

Андропов принял меня сразу. Я напомнил ему о после, чьи финансовые махинации известны в ЦК, но на них никто не реагирует. «Я понимаю, что посол — номенклатурная фигура и наших рекомендаций для ЦК недостаточно, но в данном случае речь идет о жизни человека и мы не можем медлить». Андропов взял письмо, внимательно прочитал и тут же связался с Громыко: «Андрей Андреевич, мы с тобой как-то говорили об африканском после. Я знаю, что есть проблемы, но ты послушай, что пишет его секретарша». Андропов процитировал несколько фрагментов из письма

и сказал в заключение: «Настала пора принимать решение».

Я не слышал, что говорил Громыко, но через две недели посла отозвали «для консультаций» в МИД, а еще через два месяца отправили на пенсию. Он писал письма на имя Брежнева, пытаясь опротестовать свой отзыв из страны и уход от дел, но не помогло. Правда, пенсию он получил генеральскую (по мидовским стандартам), и никто его больше не беспокоил.

Еще один эпизод дополняет характеристику Андропова как человека и руководителя.

В конце семидесятых годов органы внутренней контрразведки получили сигнал о валютных махинациях некоторых работников Министерства морского флота. Проверка показала, что нити незаконных сделок ведут в Швейцарию и Францию. Среди подозреваемых был назван Сергей Каузов, представлявший интересы Морфлота в Париже. Когда его отозвали под благовидным предлогом в Москву, выяснилось, что ко всему прочему он глубоко завяз в любовных отношениях с дочерью знаменитого греческого магната А. Онассиса Кристиной. К тому времени их роман стал гвоздем газетной светской хроники, и сама Кристина очертя голову бросилась в Москву спасать своего любовника.

Сотрудники внешней контрразведки в Париже довольно высоко отзывались о деловых качествах Каузова, но не могли выставить каких-либо аргументов в его защиту. Тем не менее я решил через посредника встретиться с Каузовым в Москве и посмотреть, что полезного можно извлечь из складывающейся ситуации. Одноглазый специалист из морского ведомства (другой глаз из-за травмы в детстве был заменен искусственным),

небольшого роста, живой, энергичный, произвел благоприятное впечатление. Зачем же прятать человека за решетку, тем более что вина его не доказана, если есть возможность приобщить его к хорошему делу? Так думал я, готовя предложение Андропову в пользу Каузова.

При обсуждении вопроса у Председателя столкнулись две прямо противоположные точки зрения. Одну докладывало руководство Второго главка. Оно считало, что Каузов будет если не обвиняемым, то важным свидетелем в готовящемся судебном процессе. Его характеризовали как разгильдяя, барахольщика и выжигу, выпускать которого за границу просто нельзя.

В своем выступлении я, соглашаясь в принципе с доводами контрразведчиков, высказал следующие соображения: «Что мы будем иметь, если посадим Каузова за решетку или используем в процессе? Скандал международного масштаба. Нас обвинят в нарушении хельсинкских соглашений по правам человека. Никого не будет интересовать уголовная сторона дела. Все расценят эту часть как попытку помешать двум любящим сердцам соединиться в законном браке. Нас и так постоянно порочат в западной прессе за искусственные барьеры, возведенные между советскими людьми и иностранцами. Теперь к этой антисоветской пропаганде подключит свои миллиарды семья Онассис. По ходу выступления я внимательно следил за выражением лица Андропова. Оно не выдавало никаких эмоций. Озадаченный его отрешенностью, я замолчал на секунду и спросил: «Разве не так?» — «Продолжай, — кивнул Андропов. — Я тебя внимательно слушаю».

«Так вот, — вдохновенно сказал я, — не лучше ли будет дать полную свободу действий Каузову, помочь им сочетаться браком, создать обстановку благожелательности, побудить их остаться в Москве, может быть, даже выделить им квартиру. Мы приобретем в лице Онассиса если не друга, то по меньшей мере благодарного человека, который ответит добром, когда нам от нее что-то будет нужно. А Каузов у нас окажется в кармане, ибо он тоже прекрасно понимает, что за оказанную ему услугу придется когда-то расплачиваться. Не нужно только нажимать. Не забудьте про миллиарды Онассис и то, что она может родить ребенка. Он будет советским гражданином и наследником, если дело не испортим раньше времени».

После моих слов в кабинете на несколько секунд воцарилась напряженная тишина. Я видел, как мои оппоненты лихорадочно продумывают очередной ход, но их упредил Председатель: «Согласен с мнением ПГУ, хватит нам каждого хватать за шиворот, не думая о возможных Международных последствиях. Руководство страны так много делает для разрядки напряженности, а мы ему очередную бяку подкинуть готовы. Обеспечьте Онассис режим наибольшего благоприятствования. Я попрошу Промыслова выделить молодым приличную квартиру, а ПГУ пусть ищет выгоды из всей этой ситуации».

В тот же день я встретил Каузова и сообщил ему приятную новость. Он явно не ожидал такого развития, радовался как мальчик открывшейся перспективе закрытия своего дела, тут же пригласил меня на свадьбу.

После свадебных торжеств молодожены укатили на Запад, а по возвращении их ждала четырехкомнатная

квартира в доме Управления делами Совмина СССР. Позже, когда Кристина развелась с Сергеем, он, получив от нее при расставании несколько десятков миллионов долларов, открыл в этой квартире филиал своей мореходной фирмы.

Я видел Каузова незадолго до отъезда в Ленинград. Он сказал, что никогда не забудет сделанного для него. Но так случилось, что после моего ухода из ПГУ в Москве возобладали недоброжелатели новоиспеченного советского миллионера. И Каузов стал бояться приезжать в СССР. Своим друзьям он сказал, что появится в Москве только после принятия закона о свободном въезде и выезде граждан.

Не знаю, какой довод в пользу Каузова при обсуждении его судьбы произвел наибольшее впечатление на Андропова, но упомянутая в моих аргументах возможная финансовая выгода для страны, несомненно, сыграла свою роль. Андропов весьма щепетильно относился к денежным делам, и есть все основания полагать, что он, в отличие от некоторых своих коллег по Политбюро, не рассматривал государственный карман как собственный. Он вообще отрицательно отзывался о партийцах, занимающихся «хозяйственным обрастанием», выступал против наделения населения дачными участками, считая, что это будет отвлекать их от примерного производственного труда в коллективе. Вместе с тем он видел, что из огромных сумм денег, проходящих через КГБ в результате конфискации, а также из средств, извлекаемых путем внедрения высокотехнологического оборудования по полученным КГБ образцам и другими путями, этому ведомству ничего не перепадает, в то

время как Комитет под его руководством продолжал расти и расширяться и требовал дополнительных затрат.

Первыми с инициативой облагать в пользу КГБ проходящие через его руки средства выступили руководители внутренних органов, и Андропов пошел им навстречу. В ПГУ тоже имелись немалые возможности, но все деньги исправно перечислялись в Госбанк, и никаких процентов за проделанную работу в разведку не отчислялось. Однажды представился случай наглядно продемонстрировать Андропову такие возможности. Агент внешней контрразведки в Европе, упомянутый выше международный вор, переправил в КГБ накопленные им драгоценности и бульонное золото как личный вклад в борьбу Советского Союза за мир. Это был целый мешок всякой всячины, оцененный тогда по государственным ценам в миллион рублей.

Андропов в те дни лежал в больнице в Кунцеве, и доклады ему были ограничены. Тем не менее Крючков получил согласие врачей навестить занемогшего Председателя, чтобы поднять его дух и настроение. Помимо сверкающих богатств, переложенных в объемистый чемодан, я прихватил с собой только что отпечатанный «Справочник личного состава ЦРУ», содержащий более десяти тысяч фамилий и подготовленный Управлением «К» как некий ответ на книгу Дж. Бэррона «КГБ». Андропов принял нас в больничной палате в пижаме. Его нездоровый вид произвел удручающее впечатление, чувствовалось, что болезнь всерьез поразила его внешне мощный организм. Равнодушно, без всякого интереса выслушав сообщение Крюčkова по текущим делам, он оживился, когда я открыл чемодан. «Что же это такое! Я никогда в жизни подобного не видел!» — приговаривал Председатель,

перебирая в руках слитки золота, платины, бриллианты. Я и сам впервые держал в руках такие ценности и искренне радовался почти детскому изумлению Андропова и появившемуся блеску в его глазах. «Надо все это, до единого камешка, сдать в Госбанк», — сказал Андропов, когда я закрыл чемодан. «Но может быть, нам получить какую-то компенсацию, — возразил Крючков. — Ведь дают же за клад четверть стоимости найденного». Андропов задумался. «Все вы меня тянете на какие-то побочные заработки, — тяжело вздохнув, сказал он. — Не могу я, поймите, не могу. Выбили из меня уже одно такое решение в пользу внутренней контрразведки, но до сих пор не уверен, что правильно поступил. Давайте отложим пока. А ценности сдайте все». Затем он взял в руки увесистый, в твердом красном переплете «Справочник», с интересом полистал, спросил, как долго собирали материал. «Держите до лучших времен, может быть, когда-нибудь опубликуем, а пока не надо, используйте в практической работе», — посоветовал Андропов. С тех пор ежегодно пополняемый «Справочник» стал настольной книгой для всего КГБ.

Реакция Председателя КГБ на неожиданно попавшее в руки его ведомства богатство вполне вписывается в распространенное в нашем обществе мнение о нем как о человеке, не запятнавшем свое имя участием в сомнительных делах клана Брежнева и ему подобных. Да, Андропов ненавидел взяточников и махинаторов, укрывшихся под высокими партийными и государственными должностями, но, вопреки расхожим легендам, он и пальцем не шевельнул для того, чтобы повести против них беспощадную и систематическую борьбу. Он не желал раскачивать лодку, в которой удобно устроился вместе с кормчим и его свитой. При

нем органы госбезопасности, как правило, уклонялись от вмешательства в специфическую область, таившую непредсказуемые осложнения и опасности. Только политическая целесообразность, определявшаяся высшими инстанциями или личными указаниями партийных лидеров, служила сигналом для инициирования оперативных и следственных действий против коррумпированных групп и особо «отличившихся» лихоимцев.

В тех редких случаях, когда некоторые территориальные управления КГБ включались в дела по взяткам по собственной инициативе, они шли на серьезный риск конфликта с местной партийной и советской властью. Теперь уже известна история Председателя КГБ Узбекистана Л. Мелкумова, выступившего в 1981 г. на Всесоюзном совещании сотрудников органов и войск КГБ. Именно здесь открыто и честно он поднял вопрос о царящих в республике нравах, ставящих под угрозу авторитет партии и советской власти. Прозвучавший на фоне пресных речей и самоотчетов призыв Мелкумова к активному участию КГБ в борьбе с коррупцией имел эффект взорвавшейся бомбы. Но последствия его оказались совершенно противоположными тем, которых ожидали участники совещания: через несколько месяцев Мелкумов был уволен Андроповым с занимаемой должности и направлен на рядовую работу в советнический аппарат КГБ в Восточную Европу. Он вернулся на Родину несколько лет спустя, уже после разоблачения узбекской мафии, но ему не простили проявленной некогда несанкционированной инициативы и оставили доживать в неизвестности в резерве КГБ.

Андропов жил в такое время, когда в стране никто не помышлял о гласности. Пресса считалась подспорьем партии, журналисты — ее верными слугами. Как руководителю крупного управления, мне приходилось прибегать к помощи печатных органов для продвижения различных материалов, и всякий раз, обсуждая проект той или иной статьи, Андропов цинично говорил о журналистах как о подмастерьях, готовых к любой стряпне, изготовленной по заказу КГБ. Он отмахивался от навязчивых услуг видного автора детективного жанра, называл «болтуном» редактора популярной еженедельной газеты, придирчиво изучал деловые характеристики модного публициста, примеряя его способности к выполнению очередного ответственного задания КГБ. Он выбирал лучших для исполнения воли партии и своей собственной. Но, пожалуй, самый важный выбор он сделал из среды партийных аппаратчиков. Одного из них — Егора Лигачева — Андропов назвал «находкой для партии», другого — Михаила Горбачева — обозначил своим преемником. Как две стороны одной медали, эти политические деятели послеандроповской эпохи попеременно бросали свой отсвет на бурные процессы, охватившие общество в 80-е годы. С их именами немало было связано в моей жизни в последующее десятилетие, после отбытия к месту новой службы в Ленинград.

Глава VI

Но и вдали от суетных дворцов,
от их шпионов, ложных мудрецов
напрасно я ищу покой и счастье....

И. Гёте

Когда увидишь смерть мечты желанной,
ты должен умереть иль стать еще сильнеей.

Э. Ростан

Сердечные проводы на вокзале. Дружеские объятия близких и дорогих людей. Они желают мне скорого возвращения, они верят в меня, верят, что Андропов направляет меня в Ленинград, руководствуясь благими намерениями подготовить замену дряхлеющему начальнику Ленинградского КГБ. Они не знают, что я еду в ссылку, почетную, хлебную, но ссылку. Не знаю об этом и я.

В двухместном купе «Красной стрелы» я долго не мог заснуть. Мысли беспорядочно перескакивали с одного на другое, возвращались к недавнему прошлому, к незавершенным делам, несостоявшимся встречам. Я чувствовал, что в моем неожиданном перемещении таится какая-то загадка. То, что Андропов сказал на прощание, успокаивало, но и в его словах сквозила какая-то недоговоренность.

При чем тут дело «Кука»? Разве я не получил личного согласия Андропова на пересмотр судебного приговора? И разве не очевидно, что путем фабрикации внутренние органы КГБ хотели «закрыть» затянувшуюся на многие годы разработку «Кука» как американского шпиона?

Накануне моего отъезда в кулуарах ПГУ высказывалось мнение, что меня «убрали» из разведки за побег в Токио сотрудника резидентуры Левченко. Другие утверждали, что причина перевода во внутренний аппарат кроется в измене Аркадия Шевченко, которого «просмотрело» Управление «К», и я, как начальник, должен нести ответственность за это. Кое-кто добавлял, что Андрею Громыко донесли содержание моего выступления в Высшей школе КГБ, где я упрекнул министра в попытке защитить своего бывшего помощника и не допустить его откомандирования из США, несмотря на демарши КГБ.

Все эти доводы, подлинные и мнимые, я отвергал как несущественные. На фоне общих результатов работы Управления они выглядели неубедительно. Да, мы не всегда были на высоте. Но все познается в сравнении. За семь лет руководства Управлением удалось сколотить крепкий коллектив, способный решать любые задачи. Агентурный аппарат Управления утроился; мы располагали своими людьми почти в 50 разведывательных и контрразведывательных службах иностранных государств. Ежегодный прирост агентуры составлял несколько десятков человек, чем не могло похвастаться ни одно другое подразделение разведки. За семилетний срок предотвращено более 400 провалов работников и агентов ПГУ. Разоблачено более 200 подстав противника. Добыты многие тысячи секретных документов, в том числе шифровальные материалы иностранных спецслужб. Только внутренняя контрразведка КГБ получала от нас в среднем по 3,5 тысячи информационных сообщений в год. Полтора миллиона инвалютных рублей, добытых агентурным путем, внесены Управлением в Госбанк СССР.

Нет... в рабочей части положительный баланс явно складывался в мою пользу.

Значит, надо искать причины в другом. Может быть, личное поведение? Оно не всегда было безупречным, но ни разу я не попадал в ситуацию, за которую потом пришлось бы стыдиться и краснеть.

И опять мысли возвращались к «Куку». Он сказал, что следователей очень интересовала моя персона. Не был ли я завербован ЦРУ через «Кука»? Как мы познакомились? Сколько раз встречались? Странные вопросы задавали чекисты из Московского управления КГБ. Они как будто искали компрометирующие меня материалы. Зачем? Разве мой послужной список не достаточно полно отражает, что и когда я сделал в интересах КГБ? Разве вся моя жизнь не являет пример верного служения государству и партии?

Утром с красными от бессонницы глазами я стоял у окна вагона, вглядываясь в пробивающиеся сквозь дымку силуэты родного города. Через несколько минут я ступлю на землю, с которой расстался почти четверть века назад. Как она меня встретит?

Я слышал в Москве дурные отзывы о своем будущем начальнике. И хам он, и солдафон, и невежда. Личного общения у меня с ним практически не было, хотя в 1974 году он прислал мне по открытому телеграфу поздравление с присвоением генеральского звания, а позже по моей просьбе помог устроить мать Людмилы в больницу. Зная свою способность находить общий язык с разными людьми, я не очень беспокоился за предстоящую встречу с генерал-лейтенантом Даниилом Носыревым.

Я предстал перед его очами на следующий день. Суровый, надутый, официально холодный, он важно протянул мне руку и произнес какие-то положенные для таких случаев слова. По выражению его лица, сухому приветствию я понял, что меня ждут нелегкие времена. Его поведение резко контрастировало с манерами всех начальников, которых мне приходилось встречать раньше. Возможно, в этом чиновничьем самодовольстве проглядывал провинциализм Носырева, его низкая общая культура. Ведь его образовательный уровень ограничивался двухгодичной партийной школой. А может быть, он что-то знал о причинах моего перемещения в Ленинград и заранее занял позицию начальственной неприступности, дабы отбить у меня охоту переходить границу, отделяющую руководителя от подчиненного?

«В ваши обязанности будет входить кураторство всех райгосаппаратов области, информационно-аналитической службы и отдела внутренней безопасности, — сказал Носырев. — Кроме того, вы будете представлять КГБ на комиссии обкома по выездам за границу. Поскольку в вашем ведении ряд пограничных районов, держите плотный контакт с руководством погранвойск. Я понимаю, что вам хотелось бы курировать работу ленинградской разведки, но этот участок обычно закрепляется за начальником Управления. Так что не взыщите. Пока поживите в гостинице обкома партии, потом вам подыщут квартиру. Кстати, почему вы приехали без жены?»

Итак, прием по меньшей мере сдержанный, участки работы второстепенные... Что-то не вязалось происходящее с моим представлением о перспективах службы в Ленинграде. К тому же выяснилось, что, спешно вводя специально для меня вторую должность

первого заместителя, кадры забыли, что полагалось бы закрепить за мной автомашину с двумя водителями.

По поводу жены я дал Носыреву уклончивый ответ. Поскольку Андропов назвал год-два как срок моего пребывания в Ленинграде, Людмиле не имело никакого смысла бросать место в Институте США и Канады, где она работала уже несколько лет.

Через несколько дней Носырев повез меня в Смольный, чтобы представить руководству обкома КПСС. Накоротке меня приняли Григорий Романов и второй секретарь обкома, надзиравший за деятельностью всех административных органов, в том числе КГБ, — Ратмир Бобовиков.

Затем состоялась процедура представления на общем собрании офицеров Управления. Носырев не нашел лучшего способа объяснить мой перевод на работу в Ленинград, заявив, что я расшифровался как разведчик. На меня смотрели с сожалением: вот какая судьба ожидает «погоревших» сотрудников ПГУ! Правда, должностное положение высокое, но не чета начальнику Управления «К».

Помимо меня у Носырева было еще пять заместителей. Высокий рыжеватый Владилен Блеер, пришедший в органы по рекомендации Романова из обкома, где он работал в качестве замзавотдела строительства, вел пятую линию, то есть политический сыск. Сергей Мануйлов бывший особист, как и Носырев, переведенный из военной контрразведки, курировал Вторую и Седьмую службы (контрразведка и наружное наблюдение). Тоже в прошлом особист, контр-адмирал Вадим Соколов, некогда трудившийся рука об руку с главой краснодарской мафии Медуновым, возглавлял

транспортную, оперативно-техническую и хозяйственную службы, а также правительственную охрану — филиал Девятого Управления КГБ, насчитывавший в Ленинграде более ста сотрудников. В отличие от недалекого, завистливого Мануйлова, Соколов обладал некоторыми светскими манерами. Как бывший начальник горотдела КГБ в Сочи, много лет прислуживавший высокопоставленным лицам, в том числе членам Политбюро, он считался приближенным Носырева, обеспечивая его семью и некоторых секретарей обкома импортными подарками, свежей рыбой и дичью.

Наиболее привлекательной фигурой казался Анатолий Курков — эрудированный, самостоятельно мыслящий офицер, курировавший работу райаппаратов города и архивов. Когда-то он, как и я, попал в список лиц, проходивших по делу Носенко. Ему даже вкатили выговор за предосудительные связи в Москве. Однако благодаря своим способностям он сумел преодолеть нелюбовь к себе кадров. В конце 70-х годов его направили в советнический аппарат в ГДР, но там он не понравился дочери зампреда КГБ Цинева — тем, что осмелился на званом обеде произнести тост на немецком и блеснуть цитатой из Гете. По причине неприязненного отношения Цинева Куркову много лет не присваивали генеральского звания. Он получил его только став начальником ленинградской милиции в 1984 году, куда его направили на «укрепление» руководства по рекомендации КГБ.

Пятый заместитель Александр Корсаков представлял, как и Блеер, партийный аппарат. Он тоже был выдвиженцем Романова и нередко докладывал ему о

состоянии кадровой работы в Управлении за спиной Носырева.

Приступив к исполнению своих обязанностей, я начал знакомиться с переданным в мое подчинение оперативным составом. Из почти двух десятков районов области наибольший интерес представляли пограничный Выборг, Сосновый Бор, Гатчина и Кириши, где имелись крупные энергетические и научные объекты, Тихвин с размещенным на его территории огромным филиалом Кировского завода. Проблемным считался город Сланцы из-за имевших место в прошлом забастовок на его шахтах. В остальных районах превалировало сельское хозяйство. Некоторое исключение представляли пригороды: Пушкин и Петродворец относились к излюбленным объектам показа иностранным гостям, а приморский Сестрорецк, где мне выделили государственную дачу, издавна был освоен ленинградцами как место летнего отдыха и развлечений.

Начальников вверенных мне районных и городских отделов области я пригласил на ознакомительную беседу, предварительно прочитав их отчеты за 1979 год. Без преувеличения, я был потрясен убожеством их существования, отсутствием реальных дел и перспектив их заведения. Мышиная возня — так для себя оценил я их усилия по «контролю» за оперативной обстановкой на местах. Ни одного сигнала по шпионажу или антигосударственной деятельности. Сплетни, пересуды, жалкие потуги выдать болтунов за политических противников, доносы на сослуживцев — вот к чему сводились заботы моих подопечных. И не их в том была вина. Оторванные от оперативных реалий, не имея представления о методах и тактике работы западных спецслужб, они варились в собственном соку,

издерганные бесконечными понуканиями Носырева разоблачать шпионов и антисоветчиков. Да и сам Носырев в известном смысле был послушным проводником генеральной линии руководства КГБ, искавшего шпионов, вредителей и диссидентов в каждом населенном пункте Советского Союза. Меня особенно умилял повторявшийся каждый год клич искать агентов-нелегалов, заброшенных с Запада и осевших в сельской местности для того, чтобы в день «Х», под которым подразумевался канун ядерной войны с Америкой, выступить в качестве некоей подрывной силы в тылу советских войск. Поистине, в инструкциях КГБ на этот счет было что-то параноическое, не говоря уж о заскорузлости оперативного мышления, отражавшего взгляды эпохи второй мировой войны.

Единственная линия работы областных аппаратов, приносившая какой-то навар, имела отношение к деятельности незарегистрированных церковных сект. Всего в Ленинградском регионе насчитывалось около пяти тысяч сектантов, из которых почти восемьсот человек отказывались признавать существующий порядок взаимоотношений с государственными органами. Ими-то и занимались чекисты, засылая в среду верующих своих агентов, вербуя осведомителей и провокаторов.

Кое-какие полезные сведения поставляла агентура КГБ, работавшая на объектах промышленности, транспорта, науки. Их донесения касались нарушений технологических процессов, фактов приписок и халатности со стороны администрации, игнорирования правил противопожарной безопасности. При нашей извращенной системе, скрывающей от самой себя

собственные пороки, КГБ выглядел как страж порядка и дисциплины в экономической жизни страны.

Как и весь аппарат КГБ в целом, райгорподразделения на местах имели двойное подчинение. По оперативной части они докладывали в Управление КГБ, об обстановке в районе и настроениях населения — первому секретарю райкома или горкома КПСС. Не зная этого порядка, я поинтересовался у Носырева, как следует строить отношения с советской властью — председателями исполкомов. «Никак, — отрезал Носырев. — Все вопросы решать только с первыми секретарями. А водку пить можно с исполкомовскими работниками».

Со временем я убедился, что там, где районные начальники КГБ не перечили первым секретарям, не отказывались от застоля, а то и организовывали им охоту и рыбалку, в них души не чаяли, давали хорошие квартиры, просили не задерживать с присвоением звания. Фактически на местах сложилась иерархическая каста, возглавлявшаяся партийным лидером района, начальником отдела КГБ, председателем исполкома, начальником милиции и прокурором.

Отдел внутренней безопасности, работу которого мне поручили контролировать, существовал в Управлении всего несколько лет. В известном смысле он выполнял роль придатка отдела кадров, ибо проверял соответствие поведения технического персонала Управления нормам и правилам, установленным для вольнонаемных служащих, сержантов и прапорщиков КГБ. В случае сигналов о нарушении этих правил офицерами отдел имел право вести их проверку с санкции КГБ СССР. Для этих целей он вербовал агентов

среди собственных служащих, мог использовать наружное наблюдение и подслушивающую технику. Кураторство этим отделом позволило мне быстро узнать обстановку внутри Управления, многие подноготные стороны жизни его сотрудников.

Некоторый интерес представило участие в работе комиссии по выездам за границу. Традиционно ее возглавлял второй секретарь обкома. На правах членов в ней заседали руководители комсомола, профсоюзов, зав отделом международных связей обкома. По всем кандидатам на выезд за границу, будь то турист или в составе какой-нибудь делегации, доклад о наличии материалов, препятствующих выезду, или отсутствии таковых делал представитель КГБ. При решении вопросов о частных выездах право высказать свою точку зрения предоставлялось также начальнику ОВИРа. Хотя теоретически все вопросы на комиссии должны были решаться большинством голосов присутствующих, на деле их решение целиком зависело от доклада и мнения КГБ. Накануне каждого заседания комиссии мне приходилось совместно с работником архивно-учетной службы Управления рассматривать сотни дел на советских граждан и определять свою позицию относительно возможности их выезда за пределы страны.

Прошло около месяца со дня моего прибытия в Ленинград. Я по-прежнему жил в гостинице обкома. Моя зарплата по сравнению с московской увеличилась на пятнадцать рублей, но этой прибавки не хватало на то, чтобы покрывать стоимость гостиничного номера. Блеер предлагал мне временно поселиться в четырехкомнатной конспиративной квартире, считавшейся расшифрованной и подлежащей замене на новую. Я ухватился за этот вариант и через день-другой переехал туда. Затем на

выходные дни я съездил в Москву проведать близких. После моего возвращения Носырев созвал совещание заместителей с участием секретаря парткома Управления. Он сразу взял быка за рога: «Сегодня я хочу поговорить о поведении товарища Калугина. Не успев еще поработать, он нам устроил такие закрутки, что я уже не знаю, кто здесь начальник Управления. Ездит в Москву без разрешения, устроился жить на конспиративной квартире. От жилья, которое ему предлагают, нос воротит. Предлагает выступить с лекцией на семинаре без моего ведома. Это что же делается? Кто в Управлении начальник? Мне говорили, что и в ПГУ вы проявляли недисциплинированность. У нас эти номера не пройдут».

Я слушал молча, опустив голову, и мной овладевало бешенство: «Этот старый хрыч разговаривает со мной как с мальчишкой. Как он смеет пороть чушь в присутствии всех, он специально хочет унижить меня. Но не на того нарвался!» Я едва сдерживал себя, но, когда Носырев кончил свой монолог, улыбнулся и сказал ему: «Даниил Павлович, у меня, как и у всех присутствующих, нет сомнений относительно того, кто здесь начальник. Все ваши претензии основаны на недоразумении. О поездке к жене я поставил в известность Блеера, он же рекомендовал мне занять пустующую консквартиру. Разве вы не доверяете своему первому заместителю? О лекции вопрос согласован с методической комиссией. А что касается предлагавшихся мне вариантов жилья, то я не оперуполномоченный, который рад любой подачке. Я возьму только ту квартиру, которая мне понравится». Я жестко посмотрел в глаза Носыреву, и он, кажется, понял, что со мной лучше не связываться. По крайней

мере с того разговора тон его обращения со мной стал предельно вежливым.

Я вышел с совещания в ярости. У меня было желание тут же написать рапорт Андропову с просьбой разрешить мне уехать из Ленинграда. В тиши своего кабинета я погрузился в размышления о том, что можно предпринять в связи с создавшейся ситуацией. Очевидно, Носырев и дальше попытается третировать меня, изводить мелкими укусами. Сгибаться перед начальством я не умею и не могу. Значит, пойду на открытый конфликт.

Ход моих мыслей прервал неожиданно вошедший адмирал Соколов. С первых дней знакомства я чувствовал к нему антипатию, и сейчас его вторжение было совершенно некстати.

«Ну, что приуныл, — участливо сказал он, вынимая из кармана бутылку коньяка. — Плюнь ты на него, он всем нам нервы портит. Прослышал от кого-то, что тебя прочат ему на смену, вот и нервничает. Не расстраивайся. Мы все под его пятой живем. Как он надо мной издевается, ты даже не представляешь! А я ему по-флотски: есть, товарищ генерал-лейтенант! Будет сделано, товарищ генерал-лейтенант! Он это любит. Мы же пришли из военной контрразведки. Там не рассуждают. Яволь, и все!»

Так, подливая в стакан коньяк, успокаивал меня Соколов, советовал сходить с утра к Носыреву, поговорить со стариком: он ведь тоже не чурбан. «Между прочим, — продолжал адмирал, — тут всякие сплетни ходят о причинах твоего ухода из ПГУ. Но я-то знаю, что тебя убрали из разведки из-за дела «Кука», которого ты

пытался защищать. Тебя подозревали в связи с ЦРУ, а его считали твоим соучастником».

Как молния ударили меня слова подвыпившего коллеги. Откуда он знает «Кука»? В Москве с этой историей знаком очень ограниченный круг лиц. Значит, не зря вспоминал Андропов его имя на встрече со мной. Но при чем тут ЦРУ? Что за идиотизм?

Я испытывал чувство благодарности к Соколову за то, что он пришел ко мне в тяжелую минуту, пролил свет на мучившие меня вопросы. И все же... Трудно описать состояние человека, лишенного возможности что-то опровергнуть за отсутствием каких-либо обвинений, что-нибудь объяснить за отсутствием каких-либо вопросов, оправдаться за отсутствием к нему претензий. И при этом надо работать, делать вид, что оснований для беспокойства нет, и сохранять внешнюю бодрость и жизнерадостность.

Но не эти ли чувства испытывали миллионы моих соотечественников в тридцатые — пятидесятые годы? Разве не об этом же писали узники, вырвавшиеся из застенков НКВД — МГБ? Еще в Нью-Йорке я прочитал «Слепящую тьму» Артура Кестлера, и в памяти сохранились нравственные терзания комиссара Рубашова, свято верившего партии и ее вождям. Революция пожирала своих детей. Обо всем этом было известно из истории, но я изучал ее как некую абстракцию. Она вершилась давно, далеко и никак меня не затрагивала. Теперь я на собственном опыте ощутил частицу того, что пережили миллионы, почувствовал сопричастность к их судьбам, состоя в той самой организации, на совести которой лежала ответственность за содеянное.

Многие задаются вопросом, как человек, выращенный и воспитанный системой, получивший от нее, казалось бы, все, порывает с ней, ставя под удар свое благополучие и, может быть, жизнь, благополучие и покой своих близких.

Для того, чтобы кардинально изменилось мировоззрение, необходимо не просто накопление фактов, могущее со временем подтолкнуть к решительному шагу. Как зачатие не зависит от количества просмотренных порнографических фильмов или книг, так и революция сознания не может произойти в результате чтения марксистской или, наоборот, антикоммунистической литературы. Нужен личный опыт сопереживания. Преломленные через личный опыт национальное унижение, ущемление чести и достоинства личности поднимают и массы, и отдельных индивидуумов на борьбу за лучшую долю.

Так случилось и со мной. Не окрик начальника, не обида, но осознание того, что система изначально порочна, — вот какие мысли и настроения окрасили первые месяцы моего пребывания в Ленинграде. И ничто уже не могло поколебать меня — ни избрание депутатом областного совета, ни выдвижение в партийную номенклатуру — кандидатом в члены обкома КПСС.

Я посмотрел на работу Управления как бы со стороны. Чем занимались тысячи его сотрудников, офицеров и гражданских служащих? Они обеспечивали безопасность государства, благоденствие общества? Ловили шпионов и вредителей, врагов советской власти? Да нет же! Они, возможно, даже не сознавая этого, трудились во имя увековечения господства партийной верхушки. Они защищали и охраняли

государство-империю, а не народ — этих букашек, челядь, призванную обслуживать своих господ. Ни одного шпиона за двадцать лет Управление не поймало, хотя израсходовало десятки миллионов рублей на поиски этих неуловимых фантомов. Правда, дважды прозвучали фанфары побед: схватили с поличным американских дипломатов-разведчиков и их агентов — советских граждан. Но в обоих случаях агенты были подставными фигурами, они работали на КГБ, а потом уже на ЦРУ, и все действия ЦРУ с самого начала находились под контролем КГБ. Изобличить вредителей тоже не удалось, несмотря на постоянные напоминания из Москвы искать в каждом чрезвычайном происшествии следы умышленных действий.

В одном чекисты преуспевали всегда — в разоблачении врагов советской власти. Используя всю мощь своего аппарата, тысячи «помощников»-осведомителей, технику подслушивания, наружное наблюдение, Управление прочесывало все слои советского общества, но в первую очередь творческую и техническую интеллигенцию — потенциальных носителей чуждых взглядов и заразных мыслей.

Можно назвать множество фамилий видных ленинградских ученых, писателей, музыкантов, художников, изучавшихся КГБ на предмет выявления их политических настроений и образа жизни. Наверное, проще было бы назвать тех, кем КГБ не интересовался. И все же... дирижеры Мравинский и Темирканов, академики Лихачев и Алферов, деятели театра Товстоногов, Виноградов и Эйфман, писатель Гранин... Эти люди известны всему миру, и все они не в тридцатые —

пятидесятые годы, а в брежневские времена находились «под колпаком» КГБ.

Огромную «любовь» чекисты Ленинграда испытывали к спортивным событиям. В каждую выезжающую за границу группу спортсменов включался оперативный работник. Международный велопробег, организованный в 1983 году под эгидой Советского комитета защиты мира, не только обслуживался несколькими сотрудниками КГБ — в состав велосипедистов сумели ввести умеющих крутить педали чекистов, чем Управление очень гордилось. Когда в июле 1985 года в Ленинград прибыла национальная сборная США по волейболу для участия в товарищеском матче со сборной СССР, чекисты «обслуживали» ее так, как будто она вынашивала террористические намерения. На том же уровне обеспечивалось наблюдение за группой американских телевизионных комментаторов и операторов компании Си-би-эс, приехавших из Финляндии для освещения матча.

А какой ажиотаж царил в Управлении, когда проводились «марши мира», заорганизованные до абсурда обкомом, или в порту пришвартовывалась яхта «Гринпис» с не признанными советскими официальными органами сторонниками мира с Запада. Сам Носырев вызывал «на ковер» зазевавшихся сотрудников и требовал доложить, почему разбежались по городу члены экипажа «Гринписа» и не проводят ли они агентурных операций с ленинградскими диссидентами.

Мое регулярное общение с пограничниками убедило, что основной объем их работы заключался в том, чтобы не допустить побега через границу собственных граждан. Иностранцы перелезали через

колючую проволоку очень редко, да и то в большом подпитии.

Повседневная жизнь Управления складывалась не только из проработки сотен дел, находившихся в его производстве, но и в наблюдении за обстановкой в городе и области. Обычный день Управления включал в себя текущие события, требовавшие оперативного реагирования. Типичная сводка за сутки выглядела следующим образом:

— в районе завода «Большевик» при производстве земляных работ обнаружено два артиллерийских снаряда калибра 122 мм. Выставлен милицейский пост, вызваны пиротехники, прибывшие через шесть часов. Ими установлено, что из двух обнаруженных предметов один — снаряд, другой — болванка. Снаряд увезен на обезвреживание.

— В Красном Селе обнаружена противопехотная мина. Выставлен милицейский пост, вызваны саперы.

— На заводе штурманских приборов «Азимут» разлилась азотная кислота из цистерны гальванического цеха. Причина — разъедание вентиля бака. Вытекло 150 литров кислоты. Пострадавших нет.

— На хладокомбинате произошла утечка аммиака в количестве 60 тонн из-за повреждения трубопровода. На место происшествия выехали сотрудники КГБ, милиции и санэпидемстанции.

— В больницу г. Светогорска поступило 10 больных с подозрением на легочную чуму. Информирован первый секретарь Выборгского горкома КПСС. В больницу выехал работник КГБ.

— На объединении «Ленинец» проводятся учения по линии гражданской обороны.

Регистрацией событий и формальным участием в том или ином мероприятии дело, разумеется, не ограничивалось. Руководство требовало творческого подхода к решению стоящих перед Управлением задач. И снизу шли инициативные предложения.

Проникновение западной массовой культуры, увлечение молодежи рок-музыкой, нетрадиционной живописью вызывало беспокойство в обкоме. Идеиное здоровье ленинградцев подвергалось постоянным испытаниям и воздействию извне. Требовались срочные меры, и чекистов просили дать предложения. Вопреки ожиданиям обкома, Пятая служба высказалась не за ужесточение санкций против поклонников Запада, а всего лишь за объединение всех неформальных писателей, музыкантов и художников под одной крышей, с тем чтобы облегчить КГБ и соответственно обкому управление процессами, проходящими в среде неформалов. В результате этой инициативы через агентуру Управления был сколочен первый в Ленинграде «рок-клуб», затем отдельным сборником «Круг» в государственном издательстве опубликована художественная проза и стихи «непризнанных» писателей, состоялось несколько выставок самодеятельных живописцев.

Хотя я не имел прямого отношения к надзору за деятельностью творческой интеллигенции в городе, мой интерес к ней был известен многим сотрудникам Управления и они нередко обращались ко мне за консультациями. Однажды мне принесли записку, адресованную в обком, с предложением не выпускать в

загранкомандировку дирижера Темирканова в связи с его намерением остаться на Западе. У меня вызвала сомнение правдоподобность этого сообщения, так как Темирканов отличался патриотическими настроениями, несмотря на неудовлетворенность положением театрального дирижера.

«Откуда у вас эти материалы?» — спросил я работника Пятой службы. «Из сводки подслушивания его разговора с художественным руководителем театра», — последовал ответ. Я предложил принести мне сводку, чтобы самому разобраться. Из пространного документа объемом не менее пятидесяти страниц выяснилось, что Темирканов во время застольной беседы со своим сослуживцем горько жаловался на задержку с решением вопроса о его назначении на должность дирижера Ленинградской филармонии вместо болеющего Мравинского. «Будь я на Западе, — говорил Темирканов, — меня бы приглашали на работу лучшие оркестры мира, а здесь — полнейшая бесперспективность. Вот поеду в Лондон и там сразу получу приличное место. Не хочу больше унижаться перед местными чиновниками». Эта фраза, по-видимому, и легла в основу докладной о нежелательности выезда Темирканова на гастроли в Англию. Казалось бы, все ясно — намерение остаться на Западе есть...

Я читал документ дальше. Через десять-пятнадцать страниц Темирканов возвращается к вопросу о поездке в Лондон и говорит: «На кой черт мне сдался этот Лондон! Ну, куплю там пару хороших ботинок, еще что-нибудь, но ведь дело не в этом! Простор нужен для творчества, раскрепощенность!» Вновь он сокрушается по поводу задержки с освобождением Мравинского от должности...

Я пригласил работника Пятой службы к себе, вернул ему документы и отчитал за попытку ввести обком партии в заблуждение относительно истинных намерений Темирканова.

Освоение премудростей внутренней контрразведки не заняло у меня много времени. С точки зрения решения оперативных вопросов я был наделен весьма большими полномочиями, имел право давать санкции на заведение дел по проверке советских и иностранных граждан, подслушивание их телефонов и квартир, перлюстрацию корреспонденции, организацию визуального наблюдения, тайное проникновение и обыски в жилищах проверяемых лиц.

Через полгода после прибытия в Ленинград я получил просторную квартиру в доме на набережной Невы, напротив музея — домика Петра I. Моими соседями оказались секретари обкома, видные деятели культуры, начальники милиции, погранвойск и сам Носырев. Через двор проживали Григорий Романов и Юрий Соловьев, чуть поодаль — председатель горисполкома Лев Зайков.

Моя дача в Солнечном тоже располагалась рядом с дачами ленинградской партийной элиты. В трехстах метрах плескались волны Финского залива, и я взял за правило каждое утро с мая по октябрь проплывать по полкилометра в бодрящей воде.

Постепенно налаживался быт, благоустраивалась и обставлялась новая квартира. Стареющие отец с матерью, сменившие в свое время ленинградскую площадь на Подмосковье, теперь часто жили у меня. Отец очень волновался из-за моего перемещения по

службе и никак не мог понять, что стоит за этим решением.

В 1981 году из Москвы донеслись слабые сигналы, свидетельствовавшие о возможных переменах в моей судьбе. На конкурсе учебных пособий ПГУ моя монография «Внешняя контрразведка», написанная в соавторстве с бывшими коллегами, получила первую премию, и я был отмечен, наряду с гонораром, грамотой Крюкова. В то же время МВД Болгарии наградило меня медалью «100 лет со дня освобождения от оттоманского ига». Вручили мне медаль и от имени МВД Монголии.

Сохранив пропуск в здание ПГУ в Ясенево, я как-то, будучи в Москве, зашел к Крюкову. Встретил он меня сдержанно-приветливо. «Потерпите еще немного, — сказал он в ответ на мой вопрос о сроках возвращения в Москву. — Я вам обещаю, что минимум через пару лет вы снова будете работать в разведке». — «Pazienza, pazienza!!» — воскликнул я, горько усмехаясь. «Что это означает?» — испуганно дернулся Крюков. «По-итальянски — значит «терпение». Но помните вещице слова: «Русские медленно запрягают, но быстро ездят», — ответил я. «Вы что, итальянский знаете? — насупился Крюков. — А чьи это слова вы цитировали?» — «Итальянского я не знаю, так, отдельные выражения, а слова эти, кажется, принадлежат Бисмарку».

Мы распрощались сухо, и я не видел его с той поры много лет.

Между тем в Центре творилось что-то непонятное. Панический циркуляр о возможном ядерном апокалипсисе, разосланный за подписью Андропова во все органы КГБ, вызывал тревогу и недоумение. «Никогда со времени окончания войны, — говорилось в

циркуляре, — не была международная обстановка столь взрывоопасной, как в настоящее время...»

Странно. По-прежнему внимательно слушал я западное радио, регулярно читал американскую периодику, но не отмечал ничего, оправдывавшего алармистские настроения Центра. Они, скорее всего, отражали маразматическое состояние умов нашего руководства, его неспособность справиться с кризисными явлениями в жизни страны и напуганность речами президента Рейгана.

Неожиданно Андропов переместился на работу в Секретариат ЦК. Для многих отстранение его от КГБ выглядело как признак возможного скорого ухода с политической арены. Назначенный на его место Виталий Федорчук пользовался в КГБ репутацией костолома, грубого, чванливого администратора. Он не замедлил проявить себя в этом качестве вскоре после занятия председательского кресла на Лубянке. Из Центра посыпались написанные топорным, жестким языком приказы и указания. В них не содержалось ни грана нового, но подавались они чуть ли не как откровения Иоанна Богослова. Чекистские коллективы бурлили. Я же, наоборот, погружался в состояние безразличного равнодушия к происходящему.

Смерть Брежнева вывела меня из оцепенения. Я воспринял избрание Андропова руководителем партии и государства с подъемом, но радость моя была скоротечна: через неделю скончался от инсульта отец. Я прилетел из Ленинграда похоронить его в московской земле, к которой он так привязался. Он до последних дней так и не примирился с моим отъездом из столицы...

В Ленинграде возвышение Андропова возымело оздоровляющий эффект. Носырев стал ко мне более чуток и внимателен, в обкоме на меня вновь начали посматривать с повышенным интересом. За спиной я слышал разговоры: «Ну, теперь Носыреву недолго осталось сидеть в начальниках. Калугин подпирает его».

Ранее мне эпизодически поручали организацию встреч высокопоставленных гостей из социалистических стран. Теперь это превратилось в обыденное явление. От имени руководства Управления я принимал и развлекал министров внутренних дел Вьетнама, Кампучии, Лаоса, Южного Йемена, начальников разведки Кубы, Перу. Мне понравился министр внутренних дел Никарагуа Томас Борхе, с которым у меня установился теплый, дружеский контакт. На обеде в его честь я предложил тост за коммунистов-единомышленников, провоцируя тем самым Борхе на ответную реакцию. К моему удивлению, он не только поддержал тост, но и заявил о стремлении его ведомства рука об руку сотрудничать с КГБ. Позже, как мне сообщили из Москвы, он поставил вопрос о направлении меня советником КГБ в Манагуа, но сменивший Федорчука Виктор Чебриков это предложение не поддержал.

К осени на горизонте забрезжили радужные перспективы. Меня пригласили на учебу в Москву и поручили возглавить группу из сорока заместителей председателей республиканских КГБ и начальников областных управлений. Продолжавшиеся месяц занятия позволили ознакомиться с состоянием дел в нашей экономике, юриспруденции, общественных науках, послушать начальников основных оперативных подразделений КГБ об обстановке в стране и вытекающих из нее задачах КГБ. Никаких видимых

сдвигов ни в одной из отраслей знаний, равно как и ни в одной сфере деятельности органов госбезопасности, я не ощутил. Все шло по старой, накатанной колее, и, хотя приход Андропова к власти породил определенные надежды, в жизни нашего общества принципиально ничего не изменилось.

За неделю до конца занятий меня пригласил заместитель начальника управления кадров, курировавший учебные заведения КГБ. Плотнo закрыв дверь, он усадил меня в кресло и вкрадчивым голосом начал уговаривать перейти на работу в Высшую школу КГБ: «У вас есть преподавательский дар. Люди вас слушают. Ваш запас знаний позволит быстро защититься и получить звание профессора. Разговор сугубо конфиденциальный: я предлагаю вам возглавить кафедру в Высшей школе».

Я оторопело смотрел на него и не мог понять: неужели меня послали на курсы руководящего состава для того, чтобы потом предложить перейти на преподавательскую работу?

Несмотря на мягкое, но настойчивое давление, я предложение отклонил. Вечером позвонил Филиппу Бобкову, назначенному первым заместителем Председателя КГБ, и попросился на прием. Он принял меня на следующий день. В длительной дружеской беседе я, сославшись на обещание Андропова не задерживать меня в Ленинграде более двух лет, высказал пожелание встретиться с Председателем Чебриковым. Бобков обещал переговорить с ним на эту тему.

Уже из Ленинграда я справился, как обстоят дела с моей просьбой. «Чебриков готов встретиться с тобой, —

сказал Бобков, — но только к концу года. Позвони в декабре». Я позвонил в январе. «Подожди еще немного. Тут сейчас куча проблем, не до этого», — сухо ответил Бобков. «Как долго ждать?» — спросил я настойчиво. «Не знаю», — буркнул Бобков и повесил трубку.

В феврале скончался Андропов. К власти пришел старый брежневский клевет Черненко. Агент Ленинградского КГБ, вернувшийся из Москвы вскоре после смерти Андропова, сообщал: «в 1-м Медицинском институте, среди тех, кто связан с 4-м Главным управлением Минздрава СССР, идут разговоры о загадочности смерти Генерального секретаря. По мнению ряда специалистов, лечившие Андропова на ранней стадии болезни, умышленно вели неправильный курс, что впоследствии привело к его безвременной кончине. На более поздней стадии ведущие специалисты страны были бессильны что-либо сделать, несмотря на все предпринимавшиеся ими меры. Люди, «залечившие» Андропова, связаны с группировкой (название условное) некоторой части партийных аппаратчиков в Москве, который пришлось не по вкусу позитивные изменения и реформы, начатые Андроповым, в частности намерение отменить «кремлевский паек», призывы к соблюдению партийными работниками личной скромности, ленинских норм. Некий бывший ответственный сотрудник Госплана СССР подтвердил изложенное выше и добавил, что Андропова «убрали».

Мне трудно было оценить достоверность этих слухов. Да, Андропов напугал многих. Его жесткость пришлась не по нраву привыкшей к вольготной жизни номенклатуре. Вместе с тем разговоры о его физическом устранении напоминали образ мышления сталинской эпохи, когда видели заговорщиков, отравителей и

шпионов за каждым углом. У меня, однако, не появилось, как в прошлом, желания исследовать вопрос и хотя бы доложить сообщение агенту руководству. Апатия, полнейшее равнодушие овладели мной. До пенсии оставалось еще пять лет, но работать мне больше не хотелось.

В тот год я отметил свое пятидесятилетие. В Ленинграде меня осыпали положенными в таких случаях подарками и грамотами. Одна из них, подписанная Носыревым, гласила: «...на каком бы посту Вы ни находились, Вас всегда отличали беззаветная преданность делу партии, коммунистическая убежденность и высокий патриотизм. Ваши заслуги в деле обеспечения защиты государственных интересов высоко оценены Советским правительством и руководством КГБ. Ваши глубокие знания, опыт и профессионализм хорошо известны ленинградским чекистам, среди которых Вы пользуетесь авторитетом и уважением...» В адресе, подписанном начальником войск Северо-Западного пограничного округа генерал-лейтенантом Александром Викторовым, говорилось: «...Вы уделяете исключительное внимание укреплению охраны границ нашей Родины. Ваша многолетняя плодотворная совместная работа с пограничниками снискала Вам большое уважение в войсках...»

Да, с пограничниками у меня действительно установились добрые отношения. Я часто бывал на их заставах, знакомился с жизнью солдат и офицеров, ходил с ними в баню, на охоту. Общение с простыми, оторванными от многих житейских удобств и радостей людьми, стойко переносившими тяготы службы,

облегчало мое существование, отвлекало от грустных мыслей.

Как-то я прибыл на заставу в районе советско-финской границы с намерением порыбачить и поохотиться. Встретивший меня офицер предупредил: этот участок отведен специально для товарищей Зайкова и Соловьева. «Это что же? Земельные наделы руководству выделяете?» — спросил я. «И каких же размеров их угодья?» — «Тысячи три гектаров будет, — ответил пограничник. — У них своя речка с мостом. Там прекрасная щука берет на блесну. Часть берега залива, примыкающая к Финляндии, островок, где избушка для них построена. Лосей мы здесь прикармливаем, чтобы важные гости хорошо развлечься могли. Иногда и Носырев сюда приезжает помочь организовать охоту. А так, чаще бывает адмирал Соколов. Он рыбу заготавливает для начальства и лосятину. Рыбу частично засаливает в бочках, так что и на зиму хватает».

Теперь стало понятно, почему Соколов упорно отговаривал меня от поездки в Кировскую бухту. Названная именем бывшего вожака ленинградских коммунистов, она превратилась в личный заповедник его преемников, недоступный для посторонних. Соблюдая иерархический порядок, Романов не пожелал якшаться с председателем горисполкома Львом Зайковым на одной территории. Он выбрал для себя угодье в Сосново, где ему специально держали оленей для отстрела, оградили участок реки Вуоксы для ловли лосося. Если в Кировский бухте покой мэра города и первого секретаря горкома Соловьева охраняли пограничники, то в Сосново трудилась целая бригада сотрудников охраны 9-й службы КГБ.

Я уже ничему не удивлялся. Полная оторванность Романова от реальной жизни, чванливая спесь, упование на голое администрирование снискали ему дурную славу в Ленинграде. Его не любили и презирали. О нем рассказывали анекдоты и похабные истории. А он действительно имел две тайные квартиры в городе и номер люкс в партийной гостинице рядом со Смольным. За ним было закреплено три государственных автомашины и еще одна специально для его жены. Из «Голубого зала» Гостиного двора ему привозили на дом весь ассортимент импортных товаров на выбор. На юбилей по случаю 60-летия партаппарат подарил ему часы в малахите стоимостью в несколько тысяч рублей. За казенный счет преподнес ему дар от имени Управления и Носырев — вазу, изготовленную по спецзаказу на ленинградском фарфоровом заводе.

Мне редко приходилось видеться с Романовым, но всякий раз это было связано с обеспечением его поездок по области и возлияниями по случаю прибытия высокого гостя в тот или иной район. Однажды я не поехал на выпивку, и меня потом разыскивал заворготделом обкома Павел Можаяев. Как мог Калугин уехать с ответственного мероприятия? «Григорий Васильевич интересовался, почему Калугин не явился на товарищеский ужин», — говорил приближенным Можаяев, ставший впоследствии вторым секретарем обкома, а в конце 80-х годов послом СССР в Афганистане. Их беспокоило отсутствие КГБ. Они знали, что, когда КГБ рядом, на душе спокойнее.

А я долго не знал, что Романов страдает хроническими запоями, иногда на неделю выпадает из поля зрения «по болезни». Все вокруг делали вид, что ничего не знают. И даже Андропов, брезгливо относившийся к пьяницам, по-видимому, не был

осведомлен об этом, когда назначал Романова секретарем ЦК КПСС, ответственным за оборонную промышленность.

Участник Отечественной войны, служивший шифровальщиком в штабе армии, Романов в мирное время получил специальность судостроителя, но почти сразу ушел на работу в партийный аппарат, где вырос до первого секретаря Кировского райкома партии. Далее его карьера развивалась по восходящей, но почти на всех этапах перекрещивалась с деятельностью органов госбезопасности и оборонных предприятий. Частым гостем Романова был министр обороны маршал Устинов, с которым Романов нашел общий язык, частично, видимо, сближала их и тяга обоих к рюмке.

Пагубное пристрастие Романова выявилось совершенно случайно. В отсутствие Носырева он позвонил в Управление и попросил меня навести порядок на хлебозаводе. Я никак не мог понять из разговора, чего он от меня хочет и какие меры должен принять КГБ на хлебозаводе. Тем не менее пообещал разобраться. Когда появился Блеер, я поинтересовался, что мог иметь в виду Романов. «Ах, — махнул рукой Блеер. — Он просто опять пьян. Не обращай внимания. Завтра он уже забудет, о чем просил». Так раскрылась тайна двора: король оказался не столько гол, сколько пьян. Неприглядное личное поведение Романова, дискредитировавшее его как коммуниста и руководителя, уживалось в нем с честолюбием и ненасытным желанием увековечить себя в истории. По его инициативе была начата «стройка века» — возведение дамбы для защиты Ленинграда от наводнений. Несмотря на возражения специалистов, игнорируя данные предпроектных исследований, Романов

протокнул через ЦК и Совмин проект строительства дамбы стоимостью свыше миллиарда рублей.

В 1980 году ко мне обратилась группа ученых с просьбой через возможности КГБ аннулировать решение высших инстанций. С цифрами в руках они доказывали, что перекрытие Финского залива превратит акваторию Невской губы в гниущее болото, насыщенное зловонными испарениями, Ленинград станет очагом инфекционных и канцерогенных заболеваний. По состоянию на 1976 год содержание ртути в Невской губе превышало допустимую концентрацию в 60 раз, нефтепродуктов — в 60-440 раз, солей тяжелых металлов — в 30-250 раз, фенолов — в 100–400 раз. С этими выкладками я пошел на доклад к Носыреву. Я не успел вытащить свои записки, как он, махнув рукой, прервал мой доклад: «Не лезь не в свое дело, Григорий Васильевич принял решение, и оно окончательно. Нечего слушать всяких крикунов».

Полнейшее отсутствие контроля как снизу, так и сверху порождало монументальную безответственность всего партийно-советского руководства города и области. Под статью Романову был и Лев Зайков, принимавший деятельное участие в подготовке проекта дамбы и неустанно аплодировавший «творческим инициативам» первого секретаря.

Романов потянул за собой в партийный аппарат старых дружков, помогавших ему пробиваться в люди. Среди них оказался бывший директор универмага Геннадий Букин, ставший со временем заведомо обкома и заместителем председателя горисполкома. Ленинградская милиция как-то пыталась подобраться к Букину, зная о его темных делишках. Даже «Правда»

писала о нем как об укрывателе преступного элемента в ленинградской торговле, но всякий раз этому махровому хищнику, благодаря покровительству Романова — Зайкова, удавалось уйти от наказания. В Ленинграде шутили: Букин тратит ежегодно миллион на обеспечение собственной безопасности. Даже госбезопасности он не по зубам.

Другой «выпускник» романовско-зайковской «школы», заворотделом обкома Крихунов, пользуясь особым расположением Зайкова, за несколько лет сменил три квартиры, отремонтировав последнюю со сметной стоимостью около 20 тысяч рублей — по тогдашнему-то курсу! — за государственный счет. И это все делалось в городе, где миллионы людей все еще обитают в коммунальных квартирах, десятилетиями стоят в очереди на получение жилья.

Недаром говорят, что рыба гниет с головы. Громадный, с бесцветными навывкате глазами, Зайков отличался от своего патрона, пожалуй, только ростом. Сидя в президиумах, Романов подкладывал под себя подушку, чтобы не выглядеть карликом рядом с мэром города. Они по необходимости часто встречались в Смольном и потом, осоловелые, поздно вечером возвращались домой.

Зайков имел свои страстишки, одна из которых заключалась в отлавливании автомобилистов, превышавших скорость на дорогах. Однажды он чуть не загнал в кювет владельца «Москвича» за недозволенный акт обгона ленинградского начальства, приказал своему шоферу снять номера с машины незадачливого водителя и, торжествующе погрозив тому пальцем, предложил получить номера в милиции через месяц-два.

Как-то вечером я ехал с работы на дачу. Впереди со скоростью 70–80 километров в час шла старая «Чайка» с неизвестным мне номером. Моя машина спокойно обошла ее. Буквально через минуту с включенной сиреной «Чайка» на огромной скорости пронеслась мимо. Из окна ее, прикрытого черной занавеской, кто-то погрозил мне кулаком. Изумленный, я засмеялся и спросил своего шофера, кто это мог быть. Он пожал плечами: «Мало ли дураков на свете». В тот же вечер мне позвонил дежурный Управления КГБ и поинтересовался, ехал ли я в своей «Волге» по Приморскому шоссе два часа назад. Я в свою очередь спросил, в чем тут дело. «С вами хотел поговорить помощник председателя горисполкома», — сказал дежурный. «Дайте ему номер моего телефона, — предложил я. — Пусть позвонит». Звонка в тот вечер не последовало. Он прозвучал в полдень следующего дня. В трубке загремел бас Зайкова: «Вы вчера выполняли оперативное задание, обогнав мою машину на шоссе? Нет? А куда же вы гнали, разве не видели, что председатель едет? Не знали? Номера вам были незнакомы? Да, у меня есть и другие номера, но вы же видели, что идет «Чайка»? Не уважаете вы председателя, не уважаете. Ваш начальник такого себе бы не позволил. А вы вот из Москвы приехали, вам все можно... Нет, не уважаете вы меня... Нет». И Зайков бросил трубку, так и не дождавшись от меня извинений.

Через день Носырев созвал совещание руководящего состава. «Мне надоело выслушивать претензии со стороны обкома на обгоны их автомашин нашими начальниками. Я не буду называть имен. Они сами знают. Но отныне и впредь никому не дозволено обгонять автотранспорт, на котором следуют заведующие отделами, секретари и члены бюро обкома. Номера их

машин вам известны. Виновные будут строго наказываться». С этими словами Носырев распустил собравшихся.

Чекисты шли и смеялись: нельзя подрывать ведущую и направляющую роль партии, надо следовать только по ее команде и сзади. Как выяснилось потом, аналогичную взбучку получили и работники исполкома, нарушавшие неписаное правило: партию не обгонять.

Сменив Романова на посту первого секретаря обкома, Зайков радостно приветствовал новое руководство Кремля в 1984 году. «Константин Устинович принял меня очень сердечно, — рассказывал Зайков участникам пленума обкома. — Он такой мудрый, такой понимающий человек. Он прекрасно знает проблемы нашего города. Я поднял вопрос о продолжении строительства дамбы, и он поддержал меня. Скоро выделят дополнительные ассигнования, и мы полным ходом развернем работы по перекрытию Финского залива. Это будет наша большая победа, товарищи».

Я слушал Зайкова, и на душе становилось еще тягостнее. Мы снова возвращались к старым добрым брежневским временам — победам, свершениям, грандиозным планам, великим начинаниям. Как все это было знакомо, мерзко знакомо! Хотелось выть от тоски, глядя на аплодирующих членов и кандидатов в члены обкома.

Когда я впервые принял участие в работе пленума в 1980 году, на меня, не искушенного в партийных процедурах, произвели приятное впечатление грамотные, гладкие выступления его участников, особенно из числа рабочих и крестьян. «Надо же, как вырос уровень политической культуры наших людей!» —

подумал я и как-то поделился этой радостью с первым секретарем одного из райкомов. Тот снисходительно улыбнулся и посвятил меня в тайны партийной кухни: за месяц до пленума выбранный по подсказке райкома оратор приглашается к инструктору обкома, там ему готовят выступление с учетом местного материала, присланного райкомом. Затем будущий оратор возвращается домой с текстом, где проставлены ударения и интонации, пытается выучить его. За неделю до пленума его вновь приглашают в обком и проводят репетицию: оратор с трибуны перед пустым залом произносит речь, а инструктор поправляет его, шлифует произношение.

Я был поражен. Оказывается, я, как и сотни других людей, присутствовал на спектакле, поставленном опытными режиссерами, а не на рабочем совещании партийных представителей. Но неужели вся эта бутафория и есть наша партийная жизнь? Все вопросы и ответы заранее известны, резолюции и постановления заготовлены, а мы просто штампуем, как и депутаты областного и городского Советов, давно принятые решения. В кого же они нас превратили? Может быть, это только в Ленинграде так? Нет, едва ли! Ленинград — не худший город в стране. Значит, вся страна живет вот такими спектаклями, ожидая очередного Пленума ЦК, веря своим вождям, надеясь, что они на пленуме примут новые далеко идущие решения, способные облегчить жизнь людей, сделать ее более достойной! А сытые, довольные вожди и в ус не дуют, устраивают театрализованные игры на потеху аппаратчикам.

Что-то во мне перевертывалось. Вспомнилась книга Милована Джиласа «Новый класс», прочитанная много лет назад и отвергнутая как поклеп на социалистическую

действительность. Я достал ее в спецбиблиотеке и перечитал заново. «Даже при коммунизме, — писал Джилас, — люди не перестают думать, просто потому, что не думать они не могут. Больше того: они думают не так, как им предписывают. Мышление их раздваивается: с одной стороны, их собственные мысли, а с другой — мысли, высказываемые вслух, официальные мысли.

Даже при коммунизме люди не настолько отупели от постоянной пропаганды, чтобы они сами не могли додуматься до истины... В области умственной жизни планирование олигархов ни к чему не приводит, кроме как к застою, разложению и упадку. Эти олигархи, эти блюстители порядка, которые следят за тем, чтобы человеческое мышление не сделалось крамольным и не отклонилось от партийной линии... Эти глашатаи неподвижных, выветрившихся, отошедших в прошлое идей — именно они замораживают и тормозят творческие импульсы своего народа. Вольные мысли для них — что сорные травы, которые они грозятся выполоть из человеческого сознания. Подрезая крылья свободной мысли, оскопляя умы, они не только калечат других, но и лишают самих себя всякой творческой инициативы, как и всякой способности к критическому мышлению. У них словно театр без зрителей: актеры рукоплещут друг другу, восторгаются собственной игрой.

И ведь эти верховные жрецы — и в то же время жандармы коммунизма — бесконтрольно распоряжаются как всеми средствами передачи мыслей... так и всеми материальными благами: пищей, одеждой, жилищем и всем прочим.

Современный коммунизм — это узкое сектантство, которому выпала на долю безграничная власть над миллионами людей».

Закрыв последнюю страницу книги, я вернулся к предисловию. Там я нашел слова, точно описывавшие мое состояние: «Я отходил от коммунизма постепенно и сознательно, по мере того как передо мной вырисовывалась та картина и те выводы, которые изложены в книге... Я продукт этого мира. Я принимал участие в его строительстве. Теперь я один из его критиков».

Я еще не стал критиком, но во мне росло желание порвать с прошлым, заняться чем-то другим, но не этим вселенским обманом.

А между тем я отводил душу, колеся по окраинам Ленинградской области, ночуя в майском снегу на берегах полноводных весенних рек Подпорожья в ожидании глухариного тока, бросая блесну в мелководье Финского залива, посещая художественные выставки и квартиры некоторых местных живописцев, не пропуская театральных премьер. Изменились мои музыкальные вкусы: Шостакович, Малер, Пуленк, Франк, Гендель... вытеснили старые симпатии. Но все так же трепетало сердце, вслушиваясь в чарующие мелодии «*Pieta signore*» Страделлы и «*Ave Maria*» Каччини.

Я проводил вечера с писателями Игнатием Дворецким и Юзефом Принцевым, заходил к соседу по дому Евгению Мравинскому, но лучшие часы всегда были связаны с посещениями других соседей — Георгия Товстоногова, его сестры Нателлы и актера Большого драматического театра Евгения Лебедева. Занятые днем на репетициях, а вечером в спектаклях, они

освобождались поздно вечером и иногда звонили уже в полночь, приглашая зайти «на огонек». Их гостерпимный, хлебосольный дом всегда был полон народу, людей искусства, независимых в суждениях, раскованных, просто интересных. Мы сидели иногда до трех-четырех утра, живо обсуждая события нашей жизни, новые книги, фильмы, спектакли. Лебедев как-то прочитал маленький рассказ, написанный им много лет назад и посвященный его юности на Кавказе. «Не посадят за такой рассказ сегодня?» — спрашивал он с шутливой озабоченностью. Я как мог просвещал своих новых друзей, испытывая к ним искреннюю симпатию и привязанность.

Через Евгения Примакова я познакомился с директором Эрмитажа, академиком Борисом Пиотровским. Я бывал у него дома, почти на всех вернисажах и крупных выставках. Однажды он пригласил Примакова, Товстоногова и меня посетить Эрмитаж в белую ночь.

В окна Зимнего дворца струился слабый свет, когда мы прошли по гулким пустым коридорам в залы с итальянской живописью. Борис Борисович вздыхал перед каждой картиной — он знал их наизусть. Нам же при этом освещении виделись только крупные детали на переднем плане. Скорее очарование таилось в атмосфере, в интимности общения с великими мастерами, отдохавшими после их лицезрения многотысячными толпами посетителей. Водил меня Пиотровский и в тайные хранилища Эрмитажа. Там скопилось огромное число экспонатов, вывезенных после войны в территории Германии, Австрии и Маньчжурии. Картины из частных собраний Кребса, Бехштейна, Гитлера, Шахта, Герстенберга; гравюры, рисунки,

скульптура, монеты... Все это десятилетия лежало без движения, укрытое от взоров как советских, так и иностранных любителей искусства. Некоторые вещи представляли национальное достояние и гордость стран, откуда они были вывезены.

Я спросил, почему их не экспонируют или не вернут владельцам, как вернули в свое время картины Дрезденской галереи. «Возражает Министерство культуры, — ответил Пиотровский. — Боится исков бывших владельцев или их наследников». Я попытался поговорить по этому поводу с Носыревым. Он опять отмахнулся: «Не лезь не в свое дело».

В 1984 году в Москве я навестил Александра Яковлева, вернувшегося незадолго до этого из Канады и назначенного на должность директора Института мировой экономики. Я знал о сдержанном отношении к нему руководства КГБ из-за нежелания Яковлева в бытность послом потакать вольностям резидентуры КГБ. Яковлев встретил меня дружелюбно: мы не виделись шесть лет — последний раз он заходил ко мне в Ясенево, — и накопилось много, о чем можно было поговорить. Нашу беседу за чашкой кофе прервал телефонный звонок. Прихрамывая, Яковлев подошел к столу и снял трубку. Лицо его засветилось радостью: «Да, Михаил Сергеевич... я сейчас закончу и подъеду к вам... поработаем вместе». Яковлев вернулся к недопитому кофе и пояснил: «Горбачев звонил, секретарь ЦК... мировой мужик. Если он станет генеральным, в стране произойдут колоссальные изменения... Он реформатор с большой буквы... А сейчас давай заканчивать, поеду с ним работать над документами».

Я вернулся в Ленинград с робкой надеждой, что жизнь еще не кончена.

К тому времени я завершил работу над монографией о подрывной деятельности американской разведки, но ПГУ явно саботировало ее публикацию и защиту в качестве диссертации. Впервые в жизни я обратился с официальной жалобой к руководству КГБ на действия ПГУ. В рапорте на имя Чебрикова я писал:

«В 1981 г. в соответствии с планом научно-исследовательских работ Высшей школы им. Ф. Э. Дзержинского, утвержденным руководством КГБ СССР в 1978 г., я подготовил к изданию монографию «Подрывная деятельность американской разведки против СССР на территории третьих стран». После обсуждения рукописи на кафедре ВШ в 1982 г. она была доработана и получила весьма лестные отзывы рецензентов школы и 2-го Главного управления. Однако издание монографии задержалось из-за позиции ПГУ, которое, положительно оценив работу в целом, возражало против ее публикации в ВШ ввиду наличия в ней агентурных материалов ПГУ. В этой связи ПГУ настояло на передаче рукописи в Краснознаменный институт им. Ю. В. Андропова, где начальник кафедры т. Шишкин И. А. заявил: «Высшая школа эту работу больше никогда не увидит».

Продержав почти год рукопись на рецензировании и доработке, Институт направил ее в Научно-оперативный совет ПГУ, который летом с. г. признал работу непригодной для публикации по причине устарелости ряда материалов и потому, что в настоящее время Управление «К» ПГУ готовит исследования, основанные на более свежих данных. Характерно, что на разбор своей работы автор не приглашался, а мнение наиболее

компетентных специалистов ПГУ по обсуждавшемуся вопросу не запрашивалось.

Не желая вступать в полемику с ПГУ, я обратился к т. Крючкову В. А. с просьбой разрешить передать мою рукопись в ВКШ, которая заинтересована в ее публикации, или переработать ее для открытой печати. Вскоре пришел ответ следующего содержания: работу в ВКШ передавать нельзя, так как в ней использованы агентурные материалы ПГУ. По этой же причине публикация ее в открытой печати невозможна.

Такого рода ответ вызывает недоумение. Во-первых, если работа устарела, то, очевидно, ее передача в Высшую школу не нанесет ущерба интересам ПГУ, во-вторых, Школа — уважаемая организация в системе КГБ, и ей-то, наверное, можно доверить некоторые материалы ПГУ, если в них имеется потребность. Да и сама постановка вопроса выглядит странно, как будто речь идет о передаче материалов в чужую организацию. Такой подход, если он не оправдан действительно соображениями конспирации, только вредит делу.

Мое обращение к Вам продиктовано именно интересами дела, а не амбициями или ущемлением авторского самолюбия. При подготовке монографии мной собраны, систематизированы и проанализированы практически все имеющиеся отношение к исследуемой проблеме материалы по состоянию на 1982–1983 годы.

Работая с 1958 г. по линии главного противника, я лично имел оперативные контакты с источниками ПГУ из числа сотрудников спецслужб США, в том числе ЦРУ, а также союзных США разведывательных и контрразведывательных органов. Мне неоднократно приходилось знакомиться с секретной документацией

американских спецслужб, а с 1970 по 1980 г. систематически изучать все основные документы ПГУ, служб безопасности социалистических и некоторых развивавшихся государств, имевшие отношение к деятельности американской разведки. Таким образом, я обладал в известном смысле исключительными возможностями для написания работы о ЦРУ. Ее издание представлялось необходимым потому, что она существенно дополнит монографию «Разведка США» — наиболее крупное исследование в КГБ СССР по этой тематике, изданное ВКШ в 1970 г.

Материалы моей рукописи уже используются ВКШ в учебном процессе. Следовательно, ее практическая полезность налицо.

К настоящему времени в открытой печати («Прогресс», «Международные отношения» и др.) и в системе КГБ мной опубликованы, в том числе в соавторстве, 11 работ, охватывающих различные аспекты деятельности советской и иностранных разведок. Одна из них — «Внешняя контрразведка» — получила в 1982 г. первую премию на конкурсе научных работ ПГУ. Но не очередная публикация или премия волнуют меня. Речь идет о передаче почти 25-летнего опыта службы в разведке по линии главного противника.

Именно по этой причине прошу Вас разрешить направить рукопись в ВКШ КГБ СССР для ее последующей публикации и использования в практической работе».

Ответа на мое письмо от Чебрикова не последовало.

Свежий весенний ветер апреля восемьдесят пятого вдохнул в меня новую жизнь. По мере того, как Михаил Горбачев набирал темп политических реформ,

становилось очевидно, что без помощи снизу сломать старую систему не удастся. Я ощутил, как будто молодое вино влили в еще не совсем старые мехи. В пятьдесят-то лет мы еще повоюем!

На собраниях и совещаниях я выступал агрессивно, не стесняясь в оценках и выражениях. Я подтолкнул областные аппараты на завязывание оперативных контактов с западными спецслужбами и радио «Свобода», постепенно преодолевая их сонливо-боязливое отношение к выходам на иностранцев. После того, как под мое начало передали кураторство Третьей службы, контролировавшей деятельность ленинградских органов внутренних дел и милиции, я получил мощный дополнительный рычаг для решения различных оперативных вопросов.

Но этого было мало. Я начал вступать в полемику с советской печатью, направляя в адреса редакций письма на волновавшие меня темы. Привожу их здесь дословно, потому что они раскрывают эволюцию моих взглядов на процессы, происходившие в стране. Кажется, поводом для написания первого письма послужила статья профессора Л. Гольдина в «Литературке» «Премия и доход со стороны». Я писал тогда:

«Статья профессора Л. Гольдина вызывает серьезные возражения в части, касающейся вреда, якобы наносимого общественным интересам «леваками», использующими свое личное время для строительных, ремонтных и др. работ.

Известно, что наша система обслуживания уже в течение десятилетий не в состоянии справиться с потребностями населения, вызывает всеобщее раздражение своей неэффективностью. «Леваки»

помогают (не помышляя об этом, разумеется) выпускать пар накопившихся эмоций, не дают им вылиться в социально опасные настроения. Легко представить себе ситуацию, когда сотни тысяч людей, не имея возможности починить сломавшийся телевизор или автомобиль, начнут бомбардировать жалобами советские и партийные органы. Это и сегодня случается не так уж редко, но могло бы быть гораздо хуже, если бы не отдушины в виде «леваков».

Опыт показывает, что существующая у нас система обслуживания вообще не может функционировать полноценно, ибо ни по номенклатуре услуг, ни по качеству исполнения она не приспособлена к реальным запросам населения.

Представляется, что создание небольших предприятий и мастерских, основанных на самофинансировании, в том числе на кооперативных началах, а также поощрение индивидуального ремесленничества (с прогрессивным, но не удушающим налогообложением) могло бы вывести нашу сферу обслуживания из тупика.

Т. Гольдин упускает из виду и другой немаловажный фактор — рациональное использование личного времени. Ничто не делает человека человеком более, чем труд, приносящий удовлетворение, в том числе и материальное. Лишать его этого удовлетворения и заставлять работать по каким-то надуманным умозрительным схемам — значит заранее обрекать дело на провал. Не оттого ли процветает у нас пьянство, что после работы люди не находят достойного применения для своих сил и личного времени. Даже увлечение искусством не компенсирует избыточной энергии,

остающейся у нормальных людей после трудового дня. Ее надо разумно, в интересах человека и, в конечном счете, всего общества канализировать, создавать благоприятные возможности для творческой инициативы и предприимчивости, которые никоим образом не подрывают коллективистские принципы нашего общества, ибо свободное развитие каждого есть залог свободного развития всех.

Существующие в нашей стране проблемы могут быть разрешены тогда, когда они будут непосредственно соотнесены с реальными условиями жизни людей, их потребностями, сегодняшним интеллектуальным и материальным потенциалом. Любое ущемление здоровых естественных человеческих проявлений, будь то в духовной или материальной сфере, чревато, как показывает наша же собственная история, серьезными экономическими и политическими издержками».

Несколько позже я написал в «Комсомолку»:

«Недавно прочитал в Вашей газете корреспонденцию из Лондона о работе английской транспортной полиции и невольно сравнил ее с работой нашего ГАИ, а также личным опытом многочисленных поездок на автомашине за границей. Помнится, в лучшие времена, когда во Франции еще не было разгула терроризма, я проехал по автострадам от швейцарской границы до Парижа, не встретив ни одного дорожного поста полиции и ни одной патрульной машины. У нас же милиция ГАИ местами стоит по одному (а то и двое) с интервалами в 500 метров. Как в средние века, все крупные города опоясаны сторожевыми постами ГАИ, все въезды и выезды перекрыты, как будто в стране введено осадное положение. Бесконечные придирки к водителям

огромной армии гаишников создают нервозность на дорогах, озлобляют людей. При безобразном состоянии дорог, отсутствии в большинстве случаев маркировки и четких знаков, особенно на загородных развилках, стоит ли удивляться, что по числу дорожных происшествий со смертельным исходом мы превзошли США, где автотранспортных средств во много раз больше, чем в СССР. На мой взгляд, весьма неразумно используются дорожные светофоры. Их, например, в Москве слишком много. Эту любовь к «запретительным» механизмам следует ограничить не только по количеству, но и по режиму работы. Скажем, по мере ослабления потока автотранспорта светофоры на всех второстепенных магистралях переводить на желтый (мигающий) свет.

Вообще, если кто-то считает, что, чем больше милиционеров, тем больше порядка в стране, тот глубоко заблуждается. Это скорее признак слабости, недисциплинированности и неорганизованности — типичное проявление административно-принудительного образа мышления».

Я набирал темпы, письма шли по разным адресам.

Я написал в «Правду» несколько раз, пытаюсь вызвать ее на ответ, но она молчала.

«Корреспонденция В. Прокушева «Преследование прекратить», — писал я, — яркий пример беззакония, творимого партбюрократами в нашей стране. Более чем наши классовые враги за рубежом, они несут ответственность за нынешнее состояние советского общества, за разложение нашей молодежи, за цинизм и равнодушие, охватившее все слои населения, за пьянство и антиобщественное поведение миллионов людей. Таких «духовных поводырей», как Медунов,

Кунаев, Романов, Юнак, Шатров и других, еще не названных или не разоблаченных подонков, надо привлекать к суду, ибо, оставь их на свободе, они еще смогут вернуться и учинить погром в духе 1937 года. Пора кончать с брежневским благодушием и всепрощенчеством, иначе мы никогда не выйдем из экономического, социального и нравственного тупика, в который нас загнали наследники Сталина».

Затем я дал развернутую критику последних публикаций в «Правде». Шел уже третий год перестройки, и я писал:

«Прочитал «Западню» в «Правде» 19 января с. г. и ужаснулся: до чего же докатились наши моряки за границей! За 180 долларов плюс платье комсомолка Ковальчук продана западным спецслужбам. Представляю, какой ущерб безопасности СССР могла бы нанести эта повариха с «Аскольда»! Видно, совсем худо обстоят дела у американской разведки, если она снисходит до поваров. Глядишь, скоро доберутся до работников химчисток и прачечных: чистя дубленки, можно «выйти» не только на КГБ, но и на партийный аппарат.

Право же, эта одесская «клюква» больше подходит для «Пионерской правды», чем для органа ЦК КПСС. А ведь недавно в Москве прошло несколько судебных процессов над настоящими шпионами — ответственными сотрудниками ответственных государственных учреждений. Но «Правда» об этом — молчок.

Должен отметить, что некоторые публикации в Вашей газете в последнее время вызывают досаду и недоумение. Например, совершенно невнятное бормотание В. Глаголева по поводу пьесы М. Шатрова

«Дальше... дальше... дальше». Или заметки Егорова в связи с репортажем «Московских новостей» об отношении пассажиров поезда «Россия» к перестройке. Его насмешки по адресу коллеги неуместны. В трех изданиях («Огонек», «Московские новости» и «Аргументы и факты») недавно были опубликованы материалы опросов различных групп населения об их оценке хода перестройки. Итоги этих опросов почти идентичны: около 70 % опрошенных «сидят на заборе», т. е. созерцают происходящее, не принимают участия в перестройке. Вот повод для серьезных размышлений! Но «Правда» предпочитает обходить острые углы. Даже, казалось бы, в чисто партийных вопросах «Правда» отстает в освещении происходящих процессов. Так, «Известия» на две недели опередили Вашу газету с репортажем о пленуме ЦК партии Армении.

Не лучше выглядит и международная тематика. Напрасно читатель будет искать сообщения о сложной внутриполитической обстановке в Румынии, о резком падении авторитета и роли французской компартии, о реакции венгров и поляков на повышение цен (ТАСС назвал эти повышения деликатным словом «изменения»). Ну а статья В. Корионова с претензией на анализ положения в коммунистическом движении просто рассчитана на несведущих людей. Такое впечатление, что перестройка мышления обошла автора стороной.

Стоит ли удивляться, что интерес к «Правде» постепенно падает, особенно среди молодежи, и сегодня большинство читателей отдадут предпочтение «Известиям», я уж не говорю о «Московских новостях».

Вам следует подумать о том, как сделать «Правду» самой читаемой газетой в стране. Негоже занимать

задние ряды в борьбе за подлинное обновление нашего общества».

Я прокомментировал помещенную в «Правде» статью секретаря Приморского крайкома КПСС, жаловавшегося на тяжелую долю партработников:

«Стыдно читать жалостливые интервью руководителя Приморского крайкома КПСС о нелегкой жизни номенклатуры. Или неизвестно т. Гагарову, что, помимо высокой зарплаты, партийный аппарат имеет абсолютную и непререкаемую власть на подопечной территории? Один звонок председателю исполкома, прокурору, директору торгова, начальнику милиции — и все навтыяжку: чего изволите-с?

Что касается особых льгот, о которых справедливо говорили владивостокские рабочие, то т. Гагаров проявляет нечестность по отношению к читателям «Правды», упирая на то, что никто ему за переработки ни копейки на платит.

Портовые докеры за свои большие деньги не могут позволить себе того, что может секретарь крайкома или простой партаппаратчик за свои средние 235 руб. в месяц. Может быть, стоит напомнить Гагарову, о чем идет речь:

— питание через спецбуфеты (в Москве до последнего времени т. наз. «Кремлевка»), где без очереди и ограничений приобретается любой дефицит: от парной вырезки, копченого угря и паюсной икры до датских вафель и свежих индийских манго. Партсекретари, разумеется, в буфет не ходят — для этого у них есть помощники;

— квартиры в лучших районах города, в домах, как правило, построенных по индивидуальным проектам, специально для номенклатурных работников, обычно общей площадью свыше 100 кв. м на 3–4 человек;

— спецполиклиники и больницы, где доступны любые лекарства и диагностическая аппаратура, лучшие врачи и питание повышенной калорийности (с зернистой икрой);

— санатории, дома отдыха, профилактории, отличающиеся от профсоюзных не только месторасположением и комфортом, но и прекрасным питанием (нормы расходов на питание в два раза выше, чем в профсоюзных здравницах) и медобслуживанием. Таких санаториев и домов отдыха на Черноморском побережье не менее десятка. В номерах люкс санатория ЦК КПСС «Россия», например, стоят венгерские мебельные гарнитуры стоимостью 8 тысяч рублей;

— спецсекции в промтоварных магазинах, где в благоговейной тишине с помощью услужливых продавцов можно подобрать импортный товар по вкусу, начиная от дубленок и меховых жакетов и кончая французской парфюмерией. В Москве это «100-я секция» ГУМа, в Ленинграде «Голубой зал» Гостиного двора. В Красноярске — «сороковой склад». Там, где нет спецсекций, можно через помощника позвонить начальнику местного торга. Он мигом оформит что надо, а чего нет, закажет на базе;

— броня на все виды транспорта, гарантирующая без очереди вагон СВ, билет на самолет, встречу в «депутатском» зале начальником поезда или командиром самолета. Закрепленный служебный транспорт фактически игнорирует ГАИ, не имеет лимита на

горючее, а «хозяйка», то бишь жена первого секретаря, днем ездит по знакомым и на рынок;

— специальная книжная экспедиция обеспечивает руководство партаппарата любой дефицитной книжной продукцией, нередко даже не поступающей на прилавки магазинов. Там, где нет списков экспедиции, действуют недоступные посторонним книжные киоски;

— талонные книжки на приобретение билетов на любой спектакль в театр и в кино.

Можно было бы еще упомянуть о бесплатных круизах вокруг Европы и других континентов, о бестаможенном провозе вещей, о похоронах по первому разряду, но т. Гагаров, видимо, лучше припомнит все эти мелочи.

Так на что же жалуются ответпарработники? Ах да, их могут плохо устроить после выбытия из аппарата! Действительно, бывшему первому секретарю Ярославского обкома, несмотря на его бездарную деятельность (а он тоже, наверное, трудился по 12–14 часов в сутки), предоставили должность всего лишь председателя Госкомитета СССР; еще хуже обошлись с другими партийными кадрами: их направили послами в Данию, Афганистан, Болгарию и т. п. И совсем безобразно поступили с бывшим первым секретарем Краснодарского крайкома Медуновым, которого, несмотря ни на что, сделали просто заместителем бывшего министра плодоовощного хозяйства СССР, а потом отправили на персональную пенсию.

Чего же все-таки хочет т. Гагаров? Гарантию пожизненных благ тем, кто волей случая попал на партийную стезю? Или он все же согласится быть простым советским коммунистом, гражданином, который,

честно отслужив Родине, вновь вольется в толпу сограждан и разделит с ними их радости и печали, судьбу народа, ради блага которого он так много трудился?»

В 1987 году, когда налицо были все признаки провала антиалкогольной кампании, я отправил письмо в «Литературную газету», в котором изложил свою оценку происходящего.

«В последнее время печать полна тревожных сообщений о неблагополучии на фронте борьбы с пьянством. Официально потребление продаваемых через госторговлю винно-водочных изделий вроде бы снизилось, но зато резко возросло самогонование. По рукам ходят десятки рецептов приготовления различных дурманящих напитков без использования специальной аппаратуры. Многие переключились на парфюмерные жидкости, медикаменты, химпрепараты. Молодежь, которая раньше могла пойти в кафе-мороженое и выпить там бокал шампанского или сухого вина, теперь травит себя наркотиками и их бензоклеевыми заменителями. В огромных очередях часами простаивают миллионы граждан, и далеко не все они алкоголики, проклиная на чем свет стоит порядок, отрывающий их от семей и полезного труда. В «борьбе за трезвость» магазины резко сократили продажу сухих вин и пива. Торгуют в основном водкой и дорогими коньяками. О винной культуре, с которой связаны история, традиции и быт многих цивилизованных народов, в нынешних условиях говорить просто немыслимо. Неужели к этому мы стремились, начиная антиалкогольную кампанию? На мой взгляд, это типичный перегиб.

Между тем К. Маркс в письме Лафаргам в 1866 году писал: «Сердечно благодарю Вас за вино. Будучи сам уроженцем винодельческого края и бывшим владельцем виноградников, я умею ценить вино по достоинству. Полагаю даже, вместе со стариком Лютером, что человек, который не любит вина, никогда не годен на что-нибудь путное».

Можно ли опубликовать это письмо К. Маркса сегодня?»

Редакция газеты среагировала, прислав ответ, в котором говорилось, что я недооцениваю важность постановления партии и правительства на этот счет. Надо его выполнять, а не заниматься словопрениями.

Пришлось заслать в редакцию еще одно письмо, в котором я напомнил, что у нас принимались сотни постановлений партии и правительства, которые остались на бумаге. Что же касается борьбы с пьянством путем уничтожения виноградников, то это равносильно борьбе с проституцией путем истребления лучшей части человечества. Надо устранять причины, порождающие явление, а не его последствия.

На этом переписка с «Литературкой» закончилась. Порожденная гласностью эйфория уступила место осознанию бесполезности словесных препирательств с органами печати. Нужны были конкретные действия, способные реально помочь обществу очиститься от накопившейся скверны.

Жизнь сама подсказала очередной ход: в Гатчинском районе разворачивались события, требовавшие повышенного внимания.

По полученным через милицию агентурным данным, старший помощник прокурора города Битерашвили систематически брал взятки за закрытие уголовных дел. В другие времена никто бы не стал связываться с прокуратурой. Она не входила в сферу контроля со стороны КГБ, скорее наоборот. Но сидеть сложа руки и наблюдать за беззаконием тех, кто призван стоять на страже закона, означало предавать идеи перестройки. К тому же выяснилось, что в Гатчине повально берут и дают взятки работники других правоохранительных органов, а также горисполкома, пищеторга, кооперации. В той или иной форме все взяточники были «завязаны» на торговле — центре притяжения преступных элементов в стране.

Как к депутату облсовета от Гатчинского района, ко мне обратились избиратели, высказываясь в том духе, что советская власть в районе уже не существует, что она перешла в руки торговой мафии.

Я предложил Носыреву завести дело на Битерашвили, поставить его под агентурный и технический контроль. Носырев заколебался, рекомендовал посоветоваться с обкомом и первым секретарем Гатчинского горкома партии. Там не возражали.

Вскоре на основании полученных улик сотрудник прокуратуры был арестован и осужден на 10 лет. За ним потянулась цепочка показаний, которая, при сопоставлении с другими материалами, давала основание полагать, что в области действует разветвленная преступная сеть, занимающаяся за взятки незаконным вывозом леса из Ленинградской области в южные районы

страны, а также импортных товаров, закупленных для шахтеров в Финляндии.

Я предложил объединить силы прокуратуры, милиции и КГБ для того, чтобы разрушить эту сеть и оздоровить обстановку в области. Обком вновь дал согласие, и удалось провести несколько десятков арестов. Один из них, в шахтерском районе Сланцы, едва не сорвался. Живший там преступник, как оказалось, имел сильных покровителей в Ленинграде. Подслушивание его телефона показало, что незадолго до ареста ему позвонила сестра Льва Зайкова и сказала: «За тобой работает КГБ, будь осторожен».

К середине 1986 года под стражей находилось более 40 человек. Они дали обстоятельные показания, раскрыв причастность к взяточничеству многих лиц. Перелом в ходе следствия произошел после ареста заместителя генерального директора Ленлесхозобъединения — фигуры достаточно крупной, чтобы обеспокоить местное партийное руководство. По его команде прокурор области подготовил для обкома подробную справку о результатах и перспективах дела, получившего название «Лесное».

Затем, когда в показаниях арестованных замелькали фамилии руководителей облисполкома и секретаря обкома, такая справка стала готовиться еженедельно. После очередной информации в партийные инстанции оттуда поступала команда «рубить концы».

Меня пригласил заведующим отделом обкома Геннадий Воцинин, в прошлом физкультурный деятель, а позже — начальник ленинградской милиции, и посоветовал закрыть «лесное дело». «Что вы такой кровожадный, — шуточно заметил Воцинин. — Уже полсотни человек под

замок посадили и все новых жертв требуете». Я возразил: «Арестованные представляют первый слой взятодателей, в основном это предприниматели с Украины и Молдавии. Гораздо важнее те, кто взятки брал, — партийные и советские работники. Например, первый заместитель председателя облисполкома, секретарь обкома. Ведь эти люди торговали властью, доверенной им народом. Они гораздо опаснее, чем обычные взяточники. Да и сумма оборота взяток немалая — почти три миллиона рублей. Я дело прекращать не буду».

В тот же день меня вызвал Носырев: «Ты что там, в обкоме бунт устраиваешь? Хватит заниматься ерундой. У тебя нет в области ни одного дела по антисоветчикам, ни одного по шпионажу. Пора за ум браться». — «Позвольте не согласиться, — ответил я. — Надо в первую очередь не допускать возникновения питательной среды для шпионов и антисоветских элементов. Председатель Чебриков в докладе на партактиве, посвященном XXVII съезду партии, сказал: «Противник стремится искать лиц, недовольных новым курсом, противодействующих его осуществлению. Прежде всего он ищет таких людей среди взяточников, расхитителей, тунеядцев. Именно в этой среде он рассчитывает найти тех, кого можно было бы привлечь к проведению враждебных подрывных акций. Допустить этого никоим образом нельзя». Я действую в соответствии с директивами руководства КГБ». — «Ничего мне демагогию разводить!» — рявкнул Носырев.

Я вышел от начальника полный решимости не уступать. Последующие события подтолкнули меня к новой конфронтации с ним. Мне сообщили, что члены объединенной следственной группы поодиночке

подвергаются компрометации. В Прокуратуру г. Москвы, где ранее работал руководитель группы следователь Сидельников, поступило заявление, в котором он обвинялся в нанесении побоев некоей гражданке с целью добиться нужных показаний в ходе расследования в 1982 году ее уголовного дела. В связи с этим заявлением Сидельников неоднократно вызывался в Москву для объяснений, допросов и очных ставок, после которых обвинение ему так и не было предъявлено. Кроме того, там же Сидельников был допрошен в качестве подозреваемого по заявлению другой гражданки, обвинившей его в краже бриллиантов в 1981 году во время обыска в квартире ее родственника. На следователя Попову поступило заявление гражданки Серовой, обвинившей ее в вымогательстве у нее взятки в размере двух тысяч рублей и краже ста рублей во время расследования Поповой в 1984 году уголовного дела по взяткам мужа Серовой. На следователя Мирошина поступило заявление квартирной соседки по поводу его систематического бытового хулиганства. Следователь Баранов по нескольким заявлениям обвинялся в превышении им власти и в злоупотреблениях во время расследования уголовного дела Петросяна.

Проведенная скоординированная акция вывела членов следственной группы из равновесия, заставила отвлекаться на доказывание собственной невиновности; породила взаимное недоверие, обособленность, неуверенность в конечном успехе следствия по «Лесному делу», боязнь самостоятельного принятия решений. Дело разваливалось на глазах.

За помощью в Ленинграде обращаться было не к кому.

Из головы не выходили ахматовские строчки: «Все расхищено, предано, продано...»

Только что я закончил чтение ее архивного трехтомного дела. С 1927 года она сидела «на крючке» НКВД, сначала как пособница троцкистско-бухаринского блока, а с 1945 года как «агент» американской разведки. Почти до самой смерти органы безопасности приглядывали за ней. Чтение агентурных донесений действовало тошнотворно... Я решил больше не обращаться в КГБ, а написать Генеральному прокурору СССР.

...На этот раз разговор в обкоме велся уже без шуток. «Не ожидал от вас... Зачем же жаловаться? — зло глядя на меня, говорил Вошинин. — Мы здесь все вопросы можем решить, нам Москва не указ. Прокуратуре дано указание «Лесное дело» прекратить».

Я выслушал Вошинина молча: мне было все равно. Назад дорога отрезана. Я буду пробиваться сам.

Не предполагал я, что разгорающийся конфликт с обкомом и Носыревым разрешится через несколько месяцев моим откомандированием из Ленинграда в распоряжение Управления кадров КГБ.

Кульминация наступила неожиданно.

Рутинное рассмотрение на выездной комиссии дел группы специалистов различного профиля не предвещало никаких проблем. Докладывал глава «Интуриста»: «Гид-переводчик Радвинская, беспартийная, с мужем разведена, выезжала с советскими туристами в Испанию, неоднократно в вечернее время уходила в город одна, возвращалась ночью. На замечания руководителя не реагировала, на

вопросы туристов отвечала грубо, не использовала все возможности для пропаганды советского образа жизни... Профилактарована на собрании... Переводчица Федотова, беспартийная, с мужем в разводе, находясь в Индии, не заботилась о завоевании авторитета в группе, много внимания уделяла решению личных вопросов. От заграничных поездок отведена...

Переводчица Семенова, член КПСС, старший гид-переводчик. В круизе по Дунаю проявляла стяжательство и корыстность. Вела себя легкомысленно... груба, аполитична. От поездки отведена...»

Среди отведенных оказалась советская сотрудница авиакомпания «Панамерикэн». Документ на нее подписал мой коллега Кедров. Я автоматически подтвердил его подпись, хотя возникло сомнение, все ли здесь правильно. Когда-то эта сотрудница работала в партийной библиотеке и помогала мне печатать монографию.

Образ скромной, застенчивой девушки не вязался с нелестной характеристикой, составленной на основании агентурных сообщений КГБ. По возвращении в Управление я попросил собрать на нее дополнительные данные, они совершенно не совпадали с тем, что было записано в официальном документе КГБ. В практике работы Управления бывали случаи, когда в течение месяца в обком засылались диаметрально противоположные характеристики на одно и то же лицо. Тут играли роль и давление со стороны, и просто ошибки. Чтобы исправить допущенную несправедливость, я подписал письмо в обком с просьбой отменить предыдущее решение по сотруднице

«Панамерикэн» по причине получения материалов, ее реабилитирующих.

Скандал не заставил себя ждать. Как и в первые недели моего пребывания в Ленинграде, Носырев срочно созвал совещание заместителей и учинил грубый разнос Кедрову и мне по поводу несогласованных действий при оформлении поездок за границу. «Сам Юрий Филиппович Соловьев возмущен этим делом, — орал Носырев. — Это брак в вашей работе, куда вы смотрите, когда подписываете документы. Мне надоело получать упреки из обкома по поводу вашей халатности...»

Я прервал Носырева репликой: «Неужели руководству обкома нечем больше заняться, кроме вылавливания блох в документах выездной комиссии?» Носырев побагровел и рявкнул что-то несусветное. Я ответил в том же духе, добавив, что орать на себя не позволю и работать с ним больше не желаю. Носырев тут же встал и закрыл совещание.

Я вернулся в свой кабинет с намерением тут же написать рапорт на имя Чебрикова с просьбой об освобождении меня от занимаемой должности. Пока я размышлял над чистым листом бумаги, ко мне зашел один из руководителей Второй службы (контрразведки) и предложил пойти в буфет. По дороге он сообщил нечто, заставившее меня тут же изменить планы.

«Носырев считает, что вы дали добро на поездку сотрудницы «Панамерикэн» в США для того, чтобы через нее восстановить давно утерянную связь с ЦРУ. В течение нескольких лет за вами наблюдали по указанию из Москвы, но ничего путного не обнаружили. Второй Главк считал, что дело давно пора прекратить, но на продолжении настаивал Алидин и кто-то еще из

руководства. Чтобы вас скомпрометировать и убрать отсюда, наш агент, возглавляющий «Панамерикэн», по поручению Носырева звонил в Москву своему американскому начальству и сказал, что его хотят уволить, потому что какой-то генерал из КГБ имеет любовную связь с его сотрудницей и приревновал ее к нему. Поскольку телефонный разговор записывается на пленку, есть полная гарантия, что завтра его текст будет лежать на столе Председателя КГБ».

Итак, гнев Носырева, ссылки на Соловьева — все это разыграно под заранее подготовленную схему. Им просто необходимо от меня избавиться! Но это же совпадает и с моим желанием. В таком случае писать Чебрикову нет смысла. Пусть лучше в ЦК партии знают, кто такой Носырев!

Я снова сел за чистый лист бумаги. Наутро, проставив на письме гриф «секретно», я отправил его фельдсвязью в Москву. Я дал развернутую характеристику Носыреву, сделав упор на замазывание им реальных проблем в угоду обкому, на нетерпимость к инакомыслию и злоупотребление служебным положением.

Через две недели в Ленинград прибыла комиссия во главе с заместителем Председателя КГБ по кадрам Пономаревым и представителем админотдела ЦК КПСС Карбаиновым. Официально в их задачу входила проверка сообщенных мной фактов. Мне сказали, что письмо попало к Горбачеву и он начертал резолюцию: «Неужели в КГБ есть такие начальники? Организуйте проверку». Но комиссия, по-видимому, имела главной мишенью не Носырева, а меня. Она дотошно искала тех, кто мог сообщить что-либо предосудительное о моем поведении

на службе и в быту. Некоторых понуждали давать показания под угрозой, но результаты оказались мизерными.

Выводы комиссии: сообщенные Калугиным факты в основном не подтвердились.

Меня пригласил Пономарев и предложил к началу года выехать в Москву. Там мне предоставлялась должность заместителя начальника Управления режима Академии наук СССР. Я не спорил: в Ленинграде мне делать было нечего. Переход в резерв КГБ, а именно так называется система замещения должностей в различных гражданских ведомствах офицерами КГБ, означал, что мне надо готовиться к отставке. Правда, некоторые генералы ухитрялись сидеть в ведомствах до глубокой старости, но я по их стопам не пойду.

В Москве я зашел на прием к Чебрикову. «Что ты там расписался? — накинулся он. — Мы Носырева и так уже готовили на пенсию. Незачем было обращаться в ЦК. Лучше бы мне лично написал. В резерве поработай немного, а там посмотрим: может быть, еще зампредом назначим. А если снова писать будешь, то в пятьдесят пять лет на пенсию уйдешь. Понял?»

Да, я понял. С первого дня объявленной Горбачевым перестройки я понял, что для моего поколения — это последний шанс выбраться из трясины, в которую медленно погружалась страна. Топтание на месте в то время еще не ощущалось, но рычаги торможения уже были включены, и я знал, что мощнейшим рычагом является КГБ и его ультраконсервативное руководство.

Своими мыслями я решил поделиться с автором перестройки — в надежде, что он тоже поймет

необходимость радикальных реформ в организации, служившей верной опорой старого режима. Я написал письмо Михаилу Горбачеву и передал его через Александра Яковлева. В нем я, в частности, писал:

«Правдивый, критический анализ состояния дел у нас в стране, прозвучавший на XXVII съезде КПСС и особенно на январском Пленуме ЦК, практические меры, принимаемые партией по развитию социалистической демократии, вселяют уверенность в том, что мы действительно, а не на словах, встаем на путь революционных преобразований.

В этой связи хотелось бы поделиться некоторыми соображениями по весьма деликатным вопросам, относящимся до сих пор к «запретной» зоне. Речь идет о роли и месте правоохранительных органов, прежде всего органов госбезопасности, в нашем обществе в условиях перестройки.

Как ветеран органов КГБ, считаю, что процесс обновления, охвативший почти все сферы нашей жизни, по существу не затронул КГБ. На фоне происходящих в стране перемен КГБ являет собой сегодня наиболее консервативный, окостенелый организм, объективно вступающий в растущее противоречие с интересами поступательного развития социалистического общества. Во все времена и при всех общественных формациях органы правопорядка отличались своим консерватизмом. Но то, что является признанным достоинством в условиях относительного покоя, при других обстоятельствах может стать серьезным недостатком.

Первейшая задача КГБ — сверять свою повседневную деятельность с политическим курсом партии. Делается ли это?

В докладе на IX Всероссийском съезде Советов в 1921 году В. И. Ленин, отмечая заслуги ВЧК перед революцией, указывал: «Чем больше мы входим в условия, которые являются условиями прочной и твердой власти... тем уже становится сфера учреждения, которое ответным ударом отвечает на всякий удар заговорщиков». В резолюции, принятой по этому вопросу, съезд поручил пересмотреть Положение о ВЧК и его органах в «направлении сужения их полномочий и усиления начал революционной законности». В той же резолюции подчеркивалось, что «укрепление Советской власти вовне и внутри позволяет сузить круг деятельности ВЧК и его органов».

С тех пор неизмеримо возросла мощь Советского государства, как никогда сильны его международные позиции. С точки зрения внутреннего развития диктатура пролетариата выполнила свою историческую миссию, и едва ли можно всерьез говорить о возможности реставрации капитализма в СССР путем заговоров, контрреволюции и иных насильственных действий.

Несмотря на эти, казалось бы, очевидные истины, органы госбезопасности, оправившись после суровой критики допущенных ими беззаконий в период культа личности, в последние годы вновь набрали огромную силу и влияние, явно превышающие реальные потребности общества и не соответствующие уровню его политического развития.

В этой связи представляется назревшим вопрос о реформах в системе правоохранительных органов, усилении партийного и государственного контроля за ними, что позволит существенно ускорить процесс

демократизации в нашей стране, высвободить огромные скрытые резервы, таящиеся в нашем народе...»

Я предложил на треть сократить аппарат КГБ, реорганизовать его структурно, уточнить задачи и функции в сторону их сужения и ограничения. Следовало значительно снизить порог секретности, облегчить выезд советских граждан за границу, ликвидировать партийные и иные выездные комиссии, отменить «диссидентские» статьи 190.1 и 76.1 УК РСФСР, как противоречащие духу демократических преобразований в стране, усилить контроль за деятельностью органов госбезопасности и распространить принцип гласности на освещение не только их успехов, но и просчетов.

Через месяц меня вызвал Чебриков. Он выглядел взволнованным. «Что ты там написал Горбачеву? — начал он. — Расскажи по-порядку. Я, к сожалению, письма не читал».

Мой пересказ содержания письма постоянно прерывался вопросами Чебрикова и присутствовавшего при беседе его первого заместителя Емохонова. Они спорили, доказывали, убеждали. Я повторял только одно: «Это моя точка зрения, если она расходится с вашей, я сожалею, но менять ее не собираюсь». В какой-то момент беседа, длившаяся два часа, вышла за рамки обсуждаемой темы. Я высказал Чебрикову свое возмущение попытками Носырева оклеветать меня, распуская слухи о связи с ЦРУ.

«Я не дам себя опорочить, я буду защищаться», — сказал я. Внезапно Чебриков встал и с больше, чем обычно, перекошенным лицом произнес: «И я буду защищаться... Иди, работай».

Работать в Академии мне пришлось недолго. Я установил оперативные контакты с некоторыми академиками, написал по их материалам несколько записок в Шестое управление КГБ, к которому был прикреплен, по проблемам ядерной зимы, искусственного интеллекта, сейсмической войны, сверхпроводимости, перспектив добычи золота во Вьетнаме и патентно-лицензионной практики Академии наук.

От Горбачева никакой реакции на мое письмо не последовало, но в начале лета меня пригласили в кадры и сообщили, что намерены переместить на более крупную должность, занимаемую пока семидесятилетним заместителем Председателя КГБ Ардалионом Малыгиным. Речь шла о начальнике Управления безопасности и режима Министерства электронной промышленности СССР. Складывалось впечатление, что меня хотят ублажить солидной должностью с прикрепленной автомашиной и подчинением лично министру Колесникову.

Перед новым назначением я съездил в Ленинград.

Там, в шестидесяти километрах от города, на Карельском перешейке шло строительство моего дачного домика, от которого нужно было избавиться.

В Ленинграде произошел инцидент, который я расценил как попытку КГБ скомпрометировать меня руками милиции и таким образом свести счеты за вынужденный уход Носырева с поста начальника Управления на пенсию. На пути к вокзалу для поездки за город я предъявил стоявшему у входа в метро постовому милиционеру удостоверение депутата Леноблсовета. Документ он мне не отдал, а попросил зайти в отделение милиции при станции метро. Там он заявил, что я

нетрезв и выпустить он меня не сможет. Я дозвонился до начальника отделения, и через полчаса меня выпустили. Тем не менее задержавший меня сержант направил рапорт в Ленинградское управление, а те соответственно в КГБ СССР и ЦК КПСС. Не знаю, у кого хватило ума замять это дело, но я тогда пригрозил, что предам огласке слова адмирала Соколова, заявившего в близком окружении: «Пусть только он приедет в Ленинград, мы ему здесь рога обломаем».

В 1988 году я приступил к работе в Министерстве электронной промышленности. Травма пережитого в Ленинграде еще не зажила, но я все реже вспоминал о ней.

В Елоховском соборе меня принял и благословил на ратные подвиги патриарх Пимен. Вокруг вновь образовался старый дружеский круг. Налаживался быт. Ничто, казалось, не предвещало потрясений. Но я уже стал другим человеком: меня покидало чувство униженности и страха. Я познал цену жизни, чего-то в ней достиг. Я вырастил детей, у меня появились внуки, и я вдруг остро ощутил потребность быть самим собой, жить не приспособиваясь, а так, как я хочу жить. Необычайная раскованность, легкость овладевали мной. Что-то похожее было у Генри Торо: «Если человек смело шагает к своей мечте и пытается жить так, как она ему подсказывает, его ожидает успех, которого не дано будничному существованию. Кое-что он оставит позади, перешагнет какие-то невидимые границы, вокруг него и внутри него установятся новые, всеобщие и более свободные законы или старые будут истолкованы в его пользу в более широком смысле, и он обретет свободу, подобающую высшему существу».

Снова ударился я в журналистику, подготовил статью «Разведка и внешняя политика» для журнала «Международная жизнь», потом очерк «Измена» для «Недели» об Аркадии Шевченко. Я встретился с Крючковым после его назначения Председателем КГБ, чтобы позондировать его позицию по поводу моих публикаций. Он притворно улыбался, и я знал, что это улыбка иезуита. Потом мне рассказали, что он был взбешен моими статьями. Но этого и следовало ожидать.

«Не делай опрометчивых шагов, — говорили мне друзья из КГБ. — Ты должен уйти с чистой характеристикой, иначе тебя обвинят во всех грехах, а то еще объявят сумасшедшим. Потом работы не найдешь с такой аттестацией».

В сентябре 1989 года мне исполнилось 55 лет, и последовало приглашение в кадры. Никаких претензий. Ветеранская медаль, семь тысяч отходных в виде единовременной премии, тринадцатая зарплата за безупречную службу.

Я вздохнул и сел писать статью для «Огонька». С Виталием Коротичем у меня имелась предварительная договоренность. «Люблю выискивать новых авторов», — сказал он, пожимая руку на прощание.

Нанес визиты Филиппу Бобкову и Виктору Грушко. Бобков смущенно развел руками: «Ты знаешь, приказ о твоём увольнении Крючков дал подписать мне. Что будешь делать?» — «О, выбор у меня богатый: коммерция, оппозиция, эмиграция», — полушутливо ответил я. «Ну, зачем такие шутки? — возразил Бобков. — Ты же журналист, давай что-нибудь подыщем на российском телевидении или в печати».

Зампред Грушко, с которым мы когда-то были приятелями, на мою реплику о богатом выборе реагировал иначе: «А не подумают, Олег, что у тебя с головкой не все в порядке?»»

26 февраля 1990 года, в день получения удостоверения генерала запаса, я без предварительной договоренности зашел к ректору Историко-архивного института активисту демократического движения Юрию Афанасьеву. Предъявив ему свой документ, я сказал: «Готов оказать помощь демократическим силам в обновлении страны. Можете на меня рассчитывать».

«Я знал, что такие люди к нам придут», — ответил Афанасьев.

Глава VII

*Если я не найду дорогу,
я пробью ее сам.*

Латинская пословица

*Я выбираю свободу —
пускай груба и ряба.*

*А вы, валяйте, по капле
выдавливайте раба.*

А. Галич

Три месяца девяностого года канули в Лету, а никаких вестей из «Огонька» не поступало. Наша любезная беседа с Коротичем сулила скорую публикацию, речь даже шла о конкретной дате, но всякий раз, открывая очередной номер журнала, я не находил там своего материала. Встречу с Ю. Афанасьевым скорее можно было считать заявкой о

намерениях с моей стороны, чем наполненную практическим содержанием перспективу. Я исправно получал пенсию и готовился к весеннему сезону: начатая реконструкция дачи должна была завершиться этим летом.

Друзья из горкома партии рекомендовали не терять времени и присоединиться к Ассоциации развития информационных технологий, только что созданной под эгидой Академии наук СССР. Я дал согласие оказывать услуги консультациями по вопросам международных связей и безопасности коммерческих операций. Оклад в шестьсот рублей в месяц при относительно свободном распорядке дня меня вполне устраивал. Не хватало лишь автомашины. Двадцать лет я пользовался служебной «Волгой», но мысль о том, что когда-то надо обзаводиться собственной машиной, приходила мне в голову не раз. Теперь же, уйдя в запас, я мог поднатужиться и скопить необходимую сумму хотя бы на «Жигули». Как ветеран, я наверняка буду иметь преимущество при получении места в очереди на приобретение автомашины. Впереди, казалось бы, маячила безбедная спокойная жизнь в относительно комфортных условиях, с кругом устоявшихся дружеских связей, почтительным отношением к регалиям и тонкой аурой таинственности, эффектно подчеркивавшей принадлежность в прошлом к секретной элите. Но решение начать новую жизнь было принято, и ничто уже не могло меня остановить. Жена уже смирилась с неизбежным. С друзьями о своих планах я не говорил, хотя они чувствовали резкую перемену в моих настроениях. Молча я шел на разрыв.

В конце апреля, убедившись, что с «Огоньком» ничего не выйдет, я навестил помощника Афанасьева и

через него узнал о готовящейся конференции «Демократической платформы в КПСС». Я попросил связать меня с организаторами конференции, дав понять, что имею на нее определенные виды. В это же время мне стали известны обстоятельства, помешавшие публикации статьи в «Огоньке». Оказывается, помимо Крючкова в дело вмешался еще один член Политбюро — Александр Яковлев, слово которого оказалось решающим для Коротича. В редакции выразили сожаление и надежду на сотрудничество в будущем.

Наконец, в июне раздался долгожданный телефонный звонок. Говорил Игорь Чубайс, один из активистов демдвижения, которому стало известно о моем желании принять участие в конференции. Час был поздний, уже за одиннадцать, и я пригласил Чубайса к себе, благо, жил он недалеко и имел «колеса». Но мой собеседник отклонил приглашение и выдвинул встречное — поговорить на улице, на полпути между нашими домами.

Через четверть часа я вышел на условленное место. Моросил теплый летний дождь. Вокруг было темно, и только свет автомобильных фар выхватывал редкие фигуры пешеходов, торопливо искавших укрытия в подъездах. Обстановка чем-то напоминала давно прошедшие дни, когда приходилось такими же дождливыми вечерами ждать randevu со своими тайными агентами.

Ровно в назначенный час, уже за полночь, из остановившегося «жигуля» вышел стройный, бородатый мужчина, известный мне по телевизионным передачам. Я представился и сразу попросил дать мне возможность выступить на конференции. Но Чубайс не торопился с

ответом. Почти час мы бродили по улице, пока я излагал тезисы своего выступления, рассказывая о себе и причинах, побудивших меня пойти на такой шаг. Кажется, я сумел убедить Чубайса в искренности своих намерений. Договорились, что о предстоящем появлении генерала КГБ на конференции никто не будет знать вплоть до официального объявления, за 10 минут до моего выхода на трибуну.

Перед началом конференции мне неожиданно позвонил Марк Дейч из радио «Свобода» и, ссылаясь на рекомендацию помощника Афанасьева, попросил прокомментировать проект закона о КГБ, представленный в Верховный Совет СССР. Мелькнула мысль: вот они, превратности судьбы. Еще недавно я выступал в роли организатора борьбы с радио «Свобода», вербовал там агентов, а теперь оно предоставляет мне шанс открыто высказаться по важной политической проблеме. Интервью состоялось 14 июня и тут же пошло в эфир. А 16 июня я вошел вместе с толпой в зал кинотеатра «Октябрь», чтобы во всеуслышание поделиться с согражданами своими мыслями о перестройке и роли в ней КГБ. Я сел в последних рядах, чтобы не привлечь к себе внимания кого-либо из случайных знакомых, особенно среди журналистов. Моя фамилия была названа председательствующим после третьего оратора, за 10 минут до моего выхода. Реакция зала, вместившего почти полторы тысячи человек, превзошла все ожидания. Овации заглушили слова о том, что бывший генерал КГБ расскажет о подрывной работе органов госбезопасности против демократического движения. Многие встали и, аплодируя, выражали нескрываемое чувство радости по поводу того, что в их полку прибыло. То было время эйфорических настроений

среди демократов: они набирали силу, чувствовали народную поддержку и ослабление позиций старой системы. Им казалось, что победа уже близка, что стоит еще чуть-чуть подтолкнуть Горбачева влево — и все пойдет как по маслу. Они не осознавали в своей наивности, что резервы тоталитарной власти еще не исчерпаны и даже не пущены в ход, что грядет перегруппировка сил и откат не за горами.

Я начал свое выступление под аплодисменты. Затем воцарилась напряженная тишина. Нет смысла воспроизводить эту речь, но напомню ее суть: «Мы не можем всерьез заняться перестройкой нашего общества, если не освободимся от пут организации, которая проникла во все поры нашей жизни, которая вмешивается по воле партии или с ее ведома в любые сферы государственной и политической жизни, в экономику, культуру, науку, религию, спорт. Сегодня, как и 10, и 20 лет назад, рука КГБ или его тень присутствуют повсюду, и когда говорят о новом облике госбезопасности, об идущей там перестройке, то это большая ложь. Речь может идти скорее о косметике, о наведении румян на жухлое лицо старой сталинско-брежневской школы. На деле у нас сохраняются все основные элементы партийно-полицейской диктатуры, где первым помощником и пособником ЦК КПСС является КГБ.» Для того чтобы добиться реальных перемен в стране, необходимо демонтировать этот аппарат обмана и насилия.»»

Когда я кончил, зал взорвался. К трибуне побежали люди, защелкали фотовспышки. Я долго потом не мог оторваться от десятков советских и иностранных

журналистов, дотошно выпытывавших подробности моей биографии, причины, побудившие меня выступить.

Такой реакции я не ожидал. В моем выступлении не было сенсаций: все, о чем я говорил, большинство советских граждан если не знало, то ощущало практически. Те же, кто знал, предпочитали молчать. Для Запада в моих откровениях тем более не содержалось ничего нового. Важен был сам факт — бунт в цитадели системы. Теперь надо было ждать санкций: КГБ простить случившегося не мог.

В течение последующих двух недель я пережил шквал встреч и интервью. По предложению группы народных депутатов РСФСР я выехал на два дня в Кузбасс, где намечалась забастовка шахтеров. Впервые я выступил там на массовых митингах, выражая солидарность с решимостью рабочих крупнейшего в стране угольного бассейна отстаивать свои права. Полученный от общения с шахтерами заряд энергии привел меня и на другой массовый митинг — на этот раз в Москве, на Манежной площади.

Стоя на импровизированной трибуне рядом с лучшими представителями нашей интеллигенции — политическими лидерами перестроечной волны, видя перед собой полумиллионную толпу единомышленников, я испытывал чувство уверенности в неизбежной победе реформистских сил и личной причастности к грядущим переменам. Я многое потерял, но приобрел гораздо большее. Почти все мои бывшие коллеги сразу забыли номер моего телефона, но зато его откуда-то узнали сотни других людей, в том числе бывших чекистов, желавших встретиться со мной и поделиться мыслями о происходящем в стране.

По вечерам телефон в квартире не умолкал. Разные голоса звучали в трубке. Кто старался приободрить, кто визгливо матерился или угрожал, кто сочувствовал. Жизнь вышла из привычной колеи.

1 июля газеты опубликовали указ Президента о лишении меня всех правительственных наград и звания генерал-майора. Правда, узнал я об этом не из газет, а раньше, слушая передачу Би-би-си.

Большого удивления указ Президента у меня не вызвал, внутренне я был готов к расплате. Правда, я не предполагал, что именно в такой форме обрушится наказание, но что оно последует после моих заявлений — сомнений не было...

И снова звонки, звонки, звонки...

Не снимать трубку нельзя. Легче всего в такие моменты закрыть двери, зашторить окна, отключить телефон — оборвать все связи с внешним миром, создав искусственную изоляцию, иллюзию покоя.

Этот звонок был явно не местный, так сигналил междугородная. «Извините... с вами говорит Велигодский... — прозвучало в трубке. — Нет, нет, вы меня не знаете... Я вам звоню по поручению своих товарищей из научно-исследовательского института «Газпереработка» в Краснодаре. Сотрудники института решили выдвинуть вашу кандидатуру в народные депутаты СССР. Выборы в Верховный Совет давно прошли, но Иван Кузьмин Полозков — первый секретарь Краснодарского крайкома партии — вынужден был снять с себя полномочия, и теперь имеется вакансия...»

Я задумался. Роем пронеслись в голове несвязные мысли, вспыхнули яркие картины из зала Большого

Кремлевского дворца, где заседал Первый съезд народных депутатов России, ставший ареной жестокой борьбы за пост Председателя Верховного Совета РСФСР. Миллионы людей сидели у телевизоров, наблюдая за этой борьбой. Голубой экран, как окно в напряженный, наэлектризованный зал. Вот тогда я, как и множество других людей, увидел Полозкова.

Поначалу было не очень понятно, как этот человек, казавшийся все время плохо выбритым — темный подбородок и темные пятна под носом на загорелом лице — как этот человек, сидевший, чуть скособочившись, по контрасту — рядом с более ухоженным на вид давним членом Политбюро Воротниковым, — косноязычный, изложивший свою программу со множеством общих мест, может претендовать на столь высокий пост.

Их осталось двое — Иван Полозков и Борис Ельцин — после первого тура голосования. И никто не мог с уверенностью сказать, что победа останется за Ельциным — бесспорным лидером России, пользующимся доверием подавляющего большинства избирателей.

Ельцин шел к трибуне внешне спокойно и уверенно; в нем не было ни кичливости, ни высокомерия. Сила, исходившая от Ельцина, была понятна. То была сила убеждений, ясности своей правоты, боли за нищенскую и жестокую долю, доставшуюся народам страны. Такую силу трудно покорить и одолеть.

Но вот поднялся на трибуну профессиональный партийный работник, и какая-то часть зала разразилась аплодисментами.

Ивана Полозкова не очень-то знали, но слышать о нем слышали. Газеты писали о том, как он яростно выступил против кооперации, как отрицал аренду, как

ненавидел личное подсобное хозяйство крестьян, считая, что все должно быть «колхозно-совхозным», как покрывал неприглядные дела в Краснодарском крае. Но почему так горячо его встречали?

Конечно, легче всего было объяснить, что Ивана Полозкова «двигает аппарат», в зале орудует целая группа поддержки, среди депутатов распространяются листовки, направленные против Ельцина и восхваляющие Полозкова... Но всего этого явно недостаточно, чтобы владеть чуть ли не большинством делегатов съезда.

А съезд — не только зал. От него тянутся нити во все стороны республики и за пределы ее. Толпы людей встречают депутатов у выхода из Кремля, стоят пикеты у гостиницы, требующие избрания Ельцина, в адрес съезда идут, загружая до предела телеграф, сообщения с мест с резолюциями, требованиями в поддержку Бориса Николаевича, но... Нет, никто не был уверен, что Ельцин победит. В какое-то мгновение напряжение стало так сильно, что казалось — дорога партаппаратчику Полозкову открыта.

Позднее я узнал причину столь теплого приема Ивана Кузьмича.

Президент уезжал за границу и не мог присутствовать на этом важнейшем событии. Перед отъездом он собрал коммунистов-депутатов. Фразу, которую бросил, затем повторяли многие: «Я прошу: любыми средствами, но Ельцин не должен пройти...»

И все же, несмотря на такое мощное давление, дух свободы победил во многих депутатах. Довелось услышать рассказы о ночи перед выборами:

«Послушали мы Генерального, послушали, пришли в гостиницу, приняли по рюмке, поглядели друг на друга, словно спросили: что же, все время и будем жить по указке сверху? К чертям! Как совесть велит, так и будем голосовать...» Но далеко не все так решили. Страх, властвовавший над советскими людьми, и в девяностом году еще держал их в своих объятиях.

Я не раз наблюдал, как проходят выборы Президента в США. Бурные дебаты претендентов, открытость, веселье. Иногда дни в преддверии выборов напоминали шумный карнавал. Конечно, люди понимали, что от их голоса может зависеть, какой именно курс изберет страна, но нигде не чувствовалось напряжения. От результатов выборов можно было испытать досаду, но не видеть в них трагедию. Ну, изменится внешнеполитический курс, возможно, затронут налоги, но основа жизни останется та же. Ничего не исчезнет из обильных супермаркетов, никому не будет грозить ни карточная система, ни знакомство с лагерным бытом, поэтому можно и сами выборы превращать в день всеобщего веселья, насмешек, непринужденной болтовни, «болеть» за какого-то кандидата или безразлично относиться ко всем им.

Совсем иное происходило в длинном мрачном зале с усталыми, нервными людьми, кричавшими о пропасти, к которой подошла страна, или с ужасом ожидавшими избрания партаппаратчика — ведь за ним так и маячит лик усатого «вождя народов».

И все же в те дни в Большом Кремлевском дворце произошло событие, повлиявшее на мою судьбу. Полозков оказался народным депутатом трех уровней: союзного, российского и краевого. По закону можно быть

народным депутатом только двух Советов. И тогда ему на съезде было предложено сделать этот выбор.

Зал напряженно ждал. Он поднялся на трибуну, выставил вперед плечо, выдержал паузу, прицельно взглянув на зал... Все напряженно ждали, какие места он выберет.

«Я снимаю с себя полномочия народного депутата СССР».

Полозков был уверен, что будет избран Председателем Верховного Совета РСФСР.

Однако выборы он проиграл. Вернуть же себе звание народного депутата СССР было невозможно.

И вот этот звонок теплым летним вечером.

На том конце провода ждали моего ответа.

Выставить свою кандидатуру вместо Полозкова? Человека, которого так упорно «толкал» Генсек, он же Президент?

Перспектива поспорить за место, принадлежавшее одному из лидеров ортодоксального крыла КПСС, вызвала у меня чувство азарта. Не потому, что возможное депутатство льстило самолюбию. Мне уже приходилось несколько лет подряд заседать на сессиях Леноблсовета. Но то были другие времена, и депутатство мое, по сути дела, было номенклатурное. А теперь появился шанс сказать свое слово, когда будет решаться судьба отечества. Это будет вызов партократии в лице ее типичного представителя, это будет вызов власти, публично унижившей мое достоинство человека, офицера, гражданина, незаконно лишившей меня

заработанных честным многолетним трудом наград, звания и пенсии.

И я выдохнул в трубку:

— Да, согласен!

Так начался новый виток моей жизни.

Но, положив трубку, я вновь задумался. Что там, на Кубани? Что я знаю о ней? Мне доводилось отдыхать на курортах в Геленджике и Сочи. Путешествовал, кажется, в 1965 году по побережью с группой американских журналистов. Еще раз, лет тридцать назад, туда привело меня дело «Кука». Конечно, все это нельзя было считать знакомством с краем.

Странно, но первое, что припомнилось мне, — загадочная история с моим соседом. Человек этот жил на одной лестничной площадке со мной в гэбэшном доме — А. Тарада, бывший второй секретарь Краснодарского обкома. У нас не было никаких контактов, но после его «истории» многие узнали, что там не все благополучно.

Дело в том, что в 1983 году Тарада был арестован. У себя в крае он руководил торговлей и местной промышленностью, где и созданы были структуры «теневой» экономики, главным образом, левые цеха, щедро обеспечивающие деньгами партократию. После ареста просочился слух, что на следствии он рассказал о краснодарской мафии. И был назван глава этой мафии, или человек, который находился на полном ее содержании, — первый секретарь крайкома Сергей Медунов. Тарада умер в тюрьме при довольно запутанных обстоятельствах. Молва утверждала: убит после своих откровенных признаний.

Значит, предстояло открыть для себя Кубань заново. Надо было собрать о ней как можно больше данных, знать все: и историю кубанского казачества, и основные этапы его развития, экономику края, противоборствующие там силы.

А у меня неделя, всего одна неделя перед отъездом в Краснодар. Я начал лихорадочно сколачивать свою команду из тех, кто оказался рядом и поддержал меня в первые дни после выступления на демплатформе.

Через несколько дней с двумя добровольцами — помощниками из числа зеленоградских активистов — я прибыл во Внуково. Мы уже были готовы к посадке, как неожиданно объявили о задержке на несколько часов из-за неисправности самолетов сразу двух утренних рейсов. Это показалось нам необычным. В дни, предшествовавшие моему телефонному разговору с Краснодаром, я имел возможность убедиться в том, что мой домашний телефон прослушивают, а самого меня нередко сопровождают бравые молодцы и подкрашенные дамочки из наружного наблюдения. К одному из сыщиков, проявивших ротозейство и потерявших меня в толпе на Арбате, я подошел сзади и, хлопнув по-товарищески по плечу, посоветовал проявлять больше бдительности и профессионального мастерства. Он как ошпаренный ринулся в подземный переход, но успел передать эстафету молодой девице, сопровождавшей меня до гостиницы «Россия», в лабиринтах которой я был ею потерян.

Одновременная поломка двух самолетов на одном направлении могла быть случайным совпадением, но в равной степени могла быть уловкой чекистов, работающих в Аэрофлоте, чтобы не допустить моего

появления на предвыборном собрании. Мы приуныли и направились к администратору, чтобы сообщить о сдаче билетов. Там подтвердили, что рейсы задерживаются до 16 часов. Это означало, что на собрание мы не успеем. Тем не менее, заявив официально об отказе от полета, сдать билеты мы не поспешили, а решили подождать с часок в зале аэропорта.

Через 40 минут была объявлена посадка и «неисправный» самолет вылетел в Краснодар. Мы вошли в зал института «Газпереработка», когда президиум собрания, потеряв надежду на наш приезд, уже приступил к работе. Мое появление было встречено дружными аплодисментами. Через час все закончилось. 97 % присутствовавших проголосовали за мое выдвижение кандидатом.

17 июля Краснодарская избирательная комиссия официально зарегистрировала меня кандидатом в депутаты, одним из 21. В тот же день Прокуратура СССР возбудила уголовное дело по факту разглашения государственной тайны от моего имени, но кандидатская карточка мне уже была выдана. Если КГБ имел в виду сорвать регистрацию, то он опять опоздал.

Анализируя причины, побудившие сотрудников института и поддержавших их активистов демократического движения на Кубани выдвинуть кандидатуру опального генерала КГБ, местная партийная печать указывала на слабую работу партийных комитетов с неформалами, нежелание руководства крайкома идти на диалог с коммунистами, имеющими отличные от официальной точки зрения суждения. Таким образом, «Калугин на Кубани, в частности в Краснодаре, — не случайность, а закономерность, — заключал орган

крайкома «Политический собеседник», — следствие неповоротливости, консерватизма, спячки и мертвечины во многих партийных организациях, отсутствия политической воли партаппарата».

Читал я эти глубокомысленные рассуждения краснодарских пропагандистов и поражаюсь примитивности их доводов. «Если бы побольше огонька партийцам и боевитости комсомольцам, если бы поживее вертелись аппаратные стулья, если бы... если бы...»

Если бы только от этого зависела сегодня жизнь нашей страны, мы бы по воле многомиллионной армии коммунистов уже давно имели процветающее общество.

Мое знакомство с состоянием дел на Кубани убеждало, что по обилию нерешенных проблем она занимает одно из ведущих мест в стране. Это при трудолюбивом крестьянстве, прославившем край как житницу России, при мощных природных ресурсах и завидных климатических условиях! А сегодня богатейший регион с трудом обеспечивает своих жителей продовольствием, товарами первой необходимости, топливом. Медицинское обслуживание и учреждения культуры находятся в бедственном состоянии. Исключительно остра жилищная проблема. Огромный вред принесло строительство Краснодарского водохранилища ради эфемерного миллиона тонн риса в год. Кубанская земля превращена в испытательный полигон для ядохимикатов, а человек и всякая живность систематически проверяются на химическую стойкость. По онкологическим заболеваниям край лидирует в РСФСР.

Преступления совершаются не только в сфере экологии. Краснодарская мафия снискала

международную известность своей дерзостью и размахом операций. По числу случаев хищения государственной собственности Кубань занимала первое место в России.

Общественные эмоции в крае резко обострились в начале 1990 года, когда в различных населенных пунктах в течение недели проходили круглосуточные митинги. Причиной волнений послужила массовая мобилизация воинов запаса, проведенная принудительно, при содействии милиции. Конфликт, к счастью, не получил трагического развития, но не из-за вмешательства в него руководства края и лично И. Полозкова, как пытался представить это местный партаппарат, а благодаря мужеству и солидарности кубанских женщин. В одном из районов они ложились под колеса автомашин, чтобы не допустить вывоза своих сыновей и мужей для участия в братоубийственной войне в Закавказье. Полозков же в те дни предпочел не показываться на виду, отсиживаясь в служебном кабинете, под окнами которого проходил митинг.

Сложная обстановка в регионе в сочетании с неуклонным падением авторитета КПСС и престижа многих ее руководителей привела к заметному оживлению на Кубани движения за реформы и демократизацию партии. Появление новой фигуры, ставшей объектом преследований со стороны союзной верховной власти за критические выступления в печати, послужило как бы консолидирующим началом для местных демократов. Так стартовала наша борьба за депутатство; за полтора месяца мы на частных машинах доброжелателей, специально бравших отпуска и отгулы, наездили тысячи километров, посетили десятки городов

и станиц, выступили на сотнях собраний и митингов избирателей.

Команда доверенных лиц, сформировавшаяся главным образом из числа краснодарцев по подсказке местных демократов, оказалась весьма неровной. Некоторые проявляли подлинный энтузиазм и самоотверженность. За несколько часов до встречи с избирателями выезжали на место, расклеивали и раздавали листовки, с мегафоном выходили на рынки и автобусные остановки, объявляя о месте и времени проведения митинга, с утра до поздней ночи крутили баранку на дальних перегонах, питаясь чем попало, иногда только чаем с сухарями в захудалых районных гостиницах, спали часов по пять в сутки.

С первых дней почувствовалось отсутствие четкости и организованности в работе команды. Стали очевидны и громадные усилия местных партийных и советских органов, направленные на срыв нашей кампании. На первых порах, когда краевая власть не воспринимала всерьез «пенсионера, проживающего в Москве» (как меня представили в официальном бюллетене окружной избирательной комиссии), она ограничивалась мелкими пакостями: перепечаткой сообщений центральных газет, из которых следовало, что бывший генерал — ничтожество, развалившее советскую внешнюю контрразведку, публикацией отдельных писем «возмущенных читателей», рекомендациями советским и хозяйственным руководителям не допускать меня на предприятия и в учреждения под предлогом занятости трудящихся на производстве или их «нежелания» встречаться с «предателем». Генеральный директор объединения «Импульс» Арабянц не пустил меня по причине секретности выпускаемой на объединении

продукции. Директор института «Промавтоматика» выставил меня за дверь кабинета без объяснений.

Мои первые публичные выступления в Доме культуры «Пашковский» и Доме политпросвещения, горячо встреченные публикой, кажется, заставили краевых аппаратчиков задуматься. Их, по-видимому, насторожил и тот факт, что мои главные соперники — Герой Соцтруда, зампред Агропрома Н. Горовой, начальник Политуправления Северокавказского военного округа генерал-майор В. Сейн, ученый Н. Алешин и некоторые другие, появляясь на митингах одновременно со мной, оставались наедине с десятком избирателей после того, как сотни вслед за моим выступлением покидали зал. УКГБ по Краснодарскому краю также доложило в Москву о неблагополучном ходе избирательной кампании и набираемых Калугиным очках.

Между тем в нашем штабе царила неразбериха, десятки советчиков, жалобщиков и просителей осаждали его ежедневно. Печатных материалов, привезенных из Зеленограда, нам хватило всего на несколько дней. Местные типографии были задействованы на изготовлении листовок для моих соперников. Другой множительной техники не было, либо доступ к ней был закрыт специальными указаниями. Партийный официоз «Советская Кубань» отказался предоставить мне возможность выступить с изложением своей программы. Его главный редактор — Шипунова, незадолго до своего назначения вышедшая замуж за полковника КГБ, заявила моему доверенному лицу, что газета вправе не давать мне слова, потому что я беспартийный.

Радио и телевидение мы решили оставить на конец кампании, имея в виду ответить через них на возможные новые инсинуации в мой адрес.

В партийной прессе антикалугинские публикации следовали одна за другой. Начало положила «Правда», разразившаяся статьей «Каждый выбирает свою судьбу сам», в которой выплеснула на меня ушат грязи. Я весьма удачно использовал этот пасквиль, каждый раз напоминая избирателям, как «Правда» устами желтого итальянского журналиста обливала помоями Бориса Ельцина. Напечатанная в «Аргументах и фактах» путаная заметка КГБ под заголовком «Жить не по лжи» предоставила мне возможность рассказать о том, как мое бывшее ведомство готовило расправу с Солженицыным, а теперь пытается взять его себе в союзники в борьбе с критиками системы.

Обстановка накалялась в прямом и переносном смысле. На улице тридцатиградусная жара, встречи чередуются одна за другой, до семи в день, публика в основном дружелюбна, но чувствуется руководящая рука партаппарата и КГБ. Одни и те же, как под копирку, вопросы в разных аудиториях. Доброжелатель из местных чекистов передает нам перечень таких провокационных вопросов, присланный из КГБ в Краснодар для использования партактивистами и агентами КГБ на моих встречах с избирателями.

Мои бывшие коллеги в ПГУ, принимавшие участие в разработке перечня под руководством генерала Новикова, однако, перестарались. Вопрос из аудитории: «Олег Пеньковский, Олег Лялин, Олег Гордиевский, Олег Калугин... кто следующий?» Скажите на милость, какой кубанец знает Олега Лялина, разведчика КГБ,

сбежавшего в Лондоне в 1971 году? Да казаки фамилии первых секретарей крайкома не всех помнят!

По мере усиления давления с той стороны я испытывал одновременно нарастающую волну симпатий из самых различных кругов. Огромную моральную поддержку оказывали мне своими материалами «Комсомольская правда», «Московские новости», «Аргументы и факты», телепрограмма «Взгляд».

Но самую непосредственную, а поэтому неоценимую помощь я получил от своих доверенных лиц из Москвы — народного депутата РСФСР доктора наук Татьяны Корягиной и зеленоградца Николая Промохова. При их содействии наша команда сумела мобилизовать сочувствующих и болеющих за общее дело народных депутатов СССР и РСФСР Т.Гдляна, Н.Иванова, А.Оболенского, Ю.Черниченко, А.Политковского, В.Миронова, В.Уражцева, С.Белозерцева, А. Суркова, Г. Якунина. Не остались в стороне и некоторые народные депутаты — выходцы с Кубани, такие, как Губарев, Качанов, Оноприев. Активно включился в предвыборную кампанию ростовский сосед, народный депутат СССР В. Зубков: его инициатива, доброжелательство плюс связи с местными типографиями существенно облегчили нам агитацию. Немалую роль сыграли и демократы из Нижнего Новгорода. Они безвозмездно, используя свои, только им ведомые, возможности, поставили в штаб кампании тысячи листовок.

Солидарность, проявленная незнакомыми мне в прошлом людьми, их готовность жертвовать своим временем, отдыхом, в известной мере даже репутацией, ибо они вступились за отторгнутого системой человека, а значит, могли оказаться под критическим обстрелом

прессе и подозрением со стороны официальных властей, придала мне новые силы.

Видимо, она добавила прыти и моим оппонентам. Кубанские города и станицы были наводнены отставными и действующими чекистами из Москвы. Генерал Г.Орлов, начальник Краснознаменного института КГБ, партийный секретарь которого был незадолго до этого разоблачен как агент американской разведки, прибыл со свитой помощников в край, чтобы оказать местному партсоветскому аппарату помощь. Он и его младшие коллеги разъезжали по сельской местности, пугали станичников призраком захвата власти экстремистами во главе с Калугиным.

На одном партийно-советском активе Орлов предупредил: избрание Калугина народным депутатом будет расценено в Центре как грубая политическая ошибка. Некоторые участники этих соборщ потом говорили, что Орлов своими бесцветными речами и неумением общаться с народом фактически помог мне выиграть голоса в тех местах, которые ранее считались малоперспективными.

Приближался день выборов. Страсти кипели. В окружной избирательной комиссии периодически возникала перепалка по поводу умышленных срывов предвыборных собраний. «Советская Кубань» задавала тон местной прессе, не допуская появления публикаций о «московском пенсионере»; на стенах домов, в почтовых ящиках появились тысячи листовок с требованием от имени «трудовых коллективов» преградить дорогу к власти «зарвавшемуся авантюристу». Особенно неистовствовал некий есаул Берлизов, руководитель конюшен возрождаемых казачьих дружин. Этот отпрыск

расказаченных, раскулаченных предков, сложивших миллионы голов за то, что они хотели оставаться свободными землепашцами, всю свою ярость режимного лакея направил против «москаля», предавшего Родину. Жаль, не читал Берлизов своих соотечественников, таких, как поэт Б. Шибает:

Казачи, нас обманули,
Цвет казачества в земле.
Коммунисты нас согнули
На родимой стороне.
Тошно им от нашей воли,
Мы нужны им, как рабы.
Закрепившись на престоле,
Загоняли нас в гробы.
Казачи! В святом порыве
Отстоим казачий край
И на лопнувшем нарыве
Возродим казачий рай.

Попытка втянуть в политическую возню вокруг моего имени кубанское казачество, натравить станичников, традиционно настроенных против «варягов», оказалась безуспешной.

Примечателен эпизод, происшедший во втором туре кампании, когда моим единственным соперником остался Н. Горовой. Я прибыл в станицу Ленинградская, считавшуюся оплотом консервативных сил в крае, для новой встречи с избирателями. На предыдущей встрече районный партаппарат сумел дать организованный отпор

моему выступлению, подобрав своих людей и ограничив доступ народа с улицы.

Видимо, и в этот раз секретарь райкома Сергейко рассчитывал на успех, тем более что приезд Горового давал ему возможность продемонстрировать свою преданность начальству.

Еще на подступах к станице мы заметили праздничное оживление, развешанные флаги, транспаранты. Играла музыка, и сотни людей двигались по улице к стадиону, где была намечена встреча.

Стадион уже был почти заполнен, на эстраде выступал хор кубанских казаков, облаченных в красочные одежды. Сергейко стоял у входа, сложив руки, и победительно осматривал входивших. Мы спокойно расселись на трибуне и ждали сигнала о начале встречи. Сигнала не поступало: Горовой задерживался. Делать было нечего. И тогда предоставили слово мне. Выступление мое шло в обычной манере, хотя я испытывал определенное напряжение, видя нагло ухмыляющуюся физиономию Сергейко прямо перед собой. Затем последовали вопросы. По их тону, по реакции присутствующих я чувствовал, что происходит перелом в мою пользу. То же самое, очевидно, ощутил и Сергейко. Не успели стихнуть аплодисменты после моего очередного ответа, как Сергейко выскочил на трибуну, схватил микрофон и обрушился на меня потоком брани. Я запомнил только, что после слова «предатель» стадион зашумел. Сергейко, брызжа слюной, задыхаясь в верноподданническом экстазе, повторил: «Предатель».

И вдруг стадион как будто обрушился. Мощный рев толпы заглушил последние слова незадачливого партсекретаря: «Вон! — кричала толпа. — Вон отсюда,

ублюдок!» Сергейко от неожиданности залился багровым румянцем и замычал. «Вон отсюда, долой с трибуны!» — продолжали кричать вокруг. Внезапно меня окружили нарядные казаки из хора, стали обнимать, целовать. «Мы с тобой, генерал, — говорили они. — Этот Сергейко никого здесь не представляет».

Встреча закончилась. Как побитый, молчаливо уходил с поля боя секретарь райкома. Он проиграл это сражение, как проиграли его и те аппаратчики, которые давно уже «вышли из народа» и не понимают его.

Накануне голосования в городском парке состоялся большой предвыборный митинг. Старожилы Краснодара говорят, что никогда они не видели в последние пятнадцать-двадцать лет такого ажиотажа вокруг какого бы то ни было политического мероприятия. Действительно, к Затону — месту, отведенному властями для митинга, потоком шли люди, многие с детьми. Когда я подходил к парку и с трудом пробился к трибуне, там уже бушевал скандал. Руководство окружной предвыборной кампании, взяв бразды митинга в свои руки, не сумело их удержать, и они перешли к энергичному представителю нашей команды В. Уражцеву. Вместе с другими Уражцев фактически оттеснил стоявшее на трибуне исполкомовское руководство. Предложение заслушать кандидатов в депутаты по алфавиту вызвало дружное несогласие толпы. Она пришла слушать только одного человека.

Когда я поднялся на шаткий деревянный помост, выбора уже не было. Я, правда, сделал попытку сгладить обстановку, предложив микрофон космонавту Береговому, но он горделиво отклонил мой жест. Я не успел вымолвить и двух слов, как микрофон неожиданно

отключился. Еще через минуту в воздухе появился спортивный самолет, который на бреющем полете выделял различные фигуры в воздухе, с ревом пролетал над верхушками деревьев. В отдельные мгновения он снижался буквально до нескольких метров, и я с оцепенением думал, что простая неисправность или неспособность летчика вывести машину из пике могут закончиться трагедией, которая унесет жизни десятков людей.

Митинг был на грани срыва. В толпе с беспокойством, а то и ужасом наблюдали за фортелями незваного авиатора. Из-за шума говорить было невозможно. Потом мои бывшие коллеги из КГБ сообщили, что авторство этой затеи принадлежало генералу КГБ В. Новикову, а начальник Краснодарского УКГБ Василенко координировал всю операцию из своего кабинета. Но в тот момент я видел только злорадные лица моих соперников и представителей власти, которые под шум мотора стали поспешно покидать трибуну.

И все же мы преодолели. И рев самолета, и выключенный микрофон, и пьяных незнакомцев, пытавшихся взобраться на помост и учинить драку, и призывы из толпы немедленно идти к крайисполкому и громить его.

Возбужденную массу мы сумели вернуть в организованные рамки. Митинг продолжался с помощью мегафонов, потом подключили усилители. Народ, расходившийся по домам уже затемно, нас поддержал. Становилось все более очевидным, что большинство будет за нами.

19 августа, в день выборов, мы долго не уходили из штаба.

Первые ласточки долетели телефонными звонками около полуночи. В Сочи, Новороссийске, Майкопе, Армавире, ряде станиц мы лидировали с заметным перевесом над соперниками. Краснодар уже был в наших руках, но с более скромными итогами, чем мы ожидали. Поступали сообщения от наших единомышленников о попытках нарушить тайну голосования, манипуляциях с бюллетенями.

До утра мы так и не дождались результатов, хотя стало очевидно, что я набрал наибольшее число голосов. Когда их объявили официально, я ощутил не столько радость, сколько чувство уверенности и спокойствия.

46 % голосов избирателей против 10 с небольшим, полученных ведущим соперником Горовым — это уже почти победа.

Предстоял второй тур. Но теперь у нас появилось беспокойство другого рода. Если в первом заходе число принявших участие в голосовании составляло около 60 %, то как поведет себя утомленный затягивающейся кампанией избиратель во втором туре? Может быть, просто предпочтет остаться дома или заняться уборкой урожая на огороде? К тому же мы получили сигнал, что партийно-советский аппарат работает в пользу именно такого исхода второго тура. Ведь если голосовать придет меньше 50 % избирателей, то, как бы мы ни старались, выборы будут признаны недействительными.

С учетом этой ситуации наша команда с удвоенной энергией бросилась в очередной бой. Основное внимание было уделено селу, где сонное равнодушие и относительная сытость могли, по мнению доверенных лиц, сыграть с нами злую шутку.

Не потеряли, видимо, надежду и мои противники. В Сочи срочно устроили семинар по вопросам борьбы с организованной преступностью, на который прибыл зампред КГБ, начальник разведки Л. Шебаршин. Он не замедлил разразиться огромным, на целую полосу, интервью в «Советской Кубани», восхваляющим работу органов КГБ.

Некоторые участники совещания затем вновь разбрелись по станицам, с ними на гастроли поехал и бывший агент КГБ, он же диктор радио «Свобода» О.Туманов. Но былого пыла с их стороны уже не наблюдалось. Да и уволенные в разное время чекисты из Ростова и Новороссийска, включившиеся в мою команду, умело парировали домыслы своих бывших коллег.

Где-то накануне завершения кампании краснодарское телевидение устроило открытый эфир для меня и Н. Горового. Это была, в сущности, единственная возможность выступить перед широкой аудиторией кубанцев в честном споре со своим соперником. Из десятков заданных мне по телефону вопросов я выбрал те, которые были наиболее враждебны или давали шанс высказаться по существу. Так, на вопрос, как я отношусь к якобы оскорбительным замечаниям в адрес Воротникова, названного мною публично «адыгейцем», я ответил, что был бы горд и счастлив, если бы меня причислили к сыновьям адыгейского народа.

Выступление Горового свидетельствовало о знании им хозяйственной обстановки в крае, что позволило ему набрать определенное количество очков. За несколько дней до завершения кампании его сторонники буквально завалили Краснодар и станицы листовками, рекламирующими высокие качества кандидата. Мы же

жили на старом пайке. Шестьсот рублей, выделенных для избирательной кампании каждому кандидату, были давно израсходованы. Мы не могли тягаться с миллионными тиражами пропагандистских материалов, размноженных всей типографской мощью партийно-советских органов.

Нам противостоял партаппарат, часть советских и хозяйственных руководителей, КГБ, органы массовой информации. На последнем этапе к ним присоединилась православная церковь в лице Краснодарского архиепископа Исидора. Последнее обстоятельство меня даже расстроило. Для властных структур борьба с Калугиным имела принципиальное значение. Они защищали самих себя, свои кресла, привилегии, устои. Но церковь, которая во все времена истории должна служить символом сопротивления и морального неприятия насилия и беззакония, даже в условиях либерализации нашего общества, оказалась неспособной занять хотя бы беспристрастную позицию в политической борьбе. Она опять оказалась в услужении КПСС и КГБ, наглядно продемонстрировав свою неспособность перестроиться и учесть происходящие в стране перемены.

2 сентября около 20 часов голосование закончилось. Мы снова далеко за полночь сидели в штабе, потом в гостинице. Утомленные неравной борьбой, мы с трудом воспринимали происходящее, говорили о чем-то незначительном, как будто желая оттянуть срок произнесения вердикта.

Итоги были объявлены во второй половине следующего дня.

Я получил 57 % голосов, соперник — 39.

В тот же вечер краснодарские демократы запланировали митинг на одной из центральных улиц города. Вместе с группой народных депутатов и доверенных лиц я направился к выходу из штаба, имея в виду через четверть часа подойти к месту митинга. Я открыл дверь и обомлел: на площади перед зданием института стояла огромная толпа. Наш выход она встретила громом оваций и приветственных криков.

Я и сегодня вижу эти лица, сотни, тысячи лиц, обращенных ко мне, жадно ловящих каждое слово, цепко схватывающих каждый жест. Я не различаю их черт, не вижу их глаз. Они сливаются в единое, сплошное целое, бесформенное, но ярко живое — лицо толпы, одухотворенное надеждой и верой в возможность перемен, в обновление и возрождение, в лучшее будущее для себя и своих детей. У этих людей нет и намека на агрессивность, как будто их не оболванивали десятилетиями, не сгибали, не ломали, не отправляли их предков на смерть в лагеря и тюрьмы. Удивительный народ! Терпеливый, совестливый, многострадальный, разуверившийся в Боге, и в черте, но сохранивший веру в добро, в правду, в справедливость.

Кто я для них? Отставной генерал, бывший чекист, москвич ленинградского разлива, чистой воды чужак системы, ее защитник и радетель, отступник, честолюбец. Куда он лезет? Хочет нажить капитал на горбачевской перестройке, стать еще одним эстрадным политиком, хладнокровно эксплуатирующим общественные страсти? А может быть, просто неудачник, не успевший сорвать свой куш в брежневское безвременье, а теперь злорадно и мстительно пинающий в зад своих бывших покровителей?

Таких «народных мстителей» в нашей недавней истории было немало. Как только сходил со сцены — а в советском политическом лексиконе это означало лишь физическую смерть — очередной «вождь мирового пролетариата и всех трудящихся», вслед ему неслись проклятия и обвинения. Новые руководители, не проронившие и слова о порочности своего предшественника в бытность его у власти, поносили покойника как могли: и деспот он, и кровопийца, и недоумок, и волюнтарист, и сребролюбец, и отец застоя. Почему же они не говорили об этом открыто и честно, когда находились у кормила власти, пока были живы их благодетели? Может быть, они, как профессиональные революционеры совдеповского образца, в тиши кабинетов Старой площади замыслили дворцовые перевороты с целью избавить страну от произвола и лжи маразматиков генсеков? Или подавали в отставку, когда убеждались в бесчестии и беспросветности происходящего?

Да нет же! Они твердой поступью шествовали вслед за своим вожаком, славословили, лизоблюдничали — бездарные технократы, отторгнутые итээровской средой, но волей случая обретшие власть и право распоряжаться людскими судьбами. Уверенные в собственной безответственности, они жестоко расправлялись с теми, кто высказывал сомнения в праведности системы и ценностях, ею провозглашенных. Они были властелинами, но они же были и рабами империи страха, созданной их собственными руками. Подспудно они испытывали животный страх, что однажды их всех призовут к ответу. Самозванцы, силой и обманом захватившие власть, они не верили друг другу, не верили собственному народу, которому лицемерно клялись

служить до гроба! Они боялись партийных иерархов, но пуще всего их страшила возможность попасть на крючок вездесущей госбезопасности, созданной ради увековечения их власти и привилегий. Они были временщиками, которые при жизни источали вокруг себя гнилостный смрад распада.

Когда-то, в начале 70-х годов, в одном антицеэрувском опусе я обличал мерзкое ханжество буржуазных политиков, громогласно пекущихся о правах человека в других странах, но грубо попирающих их у себя дома. Оторванный, как и большинство моих коллег из разведки, от повседневной жизни собственной страны, я был убежден, что одно из главных преимуществ социализма состоит прежде всего в уважении и защите прав человека. В своих публичных выступлениях в ЦК КПСС, МИД, в других закрытых аудиториях я неизменно приводил слова Маркса, свидетельствовавших, на мой взгляд, о неподдельном гуманизме Учителя: «Государство даже в правонарушителе должно видеть человека, живую частицу государства, в которой бьется кровь его сердца, солдата, который должен защищать Родину... члена общества, исполняющего общественные функции, главу семьи, существование которого необходимо, и, наконец, самое главное — гражданина государства. Вот почему государство не может легкомысленно отстранить одного из своих членов от всех этих функций».

Я свято верил в незыблемость марксистского учения и тем, кого История призвала возглавить великий марш человечества к царству свободы и разума.

Двадцать лет, прожитых в родной стране после двенадцатилетнего пребывания в США, убедили меня,

что нигде человеческая жизнь не ценилась так дешево, никогда достоинство личности не унижалось столь бесцеремонно, как в первом «социалистическом» государстве за почти три четверти века его существования.

В Америке тоже тротуары медом не мазаны. И там, как во всем мире, есть и насилие, и жестокость, и унижение. Но там система и не претендует на последнее слово в развитии человеческого общежития. Она постоянно находится в движении, совершенствовании. Более того, — и это самое ценное — она создала условия для своих граждан, позволяющие им использовать демократические процедуры и соответствующие институты для защиты своих законных прав. Народ же, ради блага которого якобы свершился октябрьский переворот, народ, понесший невероятные жертвы и лишения, оказался обманутым, преданным.

На собственном опыте, общаясь с тысячами граждан, читая их письма и жалобы, я убедился, как далека наша власть от народа, как равнодушна она к страданиям простых людей, как безразличны ей заботы, нужды и чаяния человека. Можно винить в этом Сталина, уничтожившего наиболее интеллигентный слой общества и наиболее сознательную его часть, поставившего у руля послушных исполнителей, лишенных чувств, мысли и сострадания. Можно взвалить ответственность на Брежнева и его камарилью. При них завершился разгром профессионалов, подмененных аппаратными всезнайками.

Триумф посредственности, убожества и некомпетентности — так объективно оценивались наши властные структуры во второй половине 80-х годов. Но

разве что-нибудь существенно изменилось с тех пор в этих структурах? Не те же ли скомпрометировавшие себя фигуры по-прежнему пишут и подписывают постановления, директивы и указы? Не они ли, одряхлевшие, но не набравшиеся ума, выползают вновь на политическую арену или, затаившись, ждут своего часа?

Все эти люди, сделавшие себе карьеру на прислуживании режиму, его кровавым и бесталанным лидерам, очевидно, никогда уже не усвоят известную во всем демократическом мире истину, что быть у власти — это значит служить народу, не править, а именно служить, ибо правление — это «как», а служение — это суть.

Еще в XVIII веке Томас Джефферсон писал: «Я в высшей степени терпимо отношусь к праву других иметь отличное от своего мнение, не усматривая в этом ничего преступного. Я слишком хорошо знаю слабость и нестойкость человеческих суждений, чтобы удивляться их различным проявлениям. Обе наши политические партии, по крайней мере их честная часть, сознательно преследуют одну и ту же цель — общественное благо; но они существенно отличаются друг от друга в том, что касается средств достижения этого блага».

Пока мы в нашей стране не покончим с монополией на власть одной партии и не создадим конкурентоспособную альтернативу, стержнем программы которой и манерой ее исполнения станет стремление к общественному благу, а не умозрительные догмы, мы будем обречены на произвол и бездушие власть имущих. Пока мы не разрушим структуры, обеспечивающие привилегии и безопасность

однопартийной системы, мы не будем гарантированы от возврата к тоталитаризму и насилию.

На лицах людей, встречавших меня жарким летом 1990 года, я увидел Надежду... Но мне приходилось видеть и другие лица: искаженные ненавистью, страшные разрушительным порывом и мстительной злобой.

Весной 1968 года по США прокатилась волна расовых столкновений. В Вашингтоне негры громили магазины, поджигали трущобы, в которые их загнала нужда, избивали и убивали белых. Апрельской субботой, днем, я выехал на автомашине из совпосольства в сторону дома, маршрут избрал по 14-й улице, проходившей по кромке белого и черного районов. Не проехав и километра, я натолкнулся на группу бегущих врассыпную возбужденных людей. Через минуту я был окружен толпой, намерения которой сначала были неясны. Затем раздался удар по машине, еще один, второй, третий... Сыпались стекла, визжали тормоза, в салон машины влетали обломки кирпичей, но у меня хватило духу продолжать движение. В какой-то момент прямо перед капотом, в полтора-двух метрах от себя, я увидел злобный оскал черного лица с занесенным для удара стальным крюком. Я инстинктивно пригнулся, нажал на газ, и крюк, разбив вдребезги лобовое стекло, просвистел над головой.

Я двигался напролом на красные светофоры, на грани аварии или наезда на нападающих, чувствуя, что остановка равносильна смерти.

В тот вечер по телевидению показывали, как разъяренная толпа переворачивала автомашины,

вытаскивала из них и калечила белых. Я мог стать одной из жертв. Бог миловал.

Милует ли он нашу страну, накаленную до предела неспособностью системы прокормить себя, национальными распрями, беспомощностью власти и несправедливостью, по-прежнему исходящей от нее?

Или ввергнет ее в пучину братоубийственной бойни?

Наученные горьким опытом, мы не имеем морального права вновь экспериментировать над народом, уповать на насилие как повивальную бабку истории. У нас, в сущности, остается единственный выход — возвращение на магистральный путь развития цивилизации. Но для этого грядущее поколение руководителей должно очиститься, освободиться от пут прошлого, без колебаний и уверток идти курсом подлинного обновления. Оно должно сделать все, чтобы в народе не умерла надежда на лучшую долю, вера в торжество законности, справедливости и правды.

Еще в 70-х годах, будучи начальником внешней контрразведки, я повесил у себя в кабинете на видном месте изречение Бенджамина Дизраэли: «Справедливость — это правда в действии».

С этим девизом в сердце я начал новый отсчет времени в своей жизни. С ним я, окрыленный, вернулся в Москву в объятия многочисленных энтузиастов и единомышленников. На улице, в метро и автобусах люди узнавали меня, пожимали руку, высказывали пожелания добра. Они беспокоились за мою судьбу, негодовали по поводу учиненного произвола.

Еще в июле я направил иск в Московский городской суд с жалобой на неправильные действия Президента, председателя правительства и шефа КГБ. Истина, казалось бы, лежала на поверхности: наказанию подлежит только лицо, виновное в совершении преступления; никто не может быть признан виновным и подвергнут наказанию иначе как по приговору суда и в соответствии с законом; к лицу, совершившему тяжкое преступление, суд вправе применить как дополнительную меру наказания — лишение воинского звания. В отношении меня приговора о виновности в чем бы то ни было не выносилось, а следовательно, лишение звания постановлением Совета Министров СССР незаконно.

Тем не менее очевидное нарушение закона еще требовалось доказать в суде. Предстояли изнурительные разбирательства, смысл которых я усматривал не столько в возвращении мне отнятого, сколько в испытании нашей юстиции, ее способности быть независимой от давления сверху, готовности участвовать на деле в создании правового государства.

Предстояла еще и тяжелая, неравная борьба с ошестившейся, озлобленной, раненой, но по-прежнему сильной и опасной системой, изуродовавшей мою Родину, искалечившей народ и его душу.

После XXVIII съезда КПСС я вышел из партии, в которой состоял 33 года, но я не чувствовал себя одиноко. У меня было с кого брать пример. Я вспоминал слова Теодора Рузвельта о человеке-борце, «лицо которого покрыто пылью, потом и кровью, который мужественно сражается, ошибается и вновь терпит неудачу — ибо не ошибается только тот, кто ничего не

делает, который по-настоящему стремится к свершениям, который познал истинное воодушевление, великую преданность идее, который отдает свои силы достойному делу, который в конечном счете лучше всех знает, что такое торжество великих свершений, и который в худшем случае, если он терпит неудачу, по крайней мере терпит ее, дерзая на великое». В нашей стране таких людей — отважных, готовых и в тюрьму, и на плаху — с каждым днем становится все больше. С ними я пойду до конца.

В сентябре 1990 года я получил полагающийся депутату дипломатический паспорт и выехал на несколько дней в Голландию для участия в конференции, посвященной проблемам перестройки. Это была моя первая за десять лет поездка за границу. Барьеры, расставленные на моем пути, рухнули.

Я шел вдоль каналов Амстердама, вдыхая полной грудью свежий морской ветер, как будто заново родившийся, сбросивший проклятую чешую обмана и двуличия, вольный, сам выбравший свою судьбу. Бог видит, я не искал славы и не амбиции руководили мной. Я просто осознал себя человеком, рожденным жить свободно и достойно.

«...В большой дороге и заключается идея, а в подорожной какая идея? В подорожной конец идеи... Vive la grande Route! А там, что Бог подаст».

Вместо послесловия

Эти дни вспоминаются, как сон, кошмарное сновидение, вихрем пронесшееся через сознание и оставившее рубец на всю жизнь. Только потом, когда улеглись страсти и мозг заработал в привычном ритме, я понял, как все мы были близки к катастрофе, как и моя

судьба могла надломиться и пойти по совсем иному руслу...

Накануне же все казалось привычно спокойным, и, хотя в воздухе витало предчувствие грозы, оно никак не предвещало драматического утра 19 августа 1991 года. За два дня до этого я вернулся из Мюнхена, где встречался с коллективом радио «Свобода». Впервые я попал в логово того самого зверя, которого моя бывшая организация травила в течение десятилетий. Удивительное это чувство — встретиться лицом к лицу с теми, кому годами навешивали ярлыки шпионов и идеологических диверсантов, кого я знал заочно по донесениям внедренной в «Свободу» агентуры, о ком сочиняли пасквилы и фабриковали документы. Я входил в здание радиостанции в смятении, готовый если не к враждебному, то по меньшей мере холодному приему, ехидным репликам, насмешкам. Я не собирался оправдываться и тем более просить прощения. Я просто хотел рассказать о том, как все было, как велась война, бескровная, но жестокая и непримиримая с нашим заклятым врагом — антисоветским зарубежьем, чего мы достигли в этой войне и на какие рубежи вышли в ходе горбачевской перестройки.

Странно, но люди, которых я увидел в зале, были настроены не зло, некоторые даже улыбались. Обстановка напоминала скорее встречу давних знакомых, разделенных временем и расстоянием. Невидимого барьера, пропитанного душной ненавистью и недоверием, как будто никогда не существовало.

По ходу своего выступления я несколько раз мысленно представлял себе, как взревет аудитория, если

я расскажу о проводившейся при мне подготовке взрыва радиостанции.

С самого начала эта акция была задумана как шумное пропагандистское мероприятие, имевшее целью напугать немецкого обывателя, проживающего в округе, побудить его обратиться к властям с требованием убрать радиостанцию с германской территории. Имелось в виду поугатать и самих сотрудников «Свободы». При этом предусматривалось, что взрыв будет осуществлен в ранние утренние часы — так, чтобы не причинить вреда случайным прохожим. О том, что операция наконец проведена, я узнал уже будучи в Ленинграде. О жертвах или каких-либо повреждениях не сообщалось. Очевидно, все прошло в соответствии с планом.

Не знаю, что думала аудитория, слушая мой рассказ, но я почувствовал себя особенно гадко, когда кто-то из зала бросил реплику: «А глаз одному человеку все же повредили. До сих пор лечится». И все же я закончил свое выступление под аплодисменты.

Долго пришлось потом размышлять: отчего такое всепрощенчество, почему не улюлюкали, не свистели? Примерно так же меня встречали в США, где я побывал осенью 1990 года, впервые после двадцатилетнего перерыва. Только ли интеллигентность сдерживала их, некий кодекс вежливости по отношению к гостю? Мне кажется, их снисходительность и даже радушие коренились в природной расположенности людей к тем, кто способен признать свои заблуждения и ошибки, покаяться без самобичевания, но с достоинством, не ожидая при этом ни слов прощения, ни тем более похвал.

У сотрудников «Свободы» были, по-видимому, еще и свои причины: они знали не понаслышке, что такое коммунистическая власть, многие из них, наверное, тоже когда-то верили в царство равенства и свободы, обещанное вождями мирового пролетариата, познали и горечь разочарования, и жестокость преследований, и унижение. «Познай, где свет, поймешь, где тьма», — говорил А. Блок. Они познали раньше меня и сделали свой выбор. Для них я был еще один запоздавший путник с далекой и близкой им земли...

Утром 19-го, в начале седьмого, меня разбудил телефонный звонок. «Олег Данилович, включите радио, в стране переворот», — взволнованно сказала в трубку помощница депутата Сергея Белозерцева. По радио передавали обращение ГКЧП к советскому народу. Я прослушал его до конца, потом включил телевизор: на экране замелькали белые пачки балетных лебедей.

Роем теснились мысли: что делать? Первое, что пришло в голову, — позвонить Александру Яковлеву. Мы встречались последний раз в начале августа по его инициативе. Прогуливаясь в районе его дома, я заметил тогда необычное оживление вокруг. По тихим Тверским-Ямским улицам сновали какие-то люди с озабоченными лицами. Попадаясь нам навстречу, они отворачивались, забегали в телефонные будки, а затем как ошпаренные выскакивали из них. «По-моему, нас «пасут», — заметил Александр Николаевич, вглядываясь в темноту. Я предложил не обращать внимания на эту возню.

В тот вечер мы обсудили текущие события, только что закончившийся визит президента Буша в Москву. Неожиданно Яковлев спросил: «Как ты думаешь, КГБ

способен совершить террористический акт против меня и Шеварднадзе? Мы получили на этот счет тревожные сведения от людей, заслуживающих доверия». Я высказался в том духе, что андроповский КГБ едва ли пошел бы на такой шаг, но от Крючкова можно ожидать любой пакости. Мы расстались тогда с ощущением надвигающейся беды.

Александр Николаевич, кажется, собирался в тот день выехать за город и ничего не знал о перевороте. «Ах, черт! — выругался он. — Какие подонки! Ну что ж, будем готовиться». Я тоже решил готовиться, но первым делом вышел на балкон. Стояло прекрасное безмятежное утро. Солнце, еще низкое, в легкой дымке, смотрело радостным ликом на просыпавшийся город. По привычке я окинул взглядом стоянку автомашин у подъезда и немедленно обнаружил чужую, спрятавшуюся среди редких деревьев. «Это за мной, — мелькнула мысль. — Надо уходить из квартиры. К друзьям, в «Белый дом» на набережной, куда угодно, где можно сопротивляться не в одиночку. Если понадобится, с оружием в руках». Мои размышления прервал телефонный звонок. На проводе был Лондон, Би-би-си спрашивала, как я расцениваю происшедшее. «Думаю, что путч закончится полным провалом через два-три дня», — ответил я и повесил трубку.

В лифте молодая женщина с ребенком, дочь или невестка одного из генералов КГБ, живущих в доме, спросила меня со слезами на глазах: «Неужели все кончилось, неужели опять вернутся старые времена? Вы депутат, вы должны что-то сделать!» Ее слова как будто придали мне сил. Если в этом доме задают такие

вопросы, значит, трещина пошла глубоко, разлад в системе нешуточный.

Машина завелась быстро, и уже через минуту я увидел, что у меня «на хвосте» два «жигуленка» с людьми. Они шли не прячась, почти вплотную, видимо боясь потерять меня в транспортном потоке.

По мере приближения к центру все заметнее ощущалась нервная напряженность, разлитая в воздухе. Тяжелая угрюмость как будто сковала лица торопливо спешащих на работу пешеходов, но кое-где спонтанно образовывались и тут же рассыпались кучки людей, что-то громко выкрикивавших, жестикулировавших, всем своим видом выражая озабоченность и растерянность. Сразу за мостом на Калининском и вдоль набережной стояли танки.

Оставив машину у здания СЭВ, я бросился к «Белому дому». На подходах к нему в этот утренний час почти никого не было, однако внутри царила суматоха. За каждым появлявшимся депутатом или ответственным чиновником вдогонку мчались журналисты с магнитофонами и телекамерами. Преобладали западные газетчики и телевизионщики. Тут были и Си-эн-эн, и Би-би-си, и радио «Свобода». Прямо из здания они вели репортажи в свои редакции. На состоявшейся вскоре пресс-конференции Ельцин зачитал обращение к народу с призывом оказать сопротивление путчистам. Затем, сопровождаемый беспорядочной толпой депутатов, журналистов, сотрудников охраны, он спустился по лестнице на набережную и поднялся на стоявший поблизости танк. Я находился в нескольких шагах от Президента и зримо ощутил его гигантское напряжение воли и решимость. В голове мелькнула мысль: сейчас, в

этот миг, вершится История, и я ее непосредственный свидетель.

Когда вслед за Ельциным на танк поднялся офицер в генеральской форме, раздались свист и выкрики «долой!», но генерал Кобец не смутился. «Вооруженные силы поддерживают законное правительство России и всенародно избранного Президента республики», — заявил он под аплодисменты оторопевшей от неожиданности толпы. С того момента я уже не сомневался, что заговорщики не поддержаны армией, а это значит — не за горами их бесславный конец.

Я собрался было последовать за Президентом обратно в «Белый дом», как услышал за спиной чей-то незнакомый голос, вежливо обратившийся ко мне по имени и отчеству: «Советую вам убрать машину от СЭВа, из центра идет несколько тысяч человек, могут разнести ваше авто». Я обернулся и сразу понял, что имею дело с одним из сопровождающих меня сотрудников наблюдения. Следуя его совету, я направился к Калининскому, намереваясь переставить машину в другое, более безопасное место, но едва я вышел на проспект, как сразу оказался на виду у спускавшейся от Садового кольца огромной толпы. Из передних рядов закричали: «Генерал, присоединяйтесь к нам, ведите к «Белому дому» защищать Президента». Так, совершенно случайно, я оказался во главе массы кричащих, размахивающих кулаками и наспех сделанными транспарантами людей. Их настроение сразу же передалось мне, и вот уже я иду и кричу вместе с ними: «Позор!», «Долой!», «Ельцин! Ельцин!»

Когда подошли к лестнице на набережной у «Белого дома», меня делегировали вызвать Ельцина для встречи

с народом. Внутри по-прежнему царила сумятица. Бегающие с потерянными физиономиями сотрудники аппарата, журналисты — никто не знал толком, где Ельцин. Наконец, я наткнулся на Руцкого. «Президент совещается с ближайшими помощниками. Подождем, пока соберется больше народу. Как раз сейчас на подходе несколько тысяч человек из Зеленограда. Передай это людям», — сказал вице-президент...

На улице моросило, но толпа не расходилась, терпеливо ожидая подкрепления. Я же решил воспользоваться паузой и навестить старых друзей из Управления делами Московского горкома партии. Важно было узнать, как они оценивают обстановку, что говорят в партаппарате о случившемся.

Не успел я войти в кабинет одного из своих друзей, как он, стоя у открытого окна, заметил: «За тобой сразу две машины... Пойдем пообедаем, а потом что-нибудь придумаем. Ситуация крайне сложная, и чем все закончится — неизвестно. Тебе следует исчезнуть и по крайней мере для начала сбросить «хвост». Я дам тебе служебную машину с темными занавесками на окнах и выведу через подъезд на противоположной стороне здания, который никогда не открывается».

Я с благодарностью принял предложение друга, рисковавшего в тот момент своим положением. Сопровождавшие меня сотрудники наблюдения ждали моего выхода до девяти вечера, но так и не дождались.

А я между тем присоединился к группе депутатов российского и союзного парламентов, обосновавшихся в гостинице «Россия», где принял участие в бурных дебатах. Время незаметно клонилось к вечеру, и депутаты любезно предложили переночевать у одного из

них в номере. Но я предпочел вернуться в «Белый дом»: Глеб Якунин сказал, что у него в кабинете найдется лишнее кресло для ночного отдыха. Я уже был готов выехать, когда по радио объявили о введении в городе комендантского часа. Коллеги-депутаты вновь стали настаивать, чтобы я остался в «России». Правда, один из них — врач — предложил вызвать «скорую помощь» и на ней добраться до «Белого дома», но другие его идею забраковали. Выбора не было, но и оставаться вместе представлялось небезопасным. Самое лучшее — раствориться в одном из никому не известных номеров гостиницы. Я знал один такой номер люкс. Его занимала благотворительная организация, изредка подселявшая туда иностранцев. Около часа ночи я постучал в дверь. Ответили испуганно на английском. «В городе военное положение, отворите немедленно», — сказал я командным тоном. Появившееся в проеме заспанное лицо впустило меня в номер. «Сколько вас?» — спросил я. «Двое». — «Освободите большую комнату и идите в спальню», — повторил я тоном, не терпящим возражений. Мой ночной незнакомец, как позже выяснилось американец, без протестов удалился в другую комнату, а я тут же, не раздеваясь, растянулся на диване и заснул.

Утром я позвонил жене. Она сообщила, что пока все тихо, было много телефонных звонков, но никаких тревожных сигналов. Я решил заехать домой, переодеться и привести себя в порядок.

...И снова от дома за мной увязался «хвост». На этот раз я ехал на «мерседесе» западной телевизионной компании, пригласившей меня в студию для интервью. Мы не смогли доехать до корпункта на машине: дорога впереди была блокирована танками и образовалась

огромная пробка. Добирался я до места назначения на метро. Спускаясь вниз на эскалаторе, я услышал сзади тихий голос: «Не оборачивайтесь. Слушайте меня внимательно. Вы находитесь в списке лиц, подлежащих аресту. Но это будет не сегодня. Я вас заранее поставлю в известность, если решение о задержании будет принято. Сегодня нами задержаны Гдлян, Уражцев, Портнов, на очереди депутаты Якунин и Белозерцев. Передаю вам записку, там есть номер моего домашнего телефона. После прочтения уничтожьте».

В раскрытую ладонь он сунул свернутый листочек бумаги. Я прочитал записку уже на подходе к «Белому дому», пробираясь сквозь плотное кольцо собравшихся на площади людей. Здесь же в толпе кто-то дернул меня за рукав: «Помогите пройти внутрь здания, я подполковник КГБ, хочу выступить». Я посмотрел его удостоверение и повел за собой.

На балконе бушевали митинговые речи, и я получил слово почти сразу после Ельцина. «Дорогой друг, отец Глеб, — загремели мощные динамики, — я не знаю, где ты, но береги себя. Сегодня КГБ собирается тебя арестовать. То же самое касается Сергея Белозерцева. Они будут расправляться с нами поодиночке, и мы должны быть вместе, чтобы сорвать их планы. Не все в КГБ идут на поводу у Крючкова. Многие осуждают его преступную деятельность. Я привел с собой еще одного чекиста, порвавшего с системой и вставшего на защиту демократии. Он сейчас выступит перед вами...» С этими словами я подтолкнул приведенного с собой подполковника к микрофону...

В тот день я уже больше не выходил из «Белого дома». Сгущались сумерки, и росла тревога, что самое

страшное должно случиться в эту ночь. Поползли слухи о предстоящем штурме. С улицы доносился рокот моторов, приглушенные крики. Иногда вспышки ослепительного света прорезали темноту. Где-то прогремел одинокий выстрел, потом второй, и все сразу напряглись в ожидании худшего. Многие бесцельно бродили по зданию из одного кабинета в другой, тихо переговаривались, пели песни в радиорубке, вещавшей всю ночь напролет, то и дело менялись выступающие: видные политики, журналисты, М. Ростропович. «Белый дом» гудел как растревоженный улей.

Восход солнца мы встретили вдвоем с российским депутатом Владимиром Олейником у окна, выходящего на гостиницу «Украина». Танки еще стояли внизу, на набережной, но по всему было видно, что путч захлебнулся. Потом до нас дошла скорбная весть, что трое молодых людей погибли на подступах к «Белому дому»...

Триумф демократических сил в те августовские дни, казалось, открывал безграничные просторы для преобразований общества. Родились радужные ожидания скорых и необратимых перемен. Подобные настроения испытывал и я, тем более что в начале сентября Горбачев отменил все указы и решения, связанные с лишением меня звания и наград. Прокуратура прекратила мое дело, а новый председатель КГБ СССР Вадим Бакатин предложил мне стать своим заместителем. От предложения я отказался: разве не было покончено с КГБ раз и навсегда! Сама мысль о возвращении в эту организацию вызывала тошнотворное чувство. И все же под давлением друзей из Демроссии я согласился выполнять роль советника Бакатина, но без включения в

штаты и оплаты и только по вопросам радикальной реформы органов.

26 августа на внеочередной сессии Верховного Совета СССР я впервые переговорил с Горбачевым. Он только что сошел с трибуны после яркой, взволнованной речи, в которой сквозили горечь, боль и раскаяние. Тогда он во всеуслышание сказал то, что мне приходилось говорить неоднократно: «КГБ — это государство в государстве, оплот тоталитаризма. Он должен быть разрушен». Эти выстраданные слова я воспринял как признание его вины перед теми, кто не раз предупреждал его об опасности сохранения нереструктурированного КГБ, о невозможности демократических преобразований без коренной ломки аппарата коммунистической диктатуры.

Неожиданно давно остывшая симпатия к первопроходцу перестройки вспыхнула во мне с прежней силой. «Если то, что вы сейчас сказали, — искренне, если вы действительно, а не на словах намерены впредь без колебаний идти по пути реформ, я ваш верный союзник». С этими словами я протянул руку Президенту, стоявшему в окружении группы депутатов. В карих, невеселых глазах Горбачева что-то дрогнуло. «Спасибо, Олег, — ответил он, — спасибо за поддержку».

По случаю ноябрьских праздников я впервые получил от Президента приглашение на прием в Кремлевском Дворце съездов. Вместе с министром иностранных дел Борисом Панкиным мы подошли к Горбачеву. Он приветствовал меня как давнего знакомого, говорил о том, как тяжело пережила Раиса Максимовна испытание в Форосе. Внешне оживленный, он едва мог скрыть грусть и глубоко затаенную

озабоченность. Думаю, что не только семейные проблемы терзали его сердце. На глазах у всех ускоренным темпом шел распад Советского Союза, центробежные силы размывали фундамент власти — она ускользала из-под ног Горбачева. Мог ли он предположить тогда, мог ли кто-либо из нас представить тогда, что всего лишь через полтора месяца «великий, могучий Советский Союз» рухнет, как колосс на глиняных ногах, и что еще через полтора года — Россия, как в марте семнадцатого, вновь окажется перед выбором: демократия или деспотия? Либерализм и шатания революционного правительства вкупе с порожденными войной экономическими тяготами, открыли тогда дорогу для захвата власти экстремистам. На семьдесят с лишним лет страна наша оказалась погруженной во мглу, под покровом которой творились чудовищные преступления. Неужели мы снова будем ввергнуты в бездну беспросветной тьмы, лжи и страданий? Quo vadis, Россия?

Эти тревожные мысли не покидают меня и по сей день. Казалось бы, нас отделяет от августа 1991-го целая историческая эпоха — качественно новое состояние общества, познавшего теперь уже не только бремя нищеты и произвола, но и сладостный вкус свободы и горечь правды, зримые соблазны материального благополучия и порочность необузданных рыночных страстей. Но как страшна оказалась логика привычных представлений о мире, о жизни, о месте в ней каждого из нас, как болезнен развал гигантского общежития, где под присмотром и по расписанному партийным комендантом календарю худо-бедно жили три четверти века не просто люди, но целые народы!

Я, как, наверное, все соотечественники, тяжело пережил распад СССР, умом понимая его историческую обреченность, но полагал, что, будь Горбачев более гибок, более уступчив в отношении законных претензий республик, Союз в иной, принципиально новой форме можно было бы сохранить.

Я с надеждой воспринял гайдаровские реформы, но обвальнй характер ценообразования в условиях отсутствия конкурентной среды вызвал недоумение, а затем и неприятие, когда стало ясно, что социальный аспект реформ фактически проигнорирован.

Я приветствовал приватизацию как неотъемлемый компонент радикального изменения форм собственности, но реальные шаги в этом непростом деле, развязавшие руки «теневым» структурам и коррумпированным чиновникам, повергли меня в смятение.

Я по-прежнему поддерживал Ельцина, но у меня вызывали тревогу его нерешительность и запаздывание с принятием жизненно важных для страны решений. Беспокоил и его постепенный отход от прежних лозунгов и обещаний, все большая дистанцированность от народа, чрезмерная бюрократизация госаппарата.

Я с интересом, но со стороны наблюдал за эволюцией органов безопасности и разведки и в конце концов пришел к выводу, что их реформирование закончилось с уходом Вадима Бакатина. Как мне сообщил один из советников Президента, в феврале 1992 года Ельцин затронул в беседе с ним вопрос о назначении нового директора Службы внешней разведки и при этом всплыла моя кандидатура. Ельцин был не против, не посчитал, что бывший коллектив ПГУ едва ли воспримет меня. Думаю, что Президент не ошибался. После

неудавшегося путча, изгнания из ПГУ крючковского ставленника Шебаршина в разведке воцарилось уныние. Многие подали рапорты об увольнении, другие затаились. Мало кто из них поддерживал Ельцина и его реформаторский курс.

Несколько лучше обстояло дело во внутренних службах бывшего КГБ, но приход туда большой группы сотрудников МВД во главе с Виктором Баранниковым в конце концов тоже привел к деморализации значительной части оперсостава.

Сложив с себя после распада СССР функции народного депутата, я не оставил надежды на получение в будущем депутатского мандата в российском парламенте. В конце 92-го несколько предприятий в Краснодарском крае вновь выдвинули мою кандидатуру в парламент. Я дал согласие, хотя чувствовал, что время триумфального шествия по стране демократов ушло. Я не ошибся. Почти 70 % голосов избирателей, пришедших на выборы, были отданы представителю старой партийной гвардии Николаю Кондратенко.

Между тем на волне поставгустовских событий и ряда моих публичных выступлений ко мне поступало немало приглашений из-за границы принять участие в различных общественных и политических мероприятиях.

Я выступил на слушании в сенате США с показаниями об американских военнопленных, задержанных во Вьетнаме после окончания войны и допрошенных сотрудником КГБ О. Нечипоренко на предмет вербовки и последующего использования в интересах советской разведки. Сделал сообщение о ходе реформ в России на Всемирной экономической конференции в Давосе, принял участие в симпозиумах по

вопросам терроризма в Берлине, Париже, Норфолке и Бостоне, был гостем японских парламентариев и датских журналистов, читал лекции в британской военной академии в Сандхерсте, в Оксфордском и Эксетерском университетах в Англии, в Гуверовском институте и Ливерморской лаборатории в США. Везде принимали радушно и заинтересованно. Я представлял, хотя и неофициально, новую демократическую Россию, и это как бы отодвигало на задний план, делало несущественным все, что касалось моей прежней службы в КГБ СССР. Но прошлое напомнило о себе совершенно неожиданно, резко и уродливо...

В октябре 93-го мир в шоке наблюдал по телевидению расстрел российского парламента. Накануне событий у «Белого дома» в Доме журналиста по инициативе известного правозащитника Сергея Григорянца состоялась конференция на тему «КГБ — вчера, сегодня, завтра». Не лучшее время было выбрано для обсуждения деятельности российских спецслужб: страна находилась в преддверии очередного политического кризиса, Баранников полностью дискредитировал себя в глазах своих собственных сотрудников, не говоря уж о других законопослушных гражданах...

С того момента, как Ельцин объявил о прекращении работы Верховного Совета и съезда народных депутатов, обстановка в столице накалялась с каждым днем. Хотя в действиях Президента очевиден элемент беззакония, я находил ему оправдание: оппозиция, отбросив в сторону все приличия, открыто я нагло шла на конфронтацию с Ельциным, готовила почву для смещения главы государства, получившего на выборах и в ходе

апрельского референдума поддержку большинства населения.

Саботаж реформ, игнорирование ясно выраженной воли избирателей, публичные поношения и оскорбления Президента и правительства создавали в условиях углубляющегося экономического кризиса предпосылки для полного хаоса и анархии, чреватых реставрацией коммунистической власти, разгула террора. Президент был обязан сказать свое веское слово, защитить свой курс, иначе он не выполнил бы своего долга перед демократическими силами, приведшими его к власти в 1991 году.

...Конференция Григорянца близилась к концу, когда по телевидению сообщили о попытках оппозиции силой захватить здание московской мэрии. Мы вышли во дворик Дома журналистов и отчетливо услышали доносившиеся издали выстрелы. Не сговариваясь, молча, большинство участников конференции отправилось по домам. Некоторые остались дожидаться приезда бывшего директора ЦРУ Уильяма Колби. Я же решил заехать в Международный пресс-центр в гостинице «Редиссон-Славянская», чтобы оттуда по Си-эн-эн наблюдать за развитием событий.

В гостинице все были возбуждены. Журналисты и гости с растущей тревогой воспринимали новости о вооруженных столкновениях всего в полукилометре от их местопребывания. Когда сообщили о военных действиях в районе Останкино, когда один за другим начали гаснуть экраны основных телеканалов, все приуныли.

Я заторопился домой. Сердце щемило от бессилия и досады. Как можно было допустить такое? Неужели в мае властям не преподнесли наглядный урок? Неужели

внутренние войска и милиция — об армии мысли еще не было — не в состоянии навести порядок?

Что-то явно надломилось в президентской команде. Да, Ельцина постоянно подставляли, ну а он сам? Какая беспомощность, мягкотелось, неспособность управлять, подобрать себе надежных, решительных людей! С мрачными предчувствиями я ехал в машине какого-то такого же мрачного «левака» к дому. У подъезда я полез в карман, чтобы рассчитаться. «Не надо, уважаемый генерал. Деньги вам могут пригодиться в тюрьме. Эти негодяи затопят страну в крови».

Слова незнакомца, брошенные дружелюбно, но с вызовом, ударили в тугую нервную струну. Знакомый с августовских дней 91-го холодок пробежал по телу. Что делать? Призыв Гайдара выйти на улицы показался мне безрассудством. Это было приглашение на гражданскую бойню. Я включил работающую дома программу Си-эн-эн и не выключал ее до тех пор, пока танки не ударили по белому мрамору парламентской цитадели, пока не увезли на автобусе зачинщиков и вдохновителей очередного неудавшегося путча.

Я чувствовал себя опустошенным, бесполезным, обессиленным. Не было ни ликования, ни осуждения. Только ощущение утраты: надежд, иллюзий, цели, смысла существования в этой несчастной, Богом проклятой стране.

...Три недели спустя я отбыл в Англию по приглашению телевидения Би-би-си для участия в специальной программе, посвященной английской разведке. Подавленное настроение и тягостные думы, навеянные кровавой драмой на московских улицах, все еще не покидали меня.

В лондонском аэропорту Хитроу, как обычно, любезный чиновник иммиграционной службы, бегло просмотрев мой паспорт, вместо того чтобы проштамповать въезд, попросил меня подождать в зале и исчез в лабиринтах служебных помещений. Он появился через полчаса в сопровождении высокого, крепкого телосложения человека в штатском, представившегося сотрудником Скотленд-Ярда. «Господин Калугин, вы арестованы по подозрению в причастности к убийству, — с ходу объявил полицейский. — Следуйте за мной».

Кому-то это может показаться странным, но я не испытал, услышав грозный приказ, ни страха, ни растерянности. Напротив, подавленность, с которой я прибыл в Лондон, неожиданно улетучилась. Внутренне, про себя я даже рассмеялся: этого как раз недоставало в моей жизни — нового опыта.

В маленькой комнатке тут же в аэропорту меня встретили еще двое полицейских в форме. Они предложили кофе и попросили подождать, пока за мной придет машина из города. Еще через полчаса в полицейской дежурке появились два джентльмена в штатском. «Следуйте за нами», — приказал один из них, и не успел я открыть рот, как оказался сцепленным стальным объятием наручников с моим сопровождающим. «Зачем это нужно, — запротестовал я, — неужели вы думаете, что я куда-нибудь убегу?» — «Такой порядок», — обрезал полицейский. По пустынным коридорам аэропорта меня провели к служебному выходу.

Наручники сняли только в полицейском участке. Составили протокол задержания, вытряхнули из чемодана все содержимое, изъяли из бумажника и

карманов деньги и визитные карточки. Все записали в инвентарную книгу, сложили в отдельных пластиковых пакетах и опечатали их. Затем предложили раздеться. Когда дело дошло до нижнего белья, я остановился. Тем не менее полицейский, осматривавший меня, не постеснялся заглянуть в трусы. Меня разбирал смех. «Неужели вы ищете там взрывчатку?» — спросил я шутливым тоном. Полицейский выпрямился, строго посмотрел на меня и сказал: «Господин Калугин, вы профессионал. Разве то, что я делаю, профессионально неправильно?» — «Нет, нет, все правильно, продолжайте», — ответил я. «Вам придется подождать прихода начальства из лондонской полиции», — сообщил полицейский и с этими словами провел меня по коридору до какой-то комнаты, открыл ее, впустил меня внутрь, с тяжелым лязгом захлопнул стальную дверь. Щелкнул ключ, и я оказался в маленькой, около шести квадратных метров, камере с едва проникающим снаружи через толстые небьющиеся стекла электрическим светом, с бетонным полом, сколоченной из полированных досок на бетонном основании койкой и одиноко стоящим толчком. Чистые стены, ни одного крючочка или выступа, на который можно было бы повесить пиджак и плащ. На койке лежали аккуратно сложенные пластиковый матрас, одеяло и подушка с бумажной наволочкой.

С лязгом закрывающейся двери и внезапно наступившей тишиной мое бодрое настроение сменилось приступом бешенства.

Я оглядел еще раз камеру и застучал кулаками в дверь. Снаружи — полное молчание. Минут через пятнадцать, однако, пришел полицейский и проводил меня в кабинет, где средних лет дама спросила, нет ли у меня каких-либо претензий. Тут я дал волю чувствам,

обрушившись с проклятиями на произвол английских властей. Невозмутимо выслушав мою тираду, дама уточнила: «Меня не интересуют ваши словоизвержения по поводу факта задержания. Мне важно знать, нет ли замечаний по обращению с вами со стороны полиции и условиям содержания в камере». — «Ваша камера очень похожа на камеры в КГБ. Яркий, слепящий глаза свет, нет туалетной бумаги», — ответил я с вызовом.

После ознакомления с правилами, разъясняющими мои права в случае задержания полицией, меня вернули в камеру. Через минуту уменьшили яркость освещения, еще через две принесли рулон туалетной бумаги. А еще через полчаса меня вновь вывели из камеры и представили шефу лондонской полиции.

Первые мои слова были: «Мне не о чем с вами говорить, и я отказываюсь с вами говорить до тех пор, пока не придут представители российского посольства в Англии и юрист. Если вы хотели что-то от меня узнать по делу Маркова, то я бы пошел вам навстречу, будь вы поумнее и повежливее. С русскими так не обращаются — теперь вы от меня ничего не добьетесь. Все».

Через несколько минут я уже разговаривал с дежурным дипломатом посольства России, информировал его о случившемся, просил дать информацию и для ИТАР — ТАСС. Вскоре прибыл юрист Би-би-си, рассказал, что в течение нескольких часов люди из Би-би-си ждали меня в аэропорту и только недавно узнали о моем аресте. Через юриста я передал просьбу посольства провести встречу со мной утром следующего дня.

Вновь лязгнул засов стальной двери: принесли ужин — с виду аппетитное жаркое с горячим кофе и булочками с маслом. Но мне уже было не до еды. Аппетит пропал

напрочь, и от ужина я отказался. Я лег на койку, но сна не было тоже.

Утром принесли полотенце, мыло, бритвенный прибор, предложили принять душ. Я отказался. Так же я поступил с завтраком. Появившийся около десяти утра шеф полиции тревожно спросил: «В чем дело, почему ничего не едите, не побрились?» — «Не ваше дело!» — рявкнул я.

Наконец прибыли заведующий консульским отделом посольства с помощником, юрист. В их присутствии начался допрос, записывавшийся на магнитофон. С самого начала я заявил, что рассматриваю свое задержание как провокацию британских спецслужб, нежелающих моего появления на телевидении с комментариями о деятельности английской разведки, как попытку не допустить меня в качестве эксперта на процесс по делу английского служащего, обвиненного в шпионаже в пользу России (такое приглашение на процесс я получил незадолго до поездки в Англию от адвокатов обвиняемого, но определенного ответа им не дал). Что касается убийства Маркова, то я был первым, кто предал это дело огласке, в течение трех лет я неоднократно давал разъяснения по делу, в том числе в Болгарии, где находился зимой 1992 года по приглашению президента Желева. Болгарские власти не предъявляли мне никаких претензий, более того, им известны имена организаторов и исполнителей этой преступной акции. Моя причастность к делу Маркова состояла в том, что я присутствовал при рассмотрении этого вопроса в кабинете Андропова, что мой сотрудник Голубев выезжал в Болгарию для инструктажа, но не я направил его туда, а Крючков, и что я знал от болгар, по завершении операции, как она готовилась. Переписки по

этому поводу между Москвой и Софией не было. По телефону такие проблемы не обсуждают. Ничего путного из этой акции, кроме радости для господина Крючкова, не получится.

Допрос продолжался до шести вечера с перерывом на обед. От обеда я отказался. Шеф полиции, проявивший высокий уровень профессионализма, выдержку и корректность, несмотря на мои нередко грубые колкости, явно исчерпал запас ловушек, в которые он пытался меня вогнать, и наконец предложил прослушать запись моего интервью с корреспондентом «Мейл он сандей». Из интервью никак не следовало, что я замешан в истории с убийством Маркова, по крайней мере в том контексте обвинений, которые мне предъявило следствие. Именно так и я прокомментировал запись.

«Ну, а читали вы свое интервью в газете?» — спросил полицейский начальник, разворачивая злополучный номер «Мейл он сандей». Я не читал, и немедленно оценил всю нелепость ситуации, увидев свой портрет и огромный, через всю полосу заголовок: «Я организовал убийство Маркова».

«Негодяи, они просто негодяи! — сорвалось у меня. — Этого же нет в магнитофонной записи! Как они могли?!»

Шеф удовлетворенно усмехнулся и сказал почти по-дружески: «Надо быть разборчивее при выборе газеты, которая желает взять у вас интервью». Потом добавил: «Вы ожидали, что британская полиция будет бездействовать, когда на территории страны объявляется человек, заявляющий о своей причастности к убийству?»

Вновь объявили перерыв, а затем сообщили, что обвинение мне предъявляться не будет и я свободен, но из Англии смогу уехать только после утверждения решения лондонской полиции вышестоящей инстанцией.

Я вернулся домой в зените непрошеной скандальной славы. Прошлое не отпускало меня, как я этого ни хотел. Наверняка оно не помогло мне и при декабрьских выборах в Госдуму, куда я баллотировался по списку «Выбора России» и не прошел. Но личная неудача меня не огорчила: новый парламент с самого начала показался мне не лучшим приложением знаний, сил и энергии. Огорчило другое — провал демократов и выход на широкую политическую арену национал-коммунистов. Тугой политический узел, прочно повязавший российскую действительность с прошлым, ослабить не удалось.

И все же, что бы ни случилось, нет у нас иного выбора, кроме движения вперед по пути обновления и преобразования общества, страны, в которой нам суждено было родиться и умереть. Для тех, кто связал свою жизнь и судьбу с Россией, она останется навсегда нашей болью и нашей отрадой. Грядущие поколения сделают ее более счастливой.